

И.А.
БУТЧИН

Иван Алексеевич Бунин

Том 5. Рассказы 1917-1930 (Собрание сочинений в девяти томах #5)

Нынешнее собрание сочинений И.А. Бунина — наиболее полное из всех выходявших в свет до сих пор.

В пятый том собрания входят рассказы 1917–1930 годов: «Роза Иерихона», «Брань», «Исход», «Зимний сон», «Готами», «Метеор», «Третий класс», «Ночь отречения», «Безумный художник», «Конец», и еще более шестидесяти рассказов.

А также произведения, не включавшиеся И.А. Буниным в собрания сочинений: «Суета сует», «Сказки», «Паломница», «Поросята».

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Рассказы 1917–1930	0008
Роза Иерихона	0008
Брань	0010
Исход	0016
Зимний сон	0029
Готами	0034
Метеор	0040
Третий класс	0049
Темир-Аксак-Хан	0053
Ночь отречения	0060
Безумный художник	0064
О дураке Емеле, какой вышел всех умнее	0083
Конец	0098
Косцы	0114
Полуночная Зарница	0123
Преображение	0129
Далекое	0136
Неизвестный друг	0151
В ночном море	0168
В некотором царстве	0184
Огонь пожирающий	0189
Несрочная весна	0202
Город Царя Царей	0224
Святитель	0242
Именины	0244

Скараabei	0246
Музыка	0249
Слепой	0251
Мухи	0254
Сосед (Красный генерал)	0260
Лапти	0274
Слава	0278
Надписи	0291
Русак	0301
Книга	0304
Митина любовь	0307
Солнечный удар	0417
Ида	0432
Мордовский сарафан	0448
Дело корнета Елагина	0456
Ночь	0529
Обуза	0552
Воды многие	0559
Страшный рассказ	0606
Поруганный Спас	0610
В саду	0613
Божье древо	0623
Алексей Алексеич	0658
Подснежник	0675
К роду отцов своих	0681
Старый порт	0691
Пингвины	0700
Благосклонное участие	0705

Ландо	0714
Убийца	0715
Обреченный дом	0716
Идол	0718
Слон	0721
Телячья головка	0723
Роман горбуна	0725
Молодость	0727
Красные фонари	0731
Грибок	0734
Ущелье	0739
Первая любовь	0740
Небо над стеной	0743
Свидание	0744
Петухи	0744
Муравский шлях	0745
Распятие	0746
Марья	0747
Ужас	0749
Пожар	0751
Журавли	0752
Людоедка	0754
На Базарной	0755
Полдень	0758
Бродяга	0759
Слезы	0760
Капитал	0761
Блаженные	0762

Коренной	0763
Комета	0764
Стропила	0765
Летний день	0766
Дедушка	0767
Постоялец	0768
Первый класс	0775
Канун	0776
Сестрица	0777
Маска	0778
До победного конца	0782
Письмо	0783
Рассказы, не включавшиеся в собрания сочинений	0784
Суета сует	0784
Сказки	0791
Паломница	0801
Поросята	0803

Иван Алексеевич Бунин
Собрание сочинений в
деяти томах
Том 5. Рассказы 1917–1930

Рассказы 1917–1930

Роза Иерихона

В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы.

Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок сухих, колючих стеблей, подобный нашему перекасти-поле, эту пустынную жесткую поросль, встречающуюся только в каменистых песках ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгорьях. Но есть предание, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пустыне Иудейской. Символ воскресения, данный ему в виде дикого волчца, он украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему сравнений.

Ибо он, этот волчец, воистину чудесен. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы может лежать сухим, серым, мертвым. Но, будучи положен в

воду, тотчас начинает распускаться, давать мелкие листочки и розовый цвет. И бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет гибели тому, что было, чем жил когда-то! Нет разлук и потерь, доколе жива моя душа, моя Любовь, Память!

Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние страны, где некогда ступала и моя нога, те благословенные дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому бог судил быть моей спутницей до гроба, совершал я свое первое дальнейшее странствие, брачное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую землю господина нашего Иисуса Христа. В великом покос вековой тишины и забвения лежали перед нами ее палестины — долины Галилеи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. Но была весна, и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и пели те же птицы небесные, блаженной беззаботности которых учила евангельская притча...

Роза Иерихона. В живую воду сердца, в чистую влагу любви, печали и нежности погружаю я корни и стебли моего прошлого — и вот опять дивно прозябает мой заветный знак. Отдались. Неотвратимый час, когда иссякнет эта влага, оскудеет и иссохнет сердце — и уже навеки покроет прах забвения Розу моего Иерихона.

1930

Брань

Лаврентий. Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть наделов держал, когда господа костылями били, а теперь тебе отдай?

Сухоногий. Да ты ее у меня отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил!

Лаврентий. Ты мне ее продал.

Сухоногий. Ты ее отнял! Купил!

Лаврентий. Ты продал, а я купил. А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал, брат ослеп, а отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то.

Сухоногий. Да-а, так! Ты у меня две десяти-

ны держал, одну за деньги, а другую за процент один.

Лаврентий. Да что я ее у тебя — силком брал? Ты сам сдавал. Нужда сдавала. Нужда просила.

Сухоногий. Конечно, нужда! А ты ее забыл! Ты греб!

Лаврентий. Греб! Ты поди погляди, сколько у меня ваших векселей лежит не плоченых. Вы, мужики, хамы.

Сухоногий. А ты-то кто ж? Не мужик, что ли? Не такой же хам?

Лаврентий. Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищebroды, хамы. Пускай теперь на осинке передо мной удавится, тринки не дам. Зачем ему, сукину сыну, надо было дробач с гумна тащить?

Сухоногий. А ты сам зачем тащил?

Лаврентий. Я не тащил, а за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил.

Сухоногий. Все равно тащил! Первую заповедь-то забыл!

Лаврентий. Ах, боже милосливый!

Сухоногий. Да, всем тащил, обозы гонял,

под процент давал, за всем попинался!

Лаврентий. Я ночи не спал, свое хозяйство наживал.

Сухоногий. Молчи! «Ночи не спал! Хозяйство наживал!» А зачем не спал? Зачем наживал? Дьяволу угождал? Что перед смертью в лепешку закатаешь да сожрешь, деньги-то эти? Мне вот восемьдесят лет...

Лаврентий. Ты меня переживешь. Ты ко-
стяной. Тебя ни одна болезнь не берет.

Сухоногий. Мне господь мою кость за бед-
ность дал, а у меня сына последнего забрали
ваше народное правительство, глаза их зака-
тись!

Лаврентий. Действительно, это новое пра-
вительство глупо сделало, что у тебя сына по-
следнего взяли у старика убогого.

Сухоногий. А таких-то убогих много!

Лаврентий. Немного, не говори. По поряд-
ку стараются брать. А только, конечно, глуп-
цы. Не ихнее это дело в правители, в началь-
ники лезть. Какие же они правители, когда
трем свиньям дерьма не умеют разделить?

Сухоногий. А! Вот то-то и есть! Они его в
солдаты взяли, а по его развитию, по его по-

чтенности ему какое место занимать? Он у любого барина в сельской конторе может писарем быть! Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой!

Лаврентий. Ружья нельзя кидать, беспорядок будет.

Сухоногий. А за кого им теперь воевать? Наша держава все равно пропала!

Лаврентий. Это верно, пропала. Без пастуха и стадо пропадает. А она, свинья-то, умней человека.

Сухоногий. А! Вот то-то и есть! Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому богу присягали да великому государю, а теперь кому? Ваньке?

Лаврентий. На Ваньку надежда плохая. У него в голове мухи кипят.

Сухоногий. Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность подданства, а теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют! Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алебарду не опускай! Тебя господа костылями не могли бить, ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю! Тебя, такого-то, будь ты хоть бур-

мистром, нельзя было не бить, ты слов не слушал, ты господина всегда норовил обокрасть, а меня господа пальцем не трогали! Ты крот подземный, у тебя когти скребучие!

Лаврентий. Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревням сидят, грабежу ждут.

Сухоногий. Сидят! Конечно, сидят! Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде каждый должен был в назначенный срок явиться, а не явился — умеи выправиться, рапорт подай! Теперь все равно все прахом пойдет, все придется сначала начинать, по камушку строить!

Лаврентий. Ах, боже милосливый! А строить-то кто будет?

Сухоногий. Кто ж по-твоему? Ты? Ан брешешь! Господь, а не ты! Господь!

Лаврентий. Тебе такому-то господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай, ты все равно его лопухами заростишь. Тебе бы только на жалейках играть да дельного человека злословить. Ну, я крот скребучий, а ты кто? Вашего брата хорошие угодники божии за вашу беспечность за вши-

вые вихры драли.

Сухоногий. Не все драли, брешешь! Угодники разные есть! Они сами богатства гнушались!

Лаврентий. Они для себя гнушались, а нам велели свое потомство кормить. Державу питать.

Сухоногий. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду!

Лаврентий. Я не Ванька, я хозяин.

Сухоногий. Ну, и лопни твое чрево с твоим хозяйством!

Лето 1917 г.

Исход

Князь умер перед вечером двадцать девятого августа. Умер, как жил, — молчаливый, ото всех отчужденный.

Солнце, золотясь перед закатом, не раз заходило в легкие смуглые тучки, островами раскинутые над дальними полями на западе. Вечер был простой, спокойный. На широком дворе усадьбы было пусто, в доме, как будто еще более обветшавшем за лето, очень тихо.

Нищие, бродившие по деревне, раньше всех узнали о смерти князя. Они появились возле разрушенных каменных столбов при въезде в усадьбу и нестройно, разными голосами, запели древний духовный стих «на исход души из тела».

Их было трое: рябой парень в лазоревой рубахе с укороченными рукавами, старик, очень прямой и высокий, и загорелая девочка, лет пятнадцати, но уже мать. Она стояла с сонным ребенком на руках, державшим во рту сосок ее маленькой груди, и пела звонко и бесстрастно. Мужики были оба слепы, с бельмами; у нее глаза были чистые, темные.

В доме хлопали двери. Наташа выскочила на парадное крыльцо и вихрем понеслась через двор к людской; из растворенного дома слышно было, как стенные часы медлительно пробили шесть. А через минуту по двору уже бежал и на ходу попадал в рукав армяка работник — седлать лошадь, скакать на деревню за старухами. Гостившая в усадьбе странница Анюта, похожая своей стриженной головой на мальчика, высунулась в окошечко людской и, захлопав в ладоши, что-то закричала ему вслед — тупо, косноязычно и восторженно.

Когда молодой Бестужев вошел к умершему, тот лежал навзничь на старинной кровати орехового дерева, под старым одеялом из красного атласа, с расстегнутым воротом ночной рубашки, полузакрыв неподвижные, как бы хмельные глаза и откинув темное, побледневшее, давно не бритое лицо с большими седящими усами. Ставни в этой комнате были по его желанию закрыты все лето, — теперь их открывали. На комодe возле кровати желто горела свеча. Склонив к плечу голову, с бьющимся сердцем, Бестужев жадно всматри-

вался в то странное, уже холодевшее, что тонуло в постели.

Ставни раскрывались одна за другою. В окна, сквозь темные ветви старого хвойного палисадника, глянул далекий закат, оранжево догоравший в тучках. Бестужев, отойдя от умершего, распахнул одно из этих окон. В комнату, в застоявшийся, сложный запах лекарств, ощутительно потянуло чистым воздухом. Вошла заплаканная Наташа и стала выносить все то, что князь, с неделю тому назад, внезапно охваченный какой-то тревожной жадностью, приказал перетаскать к нему и разложить перед его глазами на столах и креслах: истертое казацкое седло, уздечки, медный охотничий рог, собачьи смычки, патронташ. Уже не стесняясь стучать, звенеть удилами и стремя о стремя, она делала дело с твердым и строгим лицом, сильно дунула, проходя мимо комода, на свечку... Князь был неподвижен, и неподвижны были его полуприкрытые, как бы слегка косившие глаза. Вечернее сухое тепло, смешанное с свежестью от реки, наполняло комнату. Солнце потухло, все поблекло. Хвоя палисадника сухо

темнела на прозрачном, сверху зеленоватом, ниже шафранном море далекого запада. Щебетала за окном какая-то птичка, и щебет ее казался очень резок.

— Чего жалеть, — серьезно сказала Наташа, опять входя и отодвигая ящик комода, вынимая оттуда чистое белье, простыни и наволочку на подушку. — Умерли смирно, всем так дай бог. А жалеть их некому, никого после себя не оставили, — прибавила она и опять вышла.

Бестужев, присев на подоконник, все глядел в темный угол, на постель, где лежал умерший. Он все старался что-то понять, собрать мысли, ужаснуться. Но ужаса не было. Была только удивленность, невозможность осмыслить, охватить происшедшее... Неужели все разрешилось, и теперь можно говорить в этой спальне так свободно, как говорит Наташа? Впрочем, подумал Бестужев, она говорила о князе с той же свободой, — как о человеке, уже вышедшем из круга живых, — и раньше, весь последний месяц.

Со двора, из сумрака слабо и необыкновенно приятно пахло дымом. Это успокаивало,

говорило о земле, о продолжающейся простой человеческой жизни. В стемневших лугах, на реке, ровно шумела водяная мельница... Неделю тому назад князь сидел возле ее ворот на старом жернове, — в шапке, в лисьей поддевке, худой и темноликий, согнувшись и упершись руками в серый ноздреватый камень. Старик, который привез смолоть несколько мер новины, щурясь, исподлобья посмотрел на него, развертывая веретье. «А уж и худ ты! — холодно и пренебрежительно сказал он князю, хотя прежде всегда говорил с ним почтительно. — Прямо никуда! Нет, теперь тебе житья немного. Тебе лет семьдесят будет?» — «Пятьдесят первый», — сказал князь. — «Пятьдесят первый! — насмешливо повторил старик, взясь с веретьем. — Не может того быть, — твердо сказал он, — ты намного старше меня». — «Вот дурак, — усмехнувшись, сказал князь, — да ведь мы росли вместе». — «Ну, росли, не росли, а житья тебе теперь немного», — сказал старик, натуживаясь, и, приподняв и прижимая к груди тяжелую, полную рожью меру, поспешно, приседая, пошел в шумящую, белую от муки мель-

ницу...

— Теперь уходите, барчук, — бесстрастно, но значительно сказала Наташа, входя с ведром горячей воды.

И от этого ведра, от этих слов Бестужеву вдруг стало страшно. Он поднялся с подоконника и, не глядя на Наташу, вышел через прихожую, прилегавшую к комнате покойного, на черное крыльцо. В сумраке возле крыльца мыли руки приехавшие с деревни старухи, Евгения и Агафья: одна лила из кувшина, другая, согнувшись, захватив в колени подол темного платья, крепко отжимала, встряхивая пальцы. Это было еще страшнее, — эти старухи. Бестужев быстрыми шагами прошел мимо них в сухой уже поредевший к осени сад, таинственно освещенный по низам только что показавшимся среди дальних стволов круглым, огромным, зеркальным месяцем.

II

В девятом часу в комнате, где умер князь, все пришло в порядок, было прибрано, кровати уже не было, тепло пахло вымытыми полами. На столах, поставленных наискось в передний угол, под старинные образа, возле ок-

на, верхнее стекло которого серебрилось от месячного света, возвышалось под простыней тело, казавшееся очень большим. Три толстых свечи в церковных высоких подсвечниках горели в головах его прозрачно, дрожали хрустальным чадом. Тишка, сын церковного сторожа Семена, умытый и причесанный, в новой поддевке, жалостно и поспешно читал псалтырь. «Хвалите господа с небес, — читал он, подражая черничкам, — хвалите его все ангелы его, хвалите его все воинства его...» Темно и чадно дрожали на свечках прозрачные копыя пламени, золотые, с ярко-синим основанием.

В доме огонь был только в лакейской. Там, под окном, стоял стол, на столе кипел самовар. Бледная и серьезная, в черном платочке, Наташа, Евгения, похожая на смерть, и печально-скромная Агафья, плотник Григорий, уже начавший в сарае делать гроб, и церковный сторож Семен, старик с тусклыми свинцовыми глазами, испорченными постоянным чтением при дрожащем свете по покойникам, пили чай. Семен, который должен был сменить сына, принес с собой собственную

книгу, в грубой, как бы деревянной коже бурого цвета, закапанную воском, с обожженными кое-где углами страниц.

— А как ни плохо живешь, все будет трудно с белым светом расставаться, — печально говорила Агафья, наливая из чашки в блюдечко.

— Известно, трудно, — сказал Григорий. — Кабы знал, и жил бы не так, все бы имущество истребил. А то боимся именье свое распустить, все думаешь, под старость деться будет некуда... а глядишь, и до старости не дожил!

— Наша жизнь как волна бежит, — сказал Семен. — Смерть, ее, как сказано, надо встречать с радостью и трепетом.

— Исход, а не смерть, родной, — сухо и наставительно поправила Евгения.

— С трепетом, не с стрепетом, а умирать никому не хочется, — сказал Григорий. — Всякая козявка и та смерти боится. Тоже, значит, и у них души есть.

— Не души, батюшка, а дуси — еще наставительнее сказала Евгения.

Кончив последнюю чашку, Семен мотнул

головок, откидывая со лба вспотевшие темно-серые волосы, встал, перекрестился, захватил псалтырь и на цыпочках пошел через темный зал, через темную гостиную к покойнику. — Ступай, ступай, дорогой, — сказала ему вслед Евгения. — Да поприлежней читай. Когда кто хорошо читает, грехи с грешника как листья с сухого дерева валяются.

Сменяя Тишку, Семен надел очки и, строго глядя через них, мягко обобрал пальцами воск с оплывших свечей, потом медленно перекрестился, развернул на аналое книгу и стал читать негромко, с ласковой и грустной убедительностью, только в некоторых местах предостерегающе повышая голос.

Дверь в прихожую возле черного крыльца была открыта. Читая, Семен слышал, как на крыльце кто-то затопал ногами: пришли поглядеть на покойника две девки, обе наряженные, в новых крепких башмаках. Они вступили в комнату робко и радостно, шепотом переговариваясь. Крестьясь и стараясь ступать нетвердо, одна из них, вздрагивая грудями под новой розовой кофточкой, подошла к столу, отвернула простыню с лица князя.

Блеск свечей упал на кофточку, испуганное лицо девки стало в этом блеске бледно и красиво, а мертвое лицо князя засияло, как косяное. Большие седеющие усы, разросшиеся за болезнь, уже сквозили, в глазах, не совсем закрытых, темнела какая-то жидкость...

Тишка жадно курил в сенях, поджидая выхода девок. Они проскользнули мимо него, делая вид, что не замечают его. Одна сбежала с крыльца, другую, в розовой кофточке, он успел поймать. Она рванулась, зашептала:

— Ай ты угорел? Пусти! А то отцу скажу...

Тишка выпустил ее. Она побежала к саду. Месяц, уже небольшой, белый, ясный, высоко стоял над темным садом, и золотисто блестяло в его свете сухое железо на крыше бани.

В тени от сада девка обернулась и, взглянув на небо, воскликнула:

— Ночь-то какая, — батюшки!

И очаровательно, с радостной нежностью, прозвучал в ночном тихом воздухе ее счастливый голос.

III

Бестужев ходил из конца в конец по двору. Со двора, пустого, широкого, освещенного ме-

сяцем, он глядел то на огоньки в деревне за рекой, то на светлые окна людской, где слышались голоса ужинающих. В сарае были раскрыты ворота, горел разбитый фонарь, поставленный на козлы тарантаса. Григорий, наклонившись и отставив одну ногу, шмыгал фуганком по тесине, заправленной в старый верстак. Красно-дымный огонь в фонаре дрожал, дрожали тени в сумрачном сарае...

Когда Бестужев на минуту приостановился у ворот сарая, Григорий поднял возбужденное лицо и сказал с ласковой гордостью:

— Крышку уж доделываю...

Потом Бестужев постоял, облокотясь на раскрытое окно людской. Кухарка собирала со стола остатки ужина, стирала с него ветошкой. Пастухи, подростки, укладывались спать: Митька, разутый, молился, стоя на нарах, устланных свежей соломой. Ванька — среди избы. Рыжий лохматый печник, широкоплечий и очень маленький ростом, в черной рубахе с крапинками известки на ней, пришедший с деревни из-за реки, чтобы начать завтра поправлять стены внутри обвалившегося княжеского склепа, вертел, сидя на лавке, ци-

гарку.

Анюта тупо, восторженно и косноязычно говорила с печки:

— Вот и помер, ваше сиятельство, в голова ничего не положил... Так и не дал мне ничего... Нету да нету, погоди да погоди... Вот теперь и годи... Вот и годи... Годи теперь! Погодил, милый? В голова себе много положил? Понял теперь, что у тебя в головах, глупый? А что бы так-то дать рублика два, прикрыть мое тело! Я убогая, урода. Никого у меня нету. Ишь грудь-то! И она распахнула кофту и показала голую грудь:

— Голая вся. Так-то, глупый! А я тебя в старые годы любила, я об тебе скучала, ты красивый был, веселый, ласковый, чистая барышня! Ты всю свою молодость об своей Людмилочке убивался, а она тебя, глупый, только терзала — мучила да с другим под венец стала, а я одна тебя верно любила, да про то только моя думка знала! Я убогая, урода, а душа-то у меня, может, ангельская-архангельская, я одна тебя любила, одна сижую радуюсь о твоей кончине смертной... И она радостно и дико засмеялась и заплакала.

— Пойдем, Анюта, псалтырь читать, — громко сказал печник тем тоном, каким говорят с детьми кому-нибудь на потеху. — Пойдешь, не боишься?

— Дурак! Кабы ноги были целы, и пошла бы, ай плохо? — крикнула Анюта сквозь слезы. — Их грех, покойников-то, бояться. Они святые, пречистые.

— Я и не боюсь, — развязно сказал печник, закуривая сигарку, загоревшуюся зеленым огнем. — Я с тобой хоть на цельную ночь в фамильный склеп ляжу...

Анюта восторженно рыдала, утираясь кофтой.

Не нарушая светлого и прекрасного царства ночи, а только делая его еще более прекрасным, пали на двор легкие тени от шедших на месяц белых тучек, и месяц, сияя, катился на них в глубине чистого неба, над блестящей крышей темного старого дома, где светилось только одно крайнее окно — у изголовья почившего князя.

ЗИМНИЙ СОН

Днем, гуляя, Ивлев прошел по выгону мимо школы.

На крыльце стояла учительница и пристально смотрела на него.

На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха.

Потом он лежал у себя в кабинете на тахте.

На дворе, при ярком солнце и высоких сияющих облаках, играла поземка.

В окнах зала солнце горячо грело блестящие стекла.

Холодно и скучно синело только в кабинете — окна его выходили на север.

Зато за окнами был сад, освещенный солнцем в упор.

И он лежал, облокотившись на истертую сафьянную подушку, и смотрел на дымящиеся сугробы и на редкие перепутанные сучья, красновато черневшие против солнца на чистом небе сильного василькового цвета.

По сугробам и зеленым елкам, торчавшим из сугробов, густо несло золотистой пылью. И

он, глядя, напряженно думал:

— Где же, однако, с учительницей встретиться. Разве поехать к Вуколовой избе.

И тотчас же в саду, в снежной пыли показался большой человек, шедший по аллее, утопая в снегу по пояс: седая борода развеивается по ветру, на голове, на длинных прямых волосах, истертая шапка, на ногах валенки, на теле одна ветхая розовая рубаха.

— Ах, — подумал Ивлев с радостью, — непременно случилось что-нибудь ужасное!

Это был Вукол, разорившийся богач, живший в одинокой полевой избе с пьяницей-сыном.

И Вукол стоял в прихожей, плакал и жаловался, что сын бьет его, с размаху кланялся горничным и просил чайку — хоть щепоточку.

— Затем и лез по сугробам, по морозу, — говорил он. — Что поделаешь, привык, а сын не дает, грозит убить...

И видно было, что его самого трогает — и гораздо более, чем побои и грубость сына, — то, что он когда-то каждый день пил чай и привык к нему.

Он был страшен и жалок, по-медвежьи держал палку в посиневших руках.

— Дайте ему, — сказал Ивлев, — и чаю, и сахару, и белого хлеба!

Воротясь в поле, в свою ледяную избу, Вукол, пользуясь отсутствием сына, вытащил из-под лавки позеленевший самовар, набил его ледяшками, намерзшими в кадке, наколол щепок, жарко запалил их, окунув сначала в конопляное масло. И скоро, под дырявой, проржавевшей трубой, самовар буйно загудел, запыльхал, и старик, все подогревая его, уселся пить.

Как вдруг вошел сын.

Изба была вся голубая от дыму.

Старик кончал двадцатую чашку.

И сын так крепко стукнул его костылем в темя, что он мгновенно отдал богу душу.

Тогда Ивлев велел запрячь в бегунки молодую, горячую лошадь.

Был розовый морозный вечер, и он оделся особенно тепло и ладно, вышел, сел, и санки понесли его по выгону к школе.

На крыльцо тотчас вышла весь день поджидавшая его учительница.

— Мы непременно должны посмотреть Вукола! — крикнула она.

На ней была синяя на белом барашке поддевка, подпоясанная красным кушаком, и белая папаха. Глаза сияли веселой хитростью, лицо от папахи казалось еще милее и нежнеей.

Она смеялась, нагибая голову к муфте, закрываясь от острого ветра.

Лошадь летела как на крыльях.

Сзади, за степью, садилось солнце.

Снежное поле, расстилавшееся впереди, зеленело.

И встречный ветер, как огнем, жег щеки, брови.

Ивлев оглянулся — не едет ли кто сзади. Поле было пусто и уже темнело в малиновом свете заката. И он обнял учительницу, ища губами ее щеку. Она засмеялась пуще и схватила вожжи.

— Нет, — крикнула она, — мы должны сперва заехать.

И через минуту они очутились возле темной избы, черневшей среди снегов.

Согнувшись, вошли в темные сени, наша-

рили в темноте скобку.

Изба, распахнувшаяся перед ними, была велика и стара, все в ней было черно, дико, грубо.

Провисший потолок, блестящий от дыма, копоти, поддерживала громадная покосившаяся печь.

Восковая свечка, прилепленная к столу, едва озаряла эту мрачную и страшную берлогу.

А за столом, на лавке, стоял широкий, мелкий гроб, покрытый коленкором, на коленкоре, под бугром, образованным сложенными на груди руками, лежала черная дощечка.

— Не бойся! — с бесовской радостью шепнула учительница, крепко схватив Ивлева за руку и вся прижавшись к нему. — Едем, едем!

И полозья санок, как коньки, засвистали под изволок по мерзлому снегу. Еще тлела далеко впереди сумрачно-алая заря, а сзади уже освещал поле только что поднявшийся светлый стеклянный месяц.

Теперь они неслись в Гренландию.

1918

Готами

Повесть, трижды прекрасная своей краткостью и скромностью, повесть о Готами, которая, сама того не ведая, пришла под сень Благословенного.

Так слышали мы.

В людном селении, в счастливой местности, у подножия великих Гималаев, в семье бедной, но достойной родилась Готами.

Высока ростом и на вид худощава была она, а душой проста, нетребовательна, и соседи дали ей недоброе прозвище: Готами Тощая прозвали они ее, но она не обиделась. И всякому приказанию была она послушна и на всякое приказание отзывалась так:

— Хорошо, милый господин, я сделаю. Хорошо, милая госпожа, я сделаю.

Да простится нам слово: неумна была среди людей Готами. Но и глупого не говорила она, — может быть, потому, что никогда не говорила она много и с утра до вечера что-нибудь работала. И одежда на ней была бедная и все одна и та же, но всегда опрятная. И вот юноша, весьма богатый и красивый, сын ве-

ликого царя той местности, увидел ее на берегу реки, когда мыла она белье своих сестер и братьев, и понял, что она неумна и покорна и что никто не заступится за нее, — даже родители.

Так думал он:

— Что ж делать, скажут ее родители, неумна Готами, нехороша Готами, не на дочь нашу, а на служанку похожа она, кто возьмет ее замуж? Рано или поздно все равно покорится она мужчине, который пожелает ее: не умеет отказывать Готами. Ах, если бы был тот мужчина не безжалостный и давал на воспитание ребенка, что родит она!

Так подумал царский сын, юноша.

А Готами, вымыв и выполоскав белье, села на корточки над блестящей от солнца водой, сняв с себя одежду, весь свой стан от подмышек до колен завернув ею, распустила свои длинные черные волосы, стала чистить размоченной щепочкой свои белые зубы, стала мыть свои смуглые ноги, не зная, что царский сын смотрит на нее из-за бамбуковых кустов. И тогда он окликнул ее и, подходя, сказал ей с усмешкой, но ласково:

— Ты мила, Готоми, и совсем не такая тощая, как говорят про тебя: о девушке в простой одежде и высокого роста часто судят неправильно. Я слышал, Готоми, что ты покорная. Не противься же мне, никто не увидит наших ласк в этот жаркий час над пустой рекой.

И Готоми смутилась перед ним, перед его уверенностью в правоте его желания, и прошептала в ответ:

— Хорошо, милый господин, будет по-твоему.

И царский сын, наслаждаясь ею, увидел, что она лучше, чем казалась, и что темные глаза ее, хотя и не выражают мысли и как будто всегда одинаковы, полны очарования. И после того стали часты их встречи на берегу реки в роще бамбуков, и всегда было так, что, когда бы ни приказал царский сын прийти к нему, всегда приходила Готоми без послушания и не менялась в своей покорности и прелести при телесном сближении, а при краткой беседе — в приветливости. И по истечении положенного времени почувствовала себя беременной. И тогда царский сын взял ее

к себе в наложницы, перевез ее с ее бедной укладкой, где хранилось ее скромное добро, жалкий достаток рабочей девушки, в свой богатый дворец, и она прожила во дворце всю пору своего бремени.

Когда же приблизился день, одна из царских домоправительниц сказала ей:

— Готами. Жена, готовая стать матерью, уходит рожать, во исполнение обычая, в свой отчий дом. Но ты не жена, а наложница. Не ходи же в дом родителей, но и не нарушай пристойности.

И Готами поклонилась ей, встала и вышла за калитку глиняной ограды дворца.

И, перейдя деревянный мост через мутный канал, бывший поблизости, увидела сидящего под деревом, с чашкой в руке, слепого и древнего нищего, только по поясу перепоясанного грязной тряпицею, руки же свои, ноги, грудь и сухую, блестящую спину подставившего зною и мухам.

И нищий поднял свое незрячее лицо, прислушиваясь к ее шагам, и улыбнулся нежной и горькой улыбкой старческой мудрости.

— Готами! — сказал он ей. — Не вижу тебя,

но чувствую твое приближение. Готами, будь благословенна стезя твоя!

И она поцеловала колено нищего и продолжала свой путь и на пути, в жарких солнечных рощах, среди атласовых деревьев, родила свое дитя.

И блаженно, со слезами радости, отдохнув от своего мучения, возвратилась с ребенком на руках во дворец царевича к предалась чувству непрестанного восторга и умиления, чувству телесной любви к рожденному, сладкой тревоге видеть, обонять, осязать и прижимать к своей груди это растущее и с каждым днем все более пробуждающееся для мысли и сознания существо.

— «Вспомнила тебя душа моя!» — этих нежных слов не сказал Готами юноша, сблизаясь с ней, хотя и была она мила ему, хотя и везли ее в царский дворец с музыкой, на быках, украшенных цветами и лентами, нарядив ее точно к венцу, гладко причесав ее черные волосы, нарумянив лицо и подсурьмив ресницы.

И Готами, родив дитя, покорно приняла охлаждение к ней юноши и устранилась от

глаз его, дабы не испытывал он смущения и виновности, случайно встречая ее.

И, оставшись жить в ограде дворца, поселилась в простой хижине на берегу прудов, приняв на себя обязанность кормить лебедей, плававших в тех прудах среди трав и цветов.

И была до времени счастлива, приготавливаясь, сама того не ведая, к тем великим скорбям, что должны были прийти на законную смену этому счастью и направить ее на путь едино истинный, в среду Братии Желтого облачения.

Блаженны смиренные сердцем, расторгшие Цепь.

В обители высокой радости живем мы, ничего в этом мире не любящие и подобные птице, которая несет с собой только крылья.

Одесса. 1919

Метеор

Тождество, много снега, ясные морозные дни, извозчики ездят резво, вызываяюще, с двух часов на катке в городском саду играет военная музыка.

Верстах в трех от города старая сосновая роща.

Смеясь, переговариваясь, идут к ней по снежному полю, суют ногами в длинных шведских лыжах, держа в правой руке длинные тонкие палки с колесиками на конце, лицеист, гимназистка, высокий и полный богатый молодой человек, кадет и курсистка в пенсне, очень близорукая, неловкая и очень обидчивая. Она одна молчит, идет старательнее и хуже всех. Все одеты так, как ходят на каток. Одна она в настоящем лыжном костюме, в белой шерстяной вязанке и такой же шапочке.

Роща близится, становится живописнее, величественнее, чернее и зеленее. Над нею уже стоит прозрачно-бледная круглая луна, Справа чистое солнце почти касается вдали золотисто-блестящей снежной равнины с

чуть заметным зеленоватым тоном.

Курсистка впереди всех, — порой спотыкаясь и роняя пенсне, она первая входит в рощу, в длинную снежную просеку среди мачтовых сосен. Белая длинная вязанка обтягивает ее большой зад и груди. Живой, смуглый, широконосый кадет, не отставая от нее ни на шаг, все подсмеивается над ней, все острит. Она каждый раз зло и находчиво отвечает ему, старательно делая свое дело. Однако между ними что-то есть.

В роще вечереет, морозит, высокое небо над просекой холодеет и синеет; далеко впереди, за поляной, верхушки нескольких сосен, особенно высоких, краснеют. В роще еще слаще чувствовать себя молодым, праздничным, все время близким к какому-то счастью дышать этим зимним эфирным воздухом. Лицеист ждет счастья напряженнее всех, двигаясь все время рядом с гимназисткой.

Спокойнее прочих богатый молодой человек с его необыкновенно нежным цветом лица и пятнистым румянцем.

На поляне останавливаются, отдыхая и говоря все разом, мужчины курят, испытывая

от табаку особенное наслаждение. У всех блестящие глаза, легкий иней на ресницах.

— Теперь куда?

— Конечно, вниз, на реку!

— А вон, господа, еще лыжники!

— Кто это? Неужели Ильины? Вот приятная встреча!

Пролеты высоких аллей расходятся от поляны во все стороны. В той, что ведет прямо к реке, приближаются мужчина и женщина. Слышен звонкий женский смех, кажущийся притворным.

— Кто это? — спрашивает гимназистка лицеиста. — Вы лучше меня видите.

— Ваши партнеры по любительскому спектаклю. Залесская с Потемкиным.

— Ах, я не хочу встречаться с ними. Я ее терпеть не могу. Уйдем куда-нибудь. Встретимся с нашими на лугу.

— Слушаю-с, Господа, мы вам пока откланиваемся. До скорого свидания на реке.

— Это почему? — спрашивает кадет, нелепо выкатывая глаза. — Что сей внезапный сон значит?

— Нам пора отношения выяснить, — отве-

чает гимназистка, смеясь. — Au revoir[1], господа. Можете нам завидовать.

И, взявшись за руки, лицеист и гимназистка едут в просеку направо. Их провожают напутственными криками, шутками.

У лицеиста крепко бьется сердце. Он чувствует, что она под видом шутки, с той спокойной и удивительной смелостью, на которую способны только женщины, сказала правду. Он знает, что за эти праздничные дни все сказано без слов между ним и ею, что они ждут только момента и решительности осуществить это сказанное без слов. И вот этот момент внезапно настал. Однако она идет и молчит, и его волнение увеличивается сомнением, не ошибается ли он.

Она молчит, она спокойно и как ни в чем не бывало двигает лыжами. От волнения молчит и он или же говорит что-нибудь явно ненужное.

— Хотите идти слева? Тут глубже снег...

— Нет, спасибо, мне очень хорошо...

И они опять молча суют лыжи, слегка наклоняясь вперед. Снег вокруг, среди сосновых розоватых стволов, становится все глубже, бе-

лее, сосны все оснеженнее. Вечер мягко меняет краски, все больше сливаясь с воцаряющейся лунной ночью.

— Ох, я, кажется, устала! — говорит она наконец, поворачивая к нему раскрасневшееся лицо и слегка улыбаясь. — Куда мы идем? Мы заблудимся...

У него еще больше замирает сердце, но он отвечает, стараясь говорить как можно обыденнее:

— Еще немного. Скоро опять поляна и скамейка, — разве вы не помните? Вы потише, поровнее. Вот так: раз, раз... раз, раз...

На поляне, возле скамейки, утонувшей в снегу, он отпускает ее руку и, только отпустив, чувствует, какое это было наслаждение держать ее, как будто сосредоточившую в себе всю прелесть всего ее женского существа.

Он утаптывает снег возле скамейки, срезает лыжей снежную подушку с нее, смахивает платком сухие остатки снега. Она садится и на минуту блаженно закрывает глаза.

— Как хорошо. Какая тишина. Какие это птицы?

По кустам можжевельника перелетают

толстые, зобастые, с красными грудками снегири.

— Это снегири.

— Как они красивы!

— Хотите, убью одного?

И он вынимает из кармана маленький револьвер.

— Нет, не надо, — говорит она с нерешительной улыбкой.

Толстый снегирь перелетает ближе.

— Видите, он сам идет навстречу смерти. Так я стреляю.

— Нет, нет, не надо.

— Вы боитесь?

— Нет, но не хочу...

Она слабо махает рукой на снегиря, но снегирь перелетает еще ближе. И тотчас же, как хлопнувший кнут, раздаётся выстрел, от которого она быстро закрывает глаза и затыкает уши.

Снегиря на кусте уже нет. Промах, конечно? Подняв глаза кверху, они видят, что луна среди вершушек сосен уже в сиянии и возле нее вьется серебристый ястребок, которого откуда-то спугнул выстрел. Потом смотрят в ку-

сты. Снегирь взъерошенным комочком лежит на снегу.

— Это совершенно неправдоподобно! — восклицает лицеист, кидаясь к нему. — Из револьвера и вдруг попасть!

И еще напряженнее чувствует, что время идет, а они оба говорят и делают совсем не то, что надо.

— И вам не жаль? — спрашивает она, разглядывая еще теплого снегиря.

— Увы, ничуть! — шутливо выговаривает он с трудом, стукнув от внутренней дрожи зубами при взгляде на ее губы, мех вокруг шеи, маленькие ботинки в снегу. — Вы запачкали кровью руку...

Она кладет снегиря на скамейку и поднимает на него глаза, которые кажутся вопросительными и ждущими.

— Дайте вытру снегом...

Она протягивает руку. Он вытирает, замирая от нестерпимого желания целовать, кусать ее.

Вечера уже почти нет. Луна между соснами уже зеркальная. В легкой тени от верхушек сосен снег принял цвет золы, а на местах

освященных искрится.

— Однако что же это мы? — говорит она, вдруг поднимаясь. — Мы рискуем не найти их. Идемте скорее!

И опять они берутся за руки и поспешно двигают лыжами. Проходит пять, десять минут...

— Пойдите! Мы, кажется, совсем не туда идем! Где мы? Опять какая-то поляна...

— Нет, верно, — говорит лицеист. — Видите — поляна покатая, это уже спуск к реке. Мы незаметно все время забирали влево.

Но она стоит, растерянно оглядываясь. Поляна глухая, в глубоком снегу. Над головою уже совсем по-ночному блещет луна, тени меж сосен черны, четки, на краю поляны тонет в сугробах черная изба без окон, снежная, пухлая крыша ее вся играет белыми и синими бриллиантами. Тишина мертвая.

Вы куда-то завели меня, — говорит она негромко, уже с неподдельным страхом. — Идем назад.

Но он странно смотрит на нее и тянет ее за руку вперед. Давайте только заглянем в эту избу... На одну минуту...

Она делает несколько шагов, но возле избы решительно противится, останавливается и отнимает у него руку. Он, бросив лыжи, идет по твердому сугробу к раскрытой двери и, наклоняясь, скрывается в ее темноте. Через минуту раздается из избы его голос:

— Как здесь хорошо! Загляните хоть в окно! Неужели вы боитесь?

— Нет, но не хочу. Где вы? Пойдемте, поздно.

— Как красив здесь лунный свет! Это что-то сказочное!

— Если вы не выйдете, я уйду одна...

И, скрипя по морозному снегу, она подходит к окну, заглядывает в него:

— Где вы там?

И вдруг ее ослепляет таким дивным, таким страшным и райски прекрасным зеленым светом от прорезавшего все небо и разорвавшегося метеора, что она вскрикивает и в ужасе бросается в дверь избы.

Через полчаса они снова выходят на залитую луною поляну и уже до самой реки не могут произнести ни слова.

Париж. 27 декабря. 1920

Третий класс

Глупец тот, кто воображает, что он имеет полное право и возможность ездить когда ему угодно в этом классе!

Вот Цейлон, Коломбо, март 1911 года.

Утро, всего восьмой час.

Но зной уже адский, он густ и неподвижен, как перед той страшной грозой, которой, должно быть, начался потоп.

Весь в белом и в белом шлеме, сижу в раскаленной лакированной колясочке, в маленькой двуколке, в тонких оглоблях которой ровно и крупно, слегка подавшись вперед, мчится высокий и черный, весь блистающий своей могучей великолепной наготой тамил.

Еду на вокзал, чтобы отправиться — ну, скажем, в Анарадхапуру.

И вот впереди уже площадь, пустая, белая, ослепительная, а за нею еще более ослепительное белое здание вокзала, — оно почти страшно своей белизной на белесом от зноя небе. Среди всей этой белизны и белого солнечного пламени черное тело и длинные черные волосы тамила режут глаз.

В здании вокзала легче, всюду веет теплый сквозняк.

Сняв шлем, вытираю мокрый ледяной лоб, кость которого так ощутительна при поте, и спешу к выходу на платформу. Высокий и тяжелый, с белыми крышами и навесами над окнами, поезд уже готов. Спешу к будочке кассира, вынимаю на ходу ровно столько монет, сколько требуется на проезд до Анарадхапуры в третьем классе, и стучу ими перед выглядывающим из будки англичанином:

— Third class, Anaradhapura! Третий класс, Анарадхапура!

— First class? Первый класс? — спрашивает англичанин.

— No, third class! — кричу я.

— Yes, first class! — кричит англичанин, выкидывая мне билет первого класса.

И тогда я прихожу в ярость и начинаю кричать приблизительно так:

— Слушайте, мне это осточертело! Я хочу видеть все особенности страны, всю ее жизнь, всех ее обитателей, вплоть до самых «презренных» как вы любите выражаться цветных людях, которые, конечно, не могут да и

не смеют ездить в первых классах. Но всякий раз, как я хочу сесть в третий класс, начинается борьба с кассиром! Я твердо и ясно требую третий класс, однако, пользуясь созвучием слов, меня всякий раз перебивают, дурачат: «Вы хотите сказать, первый класс?» Я кричу да нет, третий! Но мне все-таки выкидывают билет первого класса. Я швыряю его назад — и тогда кассир вне себя от негодования и удивления, что белый человек одержим низким и безумным желанием сидеть рядом с цветным, начинает тоже кричать, пугает меня насекомыми, которых я могу набрать от цветных, главное же, наставляет меня в том, что никто, решительно никто из белых не ездит в третьем классе, что это не принято, неприлично, возмутительно!

И я твердо заключаю:

— Одним словом, извольте сию же минуту дать мне то, что я требую!

В конце концов кассир сдается: пораженный моей яростью, он на мгновение каменеет и вдруг решительно швыряет мне билет третьего класса.

Торжествуя, водворяюсь я в вагоне и жду

спутников, этих самых «презренных» цветных. Но что за черт — их нет и нет! По платформе, мимо моего купе, несется непрерывный сухой шорох босых бегущих ног.

Но почему же несется он все мимо, все дальше куда-то?

А, понимаю: это их пугает мой шлем, белый шлем белого человека!

И я снимаю шлем, прижимаюсь в угол, снова жду — снова напрасно.

— Теперь-то почему же никого нет? — думаю я. — Ведь теперь они меня не видят?

И я вскакиваю с места, высовываюсь в окно, чтобы понять, в чем дело, — и дело объясняется тотчас же и очень просто: на моем купе крупно написано мелом, что оно — занято! Едва я успел войти в него, как на нем написали: занято! Настоял, мол, на своем, вырвал билет третьего класса, так вот же тебе — сиди, идиот.

И несется, несется поезд в бездне ослепительного зноя, льющегося с неба на эту радостную, райскую землю, и четко отдается таканье колес от цветущих лесных дебрей, без конца летящих назад, мимо окон.

— Курумба-а! — горестно и звонко кричат на остановках продавцы кокосовых орехов под сухой шорох босых ног, бегущих мимо моего купе.

И на одной из следующих остановок, я, как вор, перебегаю в четвертый класс, в вагон, набитый сидящими и стоящими, черными и шоколадными телами, которые только по бедрам повязаны мокрыми от пота тряпицами.

1921

Темир-Аксак-Хан

— А-а-а, Темир-Аксак-Хан! — дико вопит переливчатый, страстно и безнадежно тоскливый голос в крымской деревенской кофейне.

Весенняя ночь темна и сыра, черная стена горных обрывов едва различима. Возле кофейни, прилепившейся к скале, стоит на шоссе на белой грязи, открытый автомобиль, и от его страшных, ослепительных глаз тянутся вперед, в темноту, два длинных столпа светлого дыма. Издалека, снизу, доносится шум невидимого моря, со всех сторон

веет из темноты влажный беспокойный ветер.

В кофейне густо накурено, она тускло озарена жестяной лампочкой, привешенной к потолку, и нагрета грудой раскаленного жара, рдеющего на очаге в углу. Нищий, сразу начавший песню о Темир-Аксак-Хане мучительным криком, сидит на глиняном полу. Это столетняя обезьяна в овчинной куртке и лохматом бараньем курпее, рыжем от дождей, от солнца, от времени. На коленях у него нечто вроде деревянной грубой лиры. Он согнулся, — слушателям не видно его лица, видны только коричневые уши, торчащие из-под курпея. Изредка вырывая из струн резкие звуки, он вопит с нестерпимой, отчаянной скорбью.

Возле очага, на табурете, — женственно полный, миловидный татарин, содержатель кофейни. Он сперва улыбался, не то ласково и чуть-чуть грустно, не то снисходительно и насмешливо. Потом так и застыл с поднятыми бровями и с улыбкой, перешедшей в страдальческую и недоуменную.

На лавке под окошечком курил хаджи, вы-

сокий, с худыми лопатками, седобородый, в черном халате и белой чалме, чудесно подчеркивающей темную смуглость его лица. Теперь он забыл о чубуке, закинул голову к стене, закрыл глаза. Одна нога, в полосатом шерстяном чулке, согнута в колене, поставлена на лавку, другая, в туфле, висит.

А за столиком возле хаджи сидят те проезжие, которым пришло на ум остановить автомобиль и выпить в деревенской кофейне по чашечке дрянного кофе: крупный господин в котелке, в непромокаемом английском пальто и красивая молодая дама, бледная от внимания и волнения. Она южанка, она понимает по-татарски, понимает слова песни... — А-а-а, Темир-Аксак-Хан!

Не было во Вселенной славнее хана, чем Темир-Аксак-Хан. Весь подлунный мир трепетал перед ним, и прекраснейшие в мире женщины и девушки готовы были умереть за счастье хоть на мгновение быть рабой его. Но перед кончиною сидел Темир-Аксак-Хан в пыли на камнях базара и целовал лохмотья проходящих калек и нищих, говоря им:

— Выньте мою душу, калеки и нищие, ибо

нет в ней больше даже желания желать!

И, когда господь сжалился наконец над ним и освободил его от суетной славы земной и суетных земных утех, скоро распались все царства его, в запустение пришли города и дворцы, и прах песков замел их развалины под вечно синим, как драгоценная глазурь, небом и вечно пылающим, как адский огонь, солнцем... А-а-а, Темир-Аксак-Хан! Где дни и дела твои? Где битвы и победы? Где те юные, нежные, ревнивые, что любили тебя, где глаза, сиявшие, точно черные солнца, на ложе твоём?

Все молчат, все покорены песней. Но странно: та отчаянная скорбь, та горькая укоризна кому-то, которой так надрывается она, слаще самой высокой, самой страстной радости.

Проезжий господин пристально смотрит в стол и жарко раскуривает сигару. Его дама широко раскрыла глаза, и по щекам ее бегут слезы.

Посидев некоторое время в оцепенении, они выходят на порог кофейни. Нищий кончил песню и стал жевать, отрывать от тугой

лепешки, которую подал ему хозяин. Но кажется, что песня все еще длится, что ей нет и не будет конца.

Дама, уходя, сунула нищему целый золотой, но тревожно думает, что мало, ей хочется вернуться и дать ему еще один — нет, два, три или же при всех поцеловать его жесткую руку. Глаза ее еще горят от слез, но у нее такое чувство, что никогда не была она счастливее, чем в эту минуту, после песни о том, что все суета и скорбь под солнцем, в эту темную и влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным, до самой глубины души проникающим ветром.

Шофер, полулежавший в экипаже, поспешно выскакивает из него, наклоняется в свет от фонарей, что-то делает, похожий на зверя в своей точно вывернутой наизнанку шубе, и машина вдруг оживает, загудев, задрожав от нетерпения. Господин помогает даме войти, садится рядом, покрывая ее колени пледом, она рассеянно благодарит его... Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами

в какой-то кустарник, и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска... В вышине, над очертаниями чуть видных гор, кажущихся исполинскими, мелькают в жидких облаках звезды, далеко впереди чуть белеет прибоем излучина залива, ветер мягко и сильно бьет в лицо...

О, Темир-Аксак-Хан, говорила песня, не было в подлунной отважней, счастливей и славнее тебя, смуглоликий, огнеглазый — светлый и благодный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман! Ярче и зеленей райской листвы был шелк твоего тюрбана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончиком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями, готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни. Но, до дна испив чашу земных утех, в пыли, на базаре сидел ты, Темир-Аксак-Хан, и ловил, целовал рублище проходящих калек:

— Выньте мою страждущую душу, калеки!

И века пронеслись над твоей забвенной могилой, и пески замели развалины мечетей

и дворцов твоих под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы, с каждой новой весной, снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно-сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев... А-а-а, Темир-Аксак-Хан, где она, горькая мудрость твоя? Где нее муки души твоей, слезами и желчью исторгнувшей вон мед земных обольщений?

Горы ушли, отступили, мимо шоссеиной дороги мчится уже морс, с шумом и раковым запахом взбегающее на белый хрящ берега. Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные и белые огни, стоит розовое зарево города, и ночь над ним и над морским заливом черна и мягка, как сажа.

Париж. 1921

Ночь отречения

Мрачная бурная ночь на исходе дождливых месяцев, тьма, ураган и ливни.

Берег священного Львиного острова, черные леса, подступившие к самому океану, как бы готовому затопить их.

Великий рев волн, пенными, внутри светящимися горами непрерывно идущих на остров и заливающих не только прибрежные отмели, на которых студенистыми кругами лежат морские звезды, испускающие таинственное сияние, и шуршат тысячи расползающихся крабов, не только береговые скалы, но и подножие тех пальм, что склонились, змеевидно изогнулись своими тонкими стволами с береговых обрывов.

Сырой и теплый ураган проносится от времени до времени с сугубой стремительностью, с несказанной силой, столь величаво и мощно, что к океану буйно катится из лесов гул не менее страшный и тяжкий, чем гул самого океана: тогда пальмы, мотавшиеся из стороны в сторону, подобно живым существам, мучимым беспокойной дремотой,

вдруг низко склоняются под напором домчавшейся до берега бури, все разом падают долу, и с верхушек их с шумом сыплются мириады мертвых листьев, а в воздухе веет пряными благовониями, принесенными из глубины острова, из заповедных недр лесных.

Тучи, угрюмые и грузные, как в ночи Потопа, все ниже спускаются над океаном. Но в безграничном пространстве между ними и водной хлябью есть некое подобие света: океан до сокровенных глубин насыщен сокровенным пламенем неисчислимых жизней.

Валы океана, с огненно-кипящими гривами, в реве и в гуле бегущие к берегу, вспыхивают, перед тем как рушиться, столь ярко, что озаряют зеленым отблеском человека, стоящего в лесу над берегом.

Человек этот бос, с обрезанными волосами, с обнаженным правым плечом, в рубище отшельника.

Он мал, как дитя, среди окружающего его величия, и не ужас ли мелькнул в его изможденном лице при блеске и грохоте разрушившегося вала?

Твердо и звучно, преодолевая и этот гро-

хот, и слитный гул лесов и урагана, возглашает он:

— Слава Возвышенному, Святому, Всепроевленному, Победившему Желание!

Вихрем несутся вместе с ураганом, в черной лесной тьме, мириады как бы огненных глаз. И восторженно звучит голос человека, стоящего на берегу:

— Тщетно, Мара! Тщетно, Тысячеглазый, искушаешь ты, проносясь над землей животворящими ураганами и ливнями, тучным и уже вновь благовонным тлением могил, рождающих новую жизнь из гнили и праха! Отступись, Мара! Как дождевая капля с тугого листа лотоса, скатывается с меня Желание!

Но победно, в ливне сыплющихся листьев, мчится вихрь несметных огненных глаз, озаря под черным лесным навесом как бы исполинское изваяние: сидящего на земле, главой своей возвышающегося до самых верхушек пальм. Ноги его скрещены.

От шеи до чресл увит он серыми кольцами змея, раздувшего свое розовое горло, простершего свою плоскую, косоглазую голову над его главой.

Невзирая на безмерную тяжесть змеиных колец, сидящий свободен и статен, величав и прям.

Божественный нарост, острый бугор на его темени. Черно-синие, курчавые, но короткие волосы — как синева в хвосте павлина. Красный лик царственно спокоен. Взгляд блестящ, подобен самоцвету.

И страшный голос его, голос, звучащий без напряжения, по силе подобный грому, величаво катится из глубины лесов к человеку, стоящему на берегу:

— Истинно, истинно говорю тебе, ученик: снова и снова отречешься ты от меня ради Мары, ради сладкого обмана смертной жизни, в эту ночь земной весны.

Париж. 1921

Безумный художник

Золотилось солнце на востоке, за туманной синью далеких лесов, за белой снежной низменностью, на которую глядел с невысокого горного берега древний русский город. Был канун Рождества, бодрое утро с легким морозом и инеем.

Только что пришел петроградский поезд: в гору, по наезженному снегу, от железнодорожной станции, тянулись извозчики, с седоками и без седоков.

В старой большой гостинице на просторной площади, против старых торговых рядов, было тихо и пусто, прибрано к празднику. Гостей не ждали. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне, с изумленными глазами, в черном бархатном берете, из-под которого падали зеленоватые кудри, и в длинной дохе блестящего каштанового меха.

Рыжий бородач на козлах притворно кричал, желая показать, что он промерз, что следует набавить ему. Седок не обратил на него внимания, предоставив расплатиться с ним гостинице.

— Ведите меня в самый светлый номер, — громко сказал он, торжественным шагом следуя по широкому коридору за молодым коридорным, несшим его дорогой заграничный чемодан. — Я художник, — сказал он, — но на этот раз мне не нужна комната на север. Отнюдь нет!

Коридорный распахнул дверь в номер первый, самый почетный, состоявший из прихожей и двух обширных комнат, где окна были, однако, невелики и очень глубоки, по причине толстых стен. В комнатах было тепло, уютно и спокойно, янтарно от солнца, смягченного инеем на нижних стеклах. Осторожно опустив чемодан на ковер посередине приемной, коридорный, молодой малый с умными веселыми глазами, остановился в ожидании паспорта и приказаний. Художник, ростом невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту, в берете и бархатной куртке, прошелся из угла в угол и, сронив движением бровей пенсне, потер белыми, точно алебастровыми руками свое бледное! измученное лицо. Потом странно посмотрел на слугу невидящим взором очень близорукого и рассеянного че-

ловека.

— Двадцать четвертое декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года! — сказал он. — Эту дату ты должен запомнить!

— Слушаю-сь, — ответил коридорный.

Художник вынул из бокового кармана куртки золотые часы, мельком, прищурив один глаз, взглянул на них.

— Ровно половина десятого, — продолжал он, снова устраивая на носу свои стекла. — Я у цели своего паломничества. Слава в вышних богу и на земле мир, в человецех благоволение! Паспорт я тебе дам, не беспокойся, но сейчас мне не до паспорта. У меня нет ни одной свободной минуты. Сейчас я спешу в город, чтобы вернуться ровно в одиннадцать. Я должен завершить дело всей моей жизни. Мой молодой друг, — сказал он, протягивая к коридорному руку и показывая ему два обручальных кольца, из которых одно, на мизинце, было женское, — это кольцо — предсмертный завет!

— Так точно, — ответил коридорный.

— И я этот завет исполню! — грозно сказал художник. — Я напишу бессмертную вещь! И

я подарю ее — тебе.

— Покорнейше благодарим, — ответил коридорный.

— Но, любезный, дело в том, что я не взял с собой ни холста, ни красок, — провезти их из-за этой чудовищной войны было совершенно невозможно. Я надеюсь достать их здесь. Я наконец воплещу все то, что сводило меня с ума целых два года, а потом так дивно преобразилось в Стокгольме!

Говоря и отчеканивая слова, художник в упор смотрел через пенсне на своего собеседника.

— Весь мир должен узнать и понять это откровение, эту благую весть! — воскликнул он, театрально взмахнув рукой. — Слышишь? Весь мир! Все!

— Хорошо-с, — ответил коридорный. — Я доложу хозяину.

Художник снова надел доху и направился к двери. Коридорный со всех ног кинулся отворять ее. Художник важно кивнул ему и зашагал по коридору. На площадке лестницы он приостановился и добавил:

— В мире, мой друг, нет праздника выше

Рождества.

Нет таинства, равного рождению человека. Последний миг кровавого, старого мира! Родается новый человек!

На улице совсем ободнялось, стало совсем солнечно. Иней на телеграфных проволоках рисовался по голубому небу нежно и сизо и уже крошился, осыпался. На площади толпился целый лес густых темно-зеленых елок. У мясных лавок стояли мерзлые белые туши голых свиней с глубокими разрезами на толстых загривках, висели серые рябчики, оципаннные гуси, индейки, жирные и застывшие. Прохожие, переговариваясь, спешили, извозчики стегали лохматых лошадей, подрезавизжали.

— Узнаю тебя, Русь! — громко говорил художник, шагая по площади и глядя на туго подпоясанных, толсто одетых бодрых торговцев и торговок, покрикивающих возле своих лотков с самодельными деревянными игрушками и большими белыми пряниками в виде коней, петухов и рыб.

Он подозвал свободного извозчика и велел ехать ему на главную улицу.

— Только живее, к одиннадцати я должен быть дома за работой, — сказал он, садясь в холодные санки, кладя на колени себе тяжелую, каляную полость.

Извозчик мотнул шапкой и быстро понес его на своем сытом меринке по блестящей, накатанной дороге.

— Живее, живее! — повторил художник. В двенадцать самый полный свет солнца. — Да, — сказал он, оглядываясь, — места знакомые, но основательно забытые! Как называется эта пьядца?

— Чего изволите? — спросил извозчик.

— Я тебя спрашиваю, как называется эта площадь? — крикнул художник, внезапно впадая в ярость. — Стой, негодяй! Зачем ты привез меня к часовне? Я боюсь церквей и часовен! Стой! Ты знаешь, что один финн привез меня к кладбищу, и я тотчас же написал письма к королю и к папе, и он был приговорен к смертной казни! Вези назад!

Извозчик осадил разбежавшуюся лошадь и взглянул на седока с недоумением:

— Куда же прикажете? Вы сказали, на главную улицу...

— Я сказал тебе — в художественный магазин!

— Вы бы лучше, барин, другого наняли, мы не понимаем.

— Ну и убирайся к черту! Вот тебе твои сребреники!

И художник неловко вылез из саней, бросил извозчику трехрублевку и пошел прочь, назад, посередине улицы. Доха его распахнулась, волочилась по снегу, глаза страдальчески и растерянно блуждали по сторонам. Увидав в окне магазина золоченые багеты, он поспешно вошел в магазин. Но едва он заговорил о красках, румяная барышня в шубке, сидевшая за кассой, тотчас же перебила его:

— Ах, нет, у нас красками не торгуют. У нас только рамы, багеты и обои. Да и вообще вряд ли вы найдете у нас в городе холст и масляные краски.

Художник с непритворным отчаянием схватился за голову.

— Боже мой, да неужели? Ах, как это ужасно! Сейчас и именно сейчас краски для меня вопрос жизни и смерти! Идея моя совершенно созрела еще в Стокгольме и, будучи вопло-

ценной, должна произвести неслыханное впечатление. Я должен написать вифлеемскую пещеру, написать Рождество и залить всю картину, — и эти ясли, и младенца, и мадонну, и льва, и ягненка, возлежащих рядом, — именно рядом! — таким ликованием ангелов, таким светом, чтобы это было воистину рождением нового человека. Только у меня это будет в Испании, стране нашего первого, брачного путешествия. Вдали — синие горы, на холмах цветущие деревья, в раскрытых небесах...

— Извиняюсь, господин, — сказала барышня с испугом, — здесь могут покупатели прийти. У нас только рамы, багеты и шпалеры...

Художник встрепенулся и с преувеличенной вежливостью поднял свой берет:

— Ах, простите ради бога! Вы правы, тысячу раз правы!

И поспешно вышел.

Через несколько домов, в магазине «Знание», он купил очень большой лист шершавого картона, цветных карандашей и акварельные краски на бумажной палитре. Затем опять вскочил на извозчика и погнал его в го-

стину. В гостинице он тотчас позвонил. Явился тот же коридорный. Художник держал в руках паспорт.

— Вот! — сказал он, протягивая его коридорному. — Кесарево — кесарю. А затем, любезный, ты должен принести мне стакан воды для акварели. Масляных красок, увы, нигде нет. Война! Железный век! Пещерный век!

И, подумав, внезапно просиял восторгом:

— А какой день! Боже, какой день! Ровно в полночь рождается Спаситель! Спаситель мира! Я так и подпишу под картиной: «Рождение Нового Человека!» Мадонну я напишу с той, чье имя отныне священо. Я воскрешу ее, убитую злой силой вместе с новой жизнью выношенной ею под сердцем!

Коридорный опять выразил свою неизменную готовность на услуги и опять ушел. Но когда, через несколько минут он принес стакан и графин свежей воды, художник крепко спал. Бледное и худое лицо его было похоже на алебастровую маску. Он высоко, навзничь лежал на подушках на кровати в спальне, закинув голову, разметав свои длинные серо-зе-

ленные волосы, и не было слышно даже дыхания его. Коридорный удалился на цыпочках и за дверью столкнулся с хозяином, приземистым человеком с бобриком на темени и острыми глазами.

— Ну что? — спросил хозяин быстрым шепотом.

— Спит, — ответил коридорный.

— Чудеса! — сказал хозяин. — А паспорт правильный.

Только отмечено, что жена померла. Иван Матвеич звонил из полиции, велел присматривать. Ты того, держи ухо востро. Время, брат, военное.

— Говорит — одарю тебя, дай только дело сделать, — сказал коридорный. — Самовара не спрашивает...

— Вот, вот! — подхватил хозяин и прильнул ухом к двери.

Но за дверью было тихо, и только чувствовалась та грусть, что бывает в комнате спящего человека.

Солнце медленно уходило из номера. Потом и совсем ушло. Иней на окнах посерел, стал скучный. В сумерки художник внезапно

проснулся и тотчас кинулся к звонку.

— Это ужасно! — закричал он, как только появился коридорный. — Ты меня не разбудил! А меж тем именно из-за этого дня мы и предприняли нашу страшную Одиссею. Представь же себе, каково было ей, беременной на восьмом месяце! Мы прошли через тысячу всяческих рогаток, не спали, не ели почти шесть недель. А море! А бешеные качки! А этот непрерывный страх, что, того гляди, взлетишь на воздух! «Все наверх! Готовь спасательные пояса! Первому, кто кинется к шлюпке без команды, размозжу череп!»

— Так точно, — сказал коридорный, оторопев от его зычного крика.

— А какой был радостный свет! — продолжал художник, успокаиваясь. — Я при таком настроении духа, как давеча, кончил бы работу в два-три часа. Но что же делать! Буду работать всю ночь. Только помоги мне кое-что приготовить. Стол этот, пожалуй, годится...

Он подошел к преддиванному столу, стащил с него бархатную скатерть, покачал его:

— Стоит довольно твердо. Но вот что: у вас здесь всего две свечи. Надо примести еще во-

семь, иначе я не могу писать, Мне нужна бездна света! Коридорный опять вышел и долго спустя принес семь свечей в разных подсвечниках.

— Одной нету, все по номерам, — сказал он.

Художник опять заволновался, опять закричал:

— Ах, как это досадно! Десять, десять нужно было! На всяком шагу преграды, низости! Помоги мне, по крайней мере, поставить стол как раз посередине комнаты. Мы увеличим свет отражения в зеркале...

Коридорный потащил стол на указанное место, покрепче уставил его.

— Теперь надо застелить чем-нибудь белым, не поглощающим света, — бормотал художник, неловко помогая, роняя и надевая пенсне. — Чем бы это? Белых скатертей я боюсь... Ба, у меня куча газет, я предусмотрительно не выбрасывал их!

Он открыл чемодан, лежавший на полу, взял оттуда несколько номеров газеты, застелил стол, прикрепил кнопками, разложил карандаши, палитру, расставил в ряд девять

свечей и все зажег их. Комната приняла странный, праздничный, но и зловещий вид от этого обилия огней. Окна почернели. Свечи отражались в зеркале над диваном, бросая яркий золотой свет на белое серьезное лицо художника и на молодое озабоченное лицо коридорного. Когда наконец все было готово, коридорный почтительно отступил к порогу и спросил:

— Кушать будете у нас али на стороне? Художник горько и театрально усмехнулся.

— Дитя! Он воображает, что я могу в такую минуту есть! Иди с миром, друг мой. Ты свободен теперь до утра.

И коридорный осторожно вышел вон.

Часы текли. Художник ходил из угла в угол. Он сказал себе: «Надо подготовиться». За окнами чернела зимняя морозная ночь. Он опустил на них шторы. В гостинице все молчало. За дверью в коридоре слышались осторожные, воровские шаги, — за художником подсматривали в замочную скважину, подслушивали. Потом и шаги стихли. Свечи пылали, дрожа огнями, отражаясь в зеркале. Лицо художника становилось все болезненнее.

— Нет! — вскричал он вдруг, резко останавливаясь. Сперва я должен возобновить в памяти ее черты. Прочь детский страх!

Он наклонился к чемодану, волосы его повисли. Запустив руку под белье, он вытащил большой белый бархатный альбом, сел в кресло у стола. Раскрыв альбом, он решительно и гордо откинул голову назад и замер в созерцании.

В альбоме был большой фотографический снимок: внутренность какой-то пустой часовни, со сводами, с блестящими стенами из гладкого камня. Посредине, на возвышении, покрытом траурным сукном, тянулся длинный гроб, в котором лежала худая женщина с сомкнутыми выпуклыми веками. Узкая и красивая голова ее была окружена гирляндой цветов, высоко на груди покоились сложенные руки. В возглавии гроба стояли три церковных священника, у подножия — крохотный гробик с младенцем, похожим на куклу.

Художник напряженно вглядывался в острые черты покойной. Вдруг лицо его исказилось ужасом. Он кинул альбом на ковер, вскочил, бросился к чемодану. Он перерыл его

весь, до дна, разбросал по полу рубашки, носки, галстуки... Нет, того, что он искал, не было! Он отчаянно озирался по сторонам, тер рукою лоб...

— Полжизни за кисть! — воскликнул он хриплым голосом, топнув ногою. — Забыл, забыл, несчастный! Ищи же! Сотвори чудо!

Но кисти не было. Он пошарил по карманам, нашел перочинный нож, подбежал к дохе... Разве вырезать клоч меху и привязать к перу, к щепке? Но где взять ниток? Ночь, все спят... его примут за сумасшедшего! И он яростно схватил с дивана картон, швырнул его на стол, сбегал в спальню за подушками, положил их на кресло, чтобы было выше сидеть, и, хватая то один, то другой цветной карандаш, с головой ушел в работу.

Он трудился без отдыха. Он снял пенсне и низко наклонился к столу, бросал сильные и уверенные удары, откидывался, вперяя взгляд в зеркало, светлый туман которого был полон дрожащими цветистыми огнями. От жара свечей волосы художника на висках смоклись, от напряжения вздулись жилы на шее. Глаза слезились и горели, черты лица об-

резались.

Наконец он увидел, что лист картона безнадежно испорчен, — нелепо и ярко загроможден рисунками, совершенно противоположными друг другу по смыслу и по значению их: горячее вдохновение художника совершенно не повиновалось ему, делало совсем не то, что ему хотелось. Он перевернул картон и, схватив синий карандаш, оцепенел на некоторое время. Раскрытый альбом лежал возле его кресла. Из альбома так и бил в глаза длинный гроб и мертвый лик. Он порывисто захлопнул альбом. В чемодане торчала из белья оплетенная фляжка с одеколоном. Он вскочил, быстро отвинтил ее крышечку и, обжигаясь, стал пить. Опорожнив фляжку почти до дна и отдуваясь от душистого пламени, с пылающим горлом, он опять пошел шагать по комнате.

Вскоре юношеская сила овладела им — дерзкая решительность, уверенность в каждой своей мысли, в каждом своем чувстве, сознание, что он все может, все смеет, что нет более для него сомнений, нет преград. Он исполнился надежд и радости. Ему казалось,

что мрачные, дьявольские наваждения жизни, черными волнами заливавшие его воображение, отступают от него. Осанна! Благословен грядый во имя господне!

Теперь перед его умственным взором, с потрясающей, с небывалой доселе ясностью, стояло лишь то, чего жаждало его сердце, сердце не раба жизни, а творца ее, как мысленно говорил он себе. Небеса, преисполненные вечного света, млеющие эдемской лазурью и клубящиеся дивными, хотя и смутными облаками, грезилась ему; светозарные лики и крылья несметных ликующих серафимов проступали в жуткой литургической красоте небес; бог-отец, грозный и радостный, благий и торжествующий, как в дни творения, высился среди них радужным исполинским видением; дева неизреченной прелести, с очами, полными блаженства счастливой матери, стоя на облачных клубах, сквозящих синью земных далей, простертых под нею, являла миру, высоко поднимала на божественных руках своих младенца, блистающего, как солнце, и дикий, могучий Иоанн, препоясанный звериной шкурою, на коленях стоял воз-

ле ее ног, в исступлении любви, нежности и благодарности целуя край ее одежды...

И художник снова кинулся к своей работе. Он ломал и с лихорадочной поспешностью, трясущимися руками вновь острил ножом карандаши. Догоравшие свечи, оплывшие, текущие по раскаленным подсвечникам, еще жарче пылали возле его лица, завешанного вдоль щек мокрыми волосами.

В шесть часов он бешено давил кнопку звонка: он кончил, кончил! Затем побежал к столу и стоя, с бьющимся сердцем, стал ждать коридорного. Теперь он был бледен такой бледностью, что губы у него казались черными. Вся куртка его была осыпана разноцветной пылью карандашей. Темные глаза горели нечеловеческим страданием и вместе с тем каким-то свирепым восторгом.

Никто не шел. Гробовая тишина окружала его. Но он стоял, он ждал, весь превратившись в слух и ожидание. Вот, сию минуту вбежит коридорный, и он, творец, завершивший свой труд, изливший свою душу по воле самого божества, быстро скажет ему заранее приготовленные, страшные и победительные

Слова:

— Возьми. Я тебе дарю это.

И он, близкий от стука своего сердца к потере сознания, крепко держал в руке картон. На картоне же, сплошь расцвеченном, чудовищно громоздилось то, что покорило его воображение в полной противоположности его страстным мечтам. Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем, широко и покорно раскинувшим длани по перекладинам креста. Смерть, в доспехах и зубчатой короне, оскалив свою гробную челюсть, с разбегу подавшись вперед, глубоко всадила под сердце распятого железный трезубец. Низ же картины являл беспорядочную грудку мертвых — и свалку, грызню, драку живых, смешение нагих тел, рук и лиц. И лица эти, ощеренные, клыкастые, с глазами, выкатившимися из ор-

бит, были столь мерзостны и грубы, столь искажены ненавистью, злобой, сладострастием братоубийства, что их можно было признать скорее за лица скотов, зверей, дьяволов, но никак не за человеческие.

Париж. 1921

О дураке Емеле, какой вышел всех умнее

Емеля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому: не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил.

Пошел по воду Емеля, — его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал, за водой вразвалочку ходил, дрова колол да сладким сном занимался, — пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорей за хвост и давай на берег тащить, а она его со слезьми об милости просить:

— Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время. Он ее бросил, отпустил, а она и говорит:

— Проси, чего тебе хочется, не хочется.

— Мне, — говорит Емеля, — ведра несть не хочется: пуцдай сами идут.

Она сейчас сказала: «По щучью по веле-
нью, по моему прошенью, идите, ведра, собой
сами!» — Они и пошли сами ко двору. Емеля
следом за ними поспешает, песенки потана-
кивает, а они покачиваются, как утки, сами
идут. По селу народ встречается, во все окна
глядят: глянь-ка, мол, глянь, у Емельки ведра
сами идут! — А он дошел до двора и шумит:

— Эй вы, двери-тетери, по щучью по веле-
нью, по моему прошенью, отворяйтесь, две-
ри, собой сами! Мне неохота себя трудить, у
меня одна думка — послаже на свете пожить!

Тут двери сейчас собой сами растворились,
а ведра только через порог посигивают, стали
в избу прядать-скакать, а невестки от них ку-
да попало кидаются, испужались дюже:

— Что это, дескать, такое, что это ты, ду-
рак, дуросветишь? Где ты такое взял, что вед-
ра у тебя сами ходят?

— У вас, — говорит Емеля, — не ходят, а у
меня, — говорит, — ходят. Это уж пуцдай ум-
ные хрип-то гнут! Пеките мне блинов за рабо-

ту!

Ну вот и не раз и не два ходил Емеля таким побытом на речку, и все ведра у него сами гуляли, Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то:

— Емеля, а, Емеля, у нас дров рубленых нету. Ступай скорее за дровами, а то тебе же на печи холодно будет.

Он опять им, ни слова не говоря, покоряется, выходит, стало быть, на двор с ленцой, с раскорячкою и приказывает:

— Мне, — говорит, — смерть не хочется дрова рубить, ну-ка, по щучью по веленью, по моему прошенью, руби, топор, сам. А вы, дрова-борова, идите собой сами в избу, мне не хочется вас носить, себя беспокоить. Сторона наша, дескать, богатая, лень дремучая, рогатая: в тесные ворота не лезет!

Топор-колун сейчас у него из рук шмыг, взвился выше крыши и пошел долбить, двери в сенцы, в избу распахнулись, а дрова и давай скакать — прыгают, вроде как рыбы али щуки, а невестки опять дуром этого дела испужались, прячутся какая под стол, какая под коник, — мол, попадет, насмерть ушибет! —

а топор так и крошит, так и валяет, — во- сколько нашвырял, цельное беремья. Невестки Емелю с гневом ругают, грозят братьям нажалиться, а он только, как сом, ухмыляется:

— Вы блины-то мне пеките знайте да маслом дюжей поливайте, — а сам опять на печь в отставку полез, спать да дремать, мусором голову пересыпать.

Потом не за долгое время и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают, братьями трацают, нынче, братья с работы придут, мы им накажем, что ты нас не слушаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя, облома, не помилуют. А он, Емеля, на расправу жидкий был, страсть этого боя боялся, вскочил поскорей с печи, оделся в свой зипун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор-колун и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят — тебе надо лошадь запрячь, ты ведь сам не умеешь по своей дурости, а он говорит, а на что она мне, лошадь-то, — только маять ее? Я и на санях на одних съезжу, у вас не ходят без лошади сани, а у меня ходят.

Пошел к саням, подвязал оглобли назад,

сел и приказывает: «По-щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, ворота, сами!» Ворота сейчас растворяются, а он кричит: «А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами!» Сани и полетели, — их лошадь так не везет, как их понесло! — скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят, а ему, Емеле, и горюшка мало. Народ — «ах, ах, сани сами едут!» — хотели его окоротить — куда тебе, его и след замело! Потом приехал он в лес, остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней. Емеля вынимает топор из-за пояса:

— Ну-ка, — говорит, — руби, топор, по моему пощучьему веленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу, страсть свербит что-й-то!

Топор сейчас же начинает рубить — только звон жундит по лесу! Нарубил сколько надо, потом Емеля и говорит: «А вы, дрова, по моему прошенью, ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть, это мне не сласть». Дрова и пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак-подпояску, садится на сани и

приказывает, ступайте, мол, теперича, сани, сами собой ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу, дворяне и миряне увидели — «ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил!» — хотели его перенять, забежали под дорогу с дубинками, с рогаками, только не тут-то было, перенять-то его! Подавил с возом народу еще боле, чем когда порожнем ехал, приезжает ко двору, невестки оглядели в окно и давай опять ругать его, — вот, мол, дурак какой глупый, сколько ты, облом, народу безвинно подавил, а он им отвечает, а зачем, говорит, они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогаками, под сани лезли? Потом сказал свое щучье слово, во рога перед ним враз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посигали дрова-поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а Емеля-дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболее да маслом мазать пожирнее.

Ну вот он ел, ел, потом глядь в окно, а тут розыск, ищут его сотники, староста, хотят к наказанью представить за все его баснословья. Он, был, забился куда потемнее в угол, в

сор, в паучину, ну только все-таки они его нашли там, на этой печке.

— Слезай, — говорят, — Емеля, пришло твое время. Что это ты дуросветишь, народ калечишь? Вот мы тебя заберем и в холодную отведем, как это, мол, ты без лошади ездешь, неладно делаешь, чепуху творишь?

Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить, а он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в углу стояла:

— Ну-ка, — говорит, — покажи им, дубинка, белый свет!

Сказал свое щучье слово, а дубинка как взовьется, как козлекнет из угла, да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они — ах, ах, что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам кроя? — да поскорей вон из хаты. Кинулись к становому, к стражникам, он, говорят, нас не слушается, а силой его никак не возьмешь, идите, значит, сами, может, он вас боле почитает, а про дубинку про эту, какая их угощала, понятное дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники и сам становой с ними, староста

им указал, где он, Емеля, спасается, они и входят в избу к нему всем гуртом:

— Ну, теперь, Емеля-дурачок, мы тебя с солдатами заберем, саблями тебя зарубим, — слезай скорей с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся!

А он опять не слушается, — их полна изба напихалась, а он опять не идет, в углу песенку поет:

*Ой, вы, очи, ясные мои очи,
Емеля на расправу итить не хоча!*

Они его честью умоляют, а он опять свое, опять эти очи поет. Ну, как они его опять раздражили, он и говорит:

— По щучью по веленью, по моему моленью, — а дубинка эта так и лежит с ним на печке, — ну-ка, — говорит, — дубинка, попотчуй их сахаром!

Та дубинка сейчас встает и давай их охаживать с головы на голову, станового и стражников, и повыгнала, значит, всех из хаты вон.

— Ну что теперь с ним делать, — становой говорит, — как его нам взять, ребята?

А один стражник и надумайся:

— Давайте, — говорит, — обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. (А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки.) Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то.

Сговорились так-то, пришли и давай его улащать, волновать. Ну он и согласился. Ну хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя, — я сам к нему, к государю, поеду.

Они и ушли все от него, а он и приказывает печке:

— Ну-ка, — говорит, — печка, ступай-ка теперь, по моему приказу, к самому к царю во дворец! Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них.

Печь сейчас же заворочалась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней, все равно как на пассажирском поезде на паровозе едет. Подъезжает к государеву дворцу, приказывает царским вратам отворяться

и прет прямо на печке на этой к балкону, к крыльцу к главному, а сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную, «ой, вы, очи, мои ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усостыжить, а государь услышал этот шум-бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит:

— Что ты, — говорит, — невежа, тут кричишь, зачем ты, — говорит, — в наши царские покои приехал, чудеса творишь, на печке едешь? Сказывай, кто ты такой. Ты, верно, Емеля-дурачок?

А Емеля подымается с печки, разбирает виски с глаз, утирает сопли-возгри и кланяется ему, государю своему:

— Так точно, мол, ваше императорское величество, это я самый и есть. Я, — говорит, — затем сюда приехал, государь-батюшка, что вы меня звали пряниками кормить, а я любитель их есть.

— Я тебя не пряниками кормить, — говорит ему государь с гневом, — я тебя велю сейчас в тюрьму забрать! Я тебя, — говорит, — заберу под арест.

— А за что же, ваше императорское вели-

чество, заберете вы меня?

— А за то, — говорит, — что ты на санях без лошади едешь, народ смутьянишь и жителей большое число подавил, помял. Я велю сейчас тебе голову снести. Вот тебе меч и голова долой с плеч!

Царь ему говорит — на тебя жалоб много, за это тебе нехорошо будет, за бесчестье такое, а он опять играет песню «ой, вы, очи, мои ясные очи», на печке лежит и песню кричит во все рыло. Государь осерчал, разгорячился, крикнул прислуг часовых, — взять, дескать, его в двадцать четыре часа! — а Емеля, понявши такое дело, полны портки со страху напустил и говорит поскорей:

— По щучью по веленью, по моему низко-му прошенью, влюбись в меня, царская дочь-наследница, просись замуж за меня!

Прислуги бегут, хотят его с печи тащить, а царская дочь начинает государя со слезьми за него просить:

— Лучше, мол, государь-батюшка, меня скажите, — я не могу его злой смерти перенести, у него волшебное слово есть. Вы, — говорит, — не смотрите, что он такой сопатый,

толстопятый, глаза дыркою, нос просвиркою, он нос утрет, за Иван-царевича сойдет!

Ну государь и сжалился на нес, наследницу свою. Оттрепал для видимости Емелю-дурака за вшивый вихор, наказал ему строго-настрого больше так-то не охальничать, накидал ему на печку из собственных рук леденцов-пряников, а Емеля накланялся ему, набил зоб этими закусками, дубинкой махнул, печку повернул и пошел чесать на печке ко двору, скачет-летит, а сам еще пуще прежнего свою песню шумит, — только по лесу отзывается!

Тут долго ли, коротко ли, только царская дочь, как только он, значит, скрылся с глаз долой, и зачни по нем сохнуть, горевать: он ей просто с ума нейдет, — дюже влюбилась в него по этому по щучьему слову! Государь видит ее муку и, наконец того, обращается к ней, просит ее во всем сознаться, Ну, она ему и поклялась:

— Государь, мол, батюшка, я вся истянулась, истощала по нему, по Емеле-дураку. Не отдавай мне царства-государства, а построй мне фамильный склеп-могилу, коли не хо-

чешь меня замуж за него отдать!

Ну что тут делать государю при таких речах? Он опять сжалился на нее и посылает сейчас посланников в эту деревню, где, значит, Емеля проживал, лаптем щи хлебал. Приехали эти посланники верхом на конях, нашли его в этой деревне, взошли в избу и давай его умолять:

— Емелюшка, милый, видно, мол, добился ты своего: не будешь ни пахать, ни косить, будешь только жамки в рот носить. Государь тебя честью к себе просит, хочет дочку за тебя выдать. Утирай свои сопли, чеши свои кудлы, надевай портки-рубаху — мы тебе за сваху!

А он, Емеля, еще ломается, — а, дескать, теперь мил стал!

— Я, — говорит, — по-людски ничего не хочу делать. Я всем головам голова. Я на печи поеду. Мне ваши кареты-коляски без надобности. Мне с печи слезать не хочется. Моя думка одна — себя не трудить, а на свете по-слаже пожить.

Посланники, понятно, и на то обрадовались, — им царь не велел бея него и на глаза показываться, — на все его причуды подписы-

ваются, в пояс ему кланяются, а он велит братьям с невестками прибраться как надо и с ним вместе ехать — полно, мол, вам тут в лесу сидеть, на пни глядеть! Они в голос, кричат, рыдают, не хотят с домом расставаться, робеют этого дела, ты, говорят, и нас под великую беду подведешь, а он говорит, если, говорит, честью не поедете, я вас силком посажу. Велел всем жаровые рубахи, красные сарафаны надевать — они, дурачки-то, любят красненькое, — насажал всех на печку, чисто цветы какие, наказал сидеть смирно-благородно, заиграл свою веселую песню и попернаружу, — только пороги затрещали!

В поле навстречу ему — коляска золотая, — государь, значит, выслал, — солдаты везде стоят, честь отдают, на караул держат-тянутся, а он их и во внимание не берет, и опять его печка прямо к балкону везет. Выходит государь: «Приехал, говорит, Емеля?» — «Приехал, мол, так точно. А на что, государь-батюшка, я нужен вам?» — «А на то, говорит, нужен, что сокрушили вы мою дочку, хочу вас повенчать с нею. С печи, говорит, поскорее слезайте, а вы, дочка наша, хлеб-соль ему подавай-

те».

Ну, Емеля, понятно, поскорей долой, ему только и надо было этого приглашенья, велел и братьям с невестками слезать, стать в сторонке и шепоту никакого не делать, потом поцеловал как надо государю ручку, невесте честь-честью поклонился, — хоть бы и не дураку впору! — хлеб-соль принял, и пошли они, значит, всем миром, собором прямо в царские хоромы. Там государь доложил до домашнему священнику, велел ему в церковь иттить, все к венцу готовить, а сам вынес икону заветную и благословил Емелю с своей дочкой на жизнь вечную. Потом, понятно, нос ему утерли, в бане отмыли, в красный кафтан нарядили и свадьбу по всему закону сыграли, а государь под него тут же полцарства своего подписал.

Я на том пиру, как говорится, был, да, признаться, все это дело забыл, — дюже пристально угощали: и теперь глаз от синяков не продеру!

А Емеля стал жить да поживать, на бархатных постелях лежать, душу сладкими закусками ублажать да свою царевну за хохолок

держатъ:

— Мол, и без меня управятся, — с государством-то!

Париж. 1921

Конец

I

На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей... Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще неполной разрешенностью свой судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался треск, град винтовок или спешно, мелко строчил пулемет.

К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба, бодро раздавался тяжкий, глухой стук, от которого вздрагивала земля, за ним великолепный, с победоносной мо-

щью режущий воздух и звенящий звук снаряда и, наконец, громовой разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная оружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к «Патрасу», под французским флагом стоявшему у набережной в Карантинной гавани. Откуда-то донесся быстро бегущий, тревожно и печально требующий дороги рожок кареты Скорой помощи... Стало жутко и на «Патрасе» — то страшное, что совершилось на горе, доходило и до него. «Что же мы стоим? — слышались голоса в толпе, наполнявшей пароход. — С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут!» — И все стали врать напрапалую, стараясь зачем-то еще более напугать и себя и других: угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть... Между тем уже темнело.

Но вот, в пятом часу, выскочил наконец из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль — и у всех вырвался вздох облегчения: консул приехал, значит, слава богу, сейчас отвалим. Консул, с

портфелем под мышкой, выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в короткой волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка, и к автомобилю стала спускаться петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко, автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами... Два часовых, два голубых солдата в железных касках, стояли с карабинами на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними яростно запыхавшийся господин в бобровой шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, забрызганное грязью, с воротником точно зализанным, висело как на вешалке. А девочка была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре.

Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход.

Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом так же тупо стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось, что дело уже сделано, что город сдался... В городе не было ни одного огня, порт был пуст, «Патрас» уходил последним. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались, все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно за клубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом... Прощай, Россия, бодро сказал я себе, сбегая по трапам.

Пароход, конечно, уже окрестили новым ковчегом, — человеческое остроумие не богато. И точно, кого только не было на нем! Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет неплохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие уже давно, из города в город, и, наконец, добежавшие до последней русской черты.

Три четверти людей, сбившихся на «Патрасе», уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смер-

тельных опасностей, жутких и нелепых случайностей, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к этой последней черте, под защиту счастливых, далеких от всех их страданий и потому втайне гордящихся существ, называемых французами, и эти французы позволили им укрыться от последней гибели в то уютное, тесное, что называлось «Патрасом» и что в этот зимний вечер вышло со всем своим сбродом навстречу мрачной зимней ночи, в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на «Патрасе», в том совершенно загадочном, что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах? И, однако, каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь,

одной трезвой мысли о котором было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния. По милости божьей, именно трезвости-то и не бывает у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет.

Всюду на пароходе все было загромождено вещами и затоптано грязью и снегом. Всюду была беспорядочная теснота и царило оживление табора, людей только что спасшихся, страстно стремившихся спастись во что бы то ни стало и вот наконец добившихся своего, после всех своих мучений и страхов наконец поверивших, что они спасены, что они уже вне опасности и что они живы, — что бы там ни было впоследствии! Человек весьма охотно, даже с радостью освобождается от всяких человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикому образу существования, — только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на «Патрасе» все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно — не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни жадной еды не вовремя, ни

неумеренного куренья, ни разворачивания при посторонних своего скарба, нутра своей обычно сокровенной жизни.

Всюду были узлы, чемоданы и люди: и в рубке над кают-компанией, где поминутно хлопала тяжелая дверь на палубу и несло сырым ветром со снегом, и на лестнице в кают-компанию, и под лестницей, и в столовой, где воздух был уже очень испорченный. Трудно было пройти от тех нестесняющихся и опытных, предусмотрительных господ, что уже захватывали себе местечко, располагались по полу со своими постелями и семьями. Прочие, спотыкаясь на эти постели, перепрыгивая через узлы и чемоданы, наталкиваясь друг на друга, бегали с чайниками за кипятком, тащили где-то добытые, — за какие угодно деньги и чем дороже, тем радостнее! — огромные белые хлеба, торжествуя друг перед другом своей ловкостью, настойчивостью и даже бессовестностью. Столы завалили съестным, сидели за ними тесно, в шапках и калошах, поспешно ели и пили, сорили яичной скорлупой, угощали друг друга колбасой и салом, со смехом рассказывая, что вчера му-

жик на базаре содрал вот за этот кусок четыре тысячи «думскими», пробивали перочинными ножами брызгающие рыжим маслом жестянки... Длинный господин, явившийся на пароход последним, несколько раз пробегал по столовой с коробкой консервированного молока в руке, — где-то устроил свою девочку и хлопотал накормить ее. Вид у него был все такой же грозный и решительный, и еще заметнее было теперь, — он был без пальто, — как худа его шея, как велика бобровая шапка, как мягки и сальны длинные волосы.

III

Под лестницей была особенно гнусная теснота, образовались две нетерпеливых очереди — одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, налипавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое, и потому воспользоваться им хотелось всем, даже и непьющим. Я скорее многих других пробился к лакеям, получил целый литр и, возвратясь в столовую и

пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить.

Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на «Патрасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше вас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури — один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность — дойдем ли мы до Константинополя, и если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось; сигара была ужасная, вино холодное, лиловое. Но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. «Патрас» был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче... Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, уверенно. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение.

Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая

с боков, все тяжелее стучая в стены и с плеском, шипением ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь, горами, без толку, без смысла, ходило мрачное, ледяное, зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все-таки радовавшей своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже неосознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой; слушал говор, галду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал, — вернее, все собирался что-то обдумать и попятить как следует. Стало уже упруго поднимать и опускать, стало валить на сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. «Патрас» будто быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходявшихся водяных гор, шел, весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с пере-

боями, с перерывами выделявая «траттатата-та». Вдруг ветер налетел и засвистал бешено, волна ударила так тяжело и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем... Потом все опять пришло в порядок, опять пошло с дрожью и перерывами это «траттататата», — и вдруг опять ударило, и опять дико засвистало и глубоко окунуло, опустило в расступившуюся водяную пропасть... «Началось!» — подумал я с нелепой радостью.

Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, — с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убежать надо было опрометью, сидеть — упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что

размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья... А наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть — ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад... Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали с остервенелой тоской и удалью, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря... Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я насилу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И, когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжело

ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас», Но «Патрас» только глубоко нырнул под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг — налетал ураган со снегом, насквозь пронзавший мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием...

IV

И не раздеваясь, — раздеться никак нельзя, того гляди, расшибет об стену, об умывальник, да и слишком было холодно, — я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило — противно, как в каком-то чудовищном чреве. И, понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в рукомойнике, его сточная дыра гудела, гудела — и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться... Ах, встать бы, заткнуть чем-нибудь это ана-

фемское горло! Но не было воли даже приподняться, как ни готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредельности волн...

В полусне, в забытии я что-то думал, что-то вспоминал... Пришло в голову и стало повторяться, баюкать:

*Гром и шум, корабль качает,
Море Черное шумит...*

— Как дальше? — в полусне спрашивал я себя. — Ах да!

*Снится мне — я свеж и молод...
От зари роскошный холод
Проникает в сад...*

Как все это далеко и ненужно теперь! Так только, грустно немного, жаль себя и еще чего-то, а за всем тем — бог с ним! И опять повторялись стихи и опять путались, опять клонило в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, боролось, — и все лишь

затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, а за ним новым пружинным подъемом, и новым шипением бурлящей, стекающей воды, и пахучим холодом завывающего ветра, и клокочущим ревом захлебывающегося умывальника... Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?

Париж. 1921

Косцы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки.

Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь срединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня... Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на

меже, навивая кнут... Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», незнанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и та-

кими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведенными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:

— Хлеб-соль, здравствуйте.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засмея-

лись:

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть мам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни.

Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть се была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которыми дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поми-

нутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздохнуть, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой

дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонешкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

*Ты прости-прощай, любезный
друг,
И, родимая, ах да прощай, сторо-
нушка! —*

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной.

*Ты прости-прощай, любезная,
неверная моя,
По тебе ли сердце черней грязи
сделалось! —*

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

*Коль не любишь, не мил — бог с тобою,
Коли лучше найдешь — позабудешь!*

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

*Ах, коли лучше найдешь — позабудешь,
Коли хуже найдешь — пожалеешь!*

В чем еще было очарование этой песни, ее неизбежная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя, Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, — и все-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него уют, ночлег, есть чье-то заступниче-

ство, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитячко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные тони болотные, носки летучие — и прощал милосердный бог за все пошвисты удалые, ножи острые, горячие...

Еще одно, говорю я, было в этой песне — это то, что хорошо знали и мы и они, эти ряжанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас паши древние за-

ступники, разбежались рысучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобренные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.

Париж. 1921

Полуночная Зарница

Изба в густом майском лесу, перед ней поляна, среди поляны раскидистая яблоня, лесовка, вся белая и кудрявая от цвета. Солнце уже село за лесом, но еще долго будет светло. Все свежо, молодо, всего преизбыток — зелени, цветов, трав, соловьев, горлинок, кукушек. И сладко, лесом, цветами, травами, пахнет легкий холодок зари. За теми чащами, над которыми светлая пустота весеннего заката и которые спускаются в лесные овраги, розовеющим зеркалом сквозит пруд, и в нем иногда квохчет лягушка, томно, изнемогая от наслаждения. Соловьи низко перелетают над поляной, гоняются друг за другом, на лету цокают, трещат.

Верховая лошадь, кажущаяся под седлом

еще легче и красивее, стоит под яблоней. Она тянется мордой к мелкой листве среди белых цветов, обрывает ее и все время звучно жует. А я сижу на пне возле избы, и мне приятно, что я здоров, молод, что я хорошо езжу и что лошадь ценит это, любит меня, что она так женственна и породиста, что она с одинаковым удовольствием покоряется мне во всем — принимает на себя седло, чувствует крепко охватившие ее подпруги, идет крупным, вольным шагом или во весь опор скачет, стоит возле крыльца, на меже в поле, поддеревом в лесу...

В избе, на лавке возле окошка, — девочка лет трех, в чепчике. Она занята тем, что бьет себя по губам: бам, бам, бам! За ней, внутри избы, темно и жарко.

Широта и глубина светлого заката сократилась, померкла. В бездонной высоте, сереющей над поляной, парами налетают вальдшнепы, на мгновение останавливаются и летит дальше. Лягушка смолкла, — во всем лесу тишина, только щебечут где-то вблизи две птички, да и то как-то безжизненно, перед сном. И все чаще, все страннее смотрит вверх,

на сереющую синеву, где уже мелко проступают первые зерна звезд, горбатая девка, смиренно сидевшая весь вечер на траве неподалеку от яблони.

Вверху — небо, вправо — померкшая заря, впереди, за яблоней, — далекие красноватые просветы в черных лесных низах. И я тоже смотрю — то в вышину, то на эти просветы, то на лошадь, то на девку — и тогда она, не глядя, тотчас чувствует мой взгляд и стыдливо подбирает ноги, оправляет платье. Она чисто и приятно одета. Лицо у нее слегка ширококосулое, но тонкое, озаренное прозрачной бледностью. Трогательно ее ожерелье на худых ключицах, девичья льняная сорочка, маленькие босые ноги — и странен, даже немного страшен ее частый и несмелый взгляд на небо.

Подходит ее мать — воротилась из села, принесла мешочек пшена, связку кренделей.

Поздоровавшись со мной, садится на порог избы, вздыхает:

— Была в селе, купила кой-чего... А вы давно тут? Анютка не плакала? На нее надежды нету, — говорит она, разумея горбатую, кото-

рая слушает так, будто говорят не про нее, а про кого-то другого, — она у нас, сами знаете, какая...

Я знаю, но баба подробно и не спеша рассказывает или, скорее, вслух передумывает все то, что я слышал уже много раз:

— Что ж, дошло до того, что два раза из омута вынимали... Пришла я как-то из села, а она в пруде по горло, топиться хочет... А на медни с осинки сняла: собираю сушь в лесу, глядь, а она висит на суку, еле ногами травы касается, — уж краски по лицу пошли... «Все, говорит, ходит Он ко мне, душит, настигает...» Ночью проснусь, а она задыхается, кричит: «Что ты? Что ты? Пусти, не хочу!» — А самой, по голосу слышу, лестно, сладко... Спать без того не ложится, — молится, приговаривает: «Не надейся, не надейся, с собой не положу! Всю постелю закрепощу!» Тает, на нет сошла, осталось нарядить да в гроб положить... Уж я с ней работы и не спрашиваю, грех и спрашивать... Куда вся храбрость девалась, а прежде чистый огонь была, нежная, обидчивая... Дело молодое, тайное, какой только думки в голове нету! Иной раз проговорится, — глаза по-

тупит, покраснеет и шепчет: «Ну что ж, ну, горбатая, а все лицом не хуже других... Ну и пускай никто не возьмет, постыдится с такой-то под венец стать... Найду себе получше дружка, потаенного, полуночного...» Какой страшный грех говорит, а все думается — померет, все господь простит...

Девка сидит прямо, неподвижно, не слушает, пристально и странно глядит в темноту леса...

Домой еду полями. Земля залита темнотой, темнота поднимается снизу, затопляет далекую зарю, последний след ее. Свежо — пахнет и зеленью уже поднявшихся ржей, и росистой травой на межах, и всем тем полевым, ночным, среди чего я родился, вырос, чем так сладко живу...

Баба говорила: «Я сплю с Анюткой на нарах, а она на конике, под святыми... Ночью проснусь — сидит, в окошечко, на звезды, на ночь, на лес смотрит... у меня, говорит, звезда любимая есть, верная, неизменная, Полуночная Зарница...»

Полуночная Зарница. Звезда любви, Звезда предрассветная.

Лошадь идет подбористо, точно чует мои думы, — видны ее настороженные уши на слабом свете зари... О, красавица, умница, любимая моя! Как передать словами нашу с тобой близость, нашу любовь, — нет тоньше, таинственней и чище этой любви, навеки безмолвной, навеки верной, не обманывающей, любви между человеком и животным!

А этот, теперь уже темный и такой злоедающий, лес и она, эта страшная и прекрасная горбунья? Мать, верно, уже спит, а она, живая покойница, сидит на лавке под святыми, глядит, слушает — одна во всем мире, — и все, кроме человека, все с ней и в ней — и ночь, и лес, и вся Вселенная, вся тайна ее — и уж так с ней и в ней, как нам никому не дано, потому что уже совсем вне нашего мира она, уже во власти этого Потаенного, Полуночного, чья дивная и грозная Звезда горит перед зарею над лесом...

И я обнимаю и целую сильную атласную шею своей бессловесной возлюбленной, чтобы слышать ее грубый запах, чтобы чувствовать земную плоть, потому что без нее, без этой плоти, мне слишком жутко в этом мире,

и натягиваю поводья, и лошадь тотчас же отвечает мне всем своим существом — и легко, горячо несет меня по темной дороге к дому.

Париж. 1921

Преображение

Двор был богатый, семья большая. Старик, наплодив детей и внуков, в свое время помер, но старуха зажила и жила так долго, что казалось, никогда не будет конца ее жалкому и нудному существованию.

Это они со стариком были строителями и владыками всего этого обширного, прочного, теперь уже давно обжитого, вросшего в свое место, грязного и уютного гнезда с его гумном, дуслистыми лозинами, амбарами, черной избой в три связи, грубым до дикости скотным двором, потонувшем в навозе и переполненным сытой скотиной. Это они когда-то были молоды, красивы, разумны и строги, а потом стали как-то теряться среди все увеличивающейся и крепнущей молодежи, то в одном, то в другом уступать ей свою волю и наконец совсем сошли на нет, захирели, высохли, сторбились, забились на полати,

на печь, отчудились сперва от семьи, и потом и друг от друга, чтобы уже навеки разлучиться по могилам.

После смерти старика старуха почувствовала себя особенно неловко на белом свете — и сократилась до последнего, совсем как будто забыла, что ведь все это молодое, сильное царство, в котором она стала такой ненужной, развела она, она. Вышло как-то так, что оказалась она самым ничтожным существом во всем дворе, живущим в нем точно из милости, годным лишь на то, чтобы уютиться на жаркой печи зимою, а летом цыплят стеречь, избу караулить в рабочую пору... Кому бы пришло в голову бояться ее, думать о ней!

Но вот захворала ужо как следует, забилась на печь уже без всякого притворства, закрыла глаза, дыша горячо и беспомощно, с такой великой усталостью, что даже у плечистых невесток повернулось сердце от жалости. «Мамушки, ай тебе курятники спарить либо лапшицы молочной? Может, хочется чего? Может, самовар поставить?» — А она только дышит в забытьи, только слабо и благодарно рукой шевелит...

Наконец развязала всех — отошла.

Глубокая ночь, зима. Ночь для нее, среди живых, последняя. На дворе метель и темь, вся деревня спит. Спит и весь двор, — обе жилые связи полны спящими, — и над всей этой зимней ночью и метелью, сном и глушью двора и деревни царит Мертвая: вчерашняя жалкая и забитая старушонка преобразилась в нечто грозное, таинственное, самое великое и значительное во всем мире, в какое-то непостижимое и страшное божество — в покойницу.

Она лежит в холодной половине — уже в гробу, снеговая, белая, глубоко уйдя в свой гробный мир, уткнув в грудь приподнятую соломенной подушкой голову, и падает тень от чернеющих, выделившихся на белом лице ресниц. Гроб, прикрытый легким от ветхости парчовым покровом, взятым напрокат из церкви, стоит за столом, ярко озаренным целым пучком восковых свечей, прилепленных к нему и пылающих жарко и беспокойно. Гроб стоит под святыми, на лавке возле окошечка, за которым идет морозная метель, черные стекла которого блестят, искрятся снегом,

снаружи намерзающим на них.

Псалтырь читает Гаврил, младший сын покойной, недавно женившийся. Он всегда выделялся в семье своей разумностью и опрятностью, ровным нравом, любовью к чтению, к церковным службам — кому ж читать, как не ему? И он пошел в эту ледяную избу просто, ничуть не боясь предстоящей ему долгой ночи наедине с мертвой, не думая об этой ночи, не представив себе, что ждет его, — и вот уже давно чувствует, что случилось нечто роковое и непоправимое в его жизни. Он стоит и читает, наклонясь к жарким и дрожащим свечам, читает, не смолкая, все на один лад, — как поднял голос по-церковному, так и остался на высокой ноте, — читает, ничего не понимая и не в силах прекратить чтения. Он чувствует, что ему уже нет спасения, что он совершенно один не только в этой ледяной избе, глаз на глаз с этим страшным существом, которое тем страшнее, что это его родная мать, но и в целом мире: что ночь так глубока, глуха, что ему уже не от кого ждать защиты и помощи.

Что с ним случилось? То, что он не рассчи-

тал своих сил, решившись читать над покойницей ночью, в час всеобщего сна, что его обуяло ужасом и что он не может двинуться? Нет, случилось нечто гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражен не ужасом, а именно этим чудесным, таинством, совершившимся на его глазах. Где она теперь, куда она девалась, та жалкая, маленькая, убогая от старости, робости и беспомощности, которую столько лет почти не замечал никто в их большой, грубой от своей силы и молодости семье? Ее уже нет, она исчезла, — разве это она, вот это Нечто, ледяное, недвижимое, бездыханное, безгласное и все же совсем не то, что стол, стена, стекло, снег, совсем не вещь, а существо, сокровенное бытие которого так непостижимо, как бог? Разве то, что лежит и молчит в этом новом, красивом гробу, обитом лиловым плисом с белыми крестами и крылатыми ангельскими головками, разве это та, что еще позавчера ютилась на печке? Нет, совершилось с ней некое преобразование — и все в мире, весь мир преобразился ради нее. И он один, один в этом преобразенном мире!

Он волшеббно замкнут в нем, и он должен стоять в нем до рассвета и читать, не смолкая, на том необычном, жутком и величественном языке, который тоже есть часть этого мира, его гибельный, зловещий для живых глагол. И он собирает все силы, чтобы читать, видеть, слышать свой собственный голос и держаться на ногах, всем существом и все глубже воспринимая то невыразимо чарующее, что, как некая литургия, совершается в нем самом и перед ним. И вдруг медленно приподнимается и еще медленнее опускается парчовой покров на груди покойницы — она медленно дышит! И еще выше и ярче растет, дрожит, ослепляет блеск свечей — и уже все вокруг превращается в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеет голова, плечи, ноги. Он знает, он еще соображает, что это морозный ветер дует в окно, за которым идет метель, что это он поддувает покров и раздувает свечи. Но все равно — этот ветер тоже она, усопшая, это от нее веет этим неземным, чистым, как смерть, и ледяным дыханием, и это она встанет сейчас судить весь мир, весь презренный в своей животности и бренности

мир живых!

* * *

Теперь Гаврило молодежавый мужик с седыми, аккуратно причесанными волосами. Он не хозяйствует, предоставил хозяйство братьям, жене. Он избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственное любимое им — ездить ямщиком.

Он всегда в дороге, и дорога, даль, меняющиеся по времени года картины неба, полей, лесов, облучок тележки или саней, бег пары верных ему умных лошадей, звук колокольчика и долгий разговор с приятным седоком — счастье, никогда ему не изменяющее.

Он простой, ласковый. Лицо у него чистое, худощавое, серые глаза правдивы и ясны. Он не говорлив, но охотно рассказывает достойному человеку то трудно передаваемое, похожее на святочный рассказ, а на деле истинно дивное, что пережил он у гроба матери, в ее последнюю ночь среди живых.

Париж. 1921

Далекое

Давным-давно, тысячу лет тому назад, жил да был вместе со мною на Арбате, в гостинице «Северный Полюс», некий неслышный, незаметный, скромнейший в мире Иван Иванович, человек уже старенький и довольно потрепанный.

Из году в год жила, делала свое огромное дело Москва. Что-то делал, зачем-то жил на свете и он. Часов в девять он уходил, в пятом возвращался. О чем-то тихо, но ничуть не печально думая, он снимал с гвоздя в швейцарской свой ключ, поднимался во второй этаж, шел по коленчатому коридору. В коридоре очень сложно и очень дурно пахло и особенно чем-то тем, душным и резким, чем натирают полы в дрянных гостиницах. Коридор был темный и зловещий (номера выходили окнами во двор, а стекла над их дверями давали мало света), и весь день горела в конце каждого его колена лампочка с рефлексом. Но казалось, что Иван Иванович не испытывал ни малейшей доли тех тяжелых чувств, которые возникали насчет коридора у людей, не

привыкших к «Северному Полюсу». Он шел по коридору спокойно и просто. Встречались ему его сожители: бодро спешащий, с молодой бородой и ярким взглядом студент, на ходу надевавший шинель в рукава; независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на свое сходство с белым негром; старая маленькая дама на высоких каблучках, всегда наряженная, наруганная, с коричневыми волосами, с вечным клокотанием мокроты в груди, о встрече с каковой дамой предупреждал быстро бегущий по коридору лепет бубенчиков на ее курносом морсе с выдвинутой нижней челюстью, с яростно и бессмысленно вылупленными глазами... Иван Иваныч вежливо со всеми встречными раскланивался и ничуть не претендовал на то, что ему едва кивали в ответ. Он проходил одно колено, заворачивал в другое, еще более длинное и черное, где еще дальше краснела и блистала впереди стенная лампочка, совал ключ в свою дверь — и уединялся за нею до следующего утра.

Чем он у себя занимался, как коротал свой досуг? А бог его знает. Домашняя его жизнь,

ничем внешним не проявляемая, никому не нужная, была тоже никому не ведома — даже горничной и коридорному, нарушавшим его затворничество только подачей самовара, уборкой постели и гнусного умывальника, из которого струя воды била всегда неожиданно и не на лицо, не на руки, а очень высоко и в сторону, вкось. С редкой, повторяю, незаметностью, с редким однообразием существовал Иван Иванович. Проходила зима, наступала весна. Неслись, грохотали, звенели конки по Арбату, непрерывно спешили куда-то, навстречу друг другу, люди, трещали извозчицы пролетки, кричали разносчики с лотками на головах, к вечеру в далеком пролете улицы сияло золотисто-светлое небо заката, музыкально разливался над всеми шумами и звуками басистый звон с шатровой, древней колокольни: Иван Иванович как будто даже и не видел, не слышал ничего этого. Ни зима, ни весна, ни лето, ни осень не оказывали ни малейшего видимого влияния ни на него, ни на образ его жизни. Но вот, однажды весной, приехал откуда-то, взял номер в «Северном Полюсе» и стал ближайшим соседом Иван

Иваныча какой-то князь. И произошло с Иван Иванычем нечто совершенно нежданное, негаданное.

Чем мог поразить его князь? Конечно, не титулом, — была же старейшая сожительница Иван Иваныча, маленькая дама с мопсом, тоже особой титулованной, и, однако, не чувствовал он к ней ровно ничего. Чем мог пленить? Конечно, не богатством и не внешностью — князь был очень прожившийся человек, а на вид очень запущенный, нескладно огромный, с мешками под глазами, с шумной, тяжелой одышкой. И все-таки был Иван Иваныч и поражен и пленен, а главное, совсем вон выбит из своей долголетней колеи. Он превратил свое существование в какое-то непрестанное волнение. Он поверг себя в тревожное, мелкое и постыдное обезьянство.

Князь приехал, поселился, стал уходить и приходить, с кем-то видаться, о чем-то хлопотать, — совершенно так же, разумеется, как делали это все, которые останавливались в «Сонорном Полюсе», которых перебивало на памяти Иван Иваныча великое множество и навязываться на знакомство с которыми Ива-

ну Иванычу и в голову не приходило. Но князя он почему-то из всех отличил. Перед князем он, при второй же или третьей встрече в коридоре, почему-то расшаркался, представился и со всяческими любезнейшими извинениями попросил сказать как можно точнее, который час. А завязав таким ловким образом знакомство, просто влюбился в князя, привел в полное расстройство весь свой обычный жизненный уклад и рабски стал подражать князю чуть не на каждом шагу.

Князь, например, ложился спать поздно. Он возвращался домой часа в два ночи (и всегда на извозчике). Стала и у Ивана Иваныча гореть до двух часов лампа. Он зачем-то ждал возвращения князя, его грузных шагов по коридору, его свистящей одышки. Он ждал с радостью, чуть не с трепетом и порою даже высывался из своего номерка, чтобы видеть подходящего князя, поговорить с ним. Князь шел не спеша, как бы не видя его, и всегда спрашивал одно и то же, глубоко безразличным тоном:

— А, а вы еще не спите?

И Иван Иваныч, замирая от восторга, хотя,

впрочем, без всякой робости и без всякого подобострастия, отвечал:

— Нет, князь, не сплю еще. Время детское, всего десять минут третьего... Гуляли, развлекались?

— Да, — говорил князь, сопя и не попадая ключом в дверную скважину, — встретил старого знакомого, зашли, посидели в трактире... Покойной ночи...

Тем все дело и кончалось, так холодно, хотя и вежливо, обрывал князь свою ночную беседу с Иван Иванычем, но с Иван Иваныча и этого было достаточно. На цыпочках возвращался он к себе, привычно делал все то, что полагается перед сном, немножко крестился и кивал в угол, неслышно укладывался в постель за перегородкой и тотчас же засыпал, совершенно счастливый и совершенно бескорыстный в дальнейших намерениях своих насчет князя, если не считать невиннейшего вранья коридорному утром:

— А я вчера опять засиделся... Опять заговорились с князем до третьих петухов...

Князь с вечера выставлял за дверь свои большие растоптанные башмаки и вывешивал

вал широчайшие серебристые панталоны. Стал и Иван Иванович выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двенадесятые праздники, и вывешивать брючки с оборванными пуговицами, которые прежде не вывешивались никогда, даже под Рождество, под Пасху.

Князь просыпался рано, страшно кашлял, с жадностью выкуривал толстую папиросу, кричал, отворив дверь в коридор, па весь дом: «Коридорный! Чаю!» — и, шлепая туфлями, в халате, надолго уходил за нуждой. Стал и Иван Иванович делать то же, — кричал в коридор о самоваре и, в калошах на босу ногу, в летнем пальтишке на заношенном белье, бежал и себе за нуждой, хотя прежде бегал он туда всегда вечером.

Князь однажды сказал, что он очень любит цирк и часто бывает в нем. Решил сходить в цирк и Иван Иванович, никогда цирка не любивший, бывший в цирке не менее сорока лет тому назад, и однажды сходил-таки и с восхищением рассказал ночью князю, какое он получил огромное наслаждение...

Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в

том, что происходил весь этот вздор весной.

Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен — для меня по моей молодости и потому, что кончались мои студенческие годы, а для многих прочих просто по причине весны, на редкость чудесной. Каждая весна праздник, а та весна была особенно празднична.

Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе и спешили убирать квартиры, заказывать летние костюмы, делать покупки, — а ведь покупать (даже нафталин) весело! — готовились, одним словом, к отъезду из Москвы, к отдыху на дачах, на Кавказе, в Крыму, за границей, вообще к лету, которое, как всегда кажется, непременно

но должно быть счастливым и долгим, долгим.

Сколько прекрасных, радующих душу чемоданов и новеньких, скрипящих корзин было куплено тогда в Леонтьевском переулке и у Мюра-Мерилиза! Сколько народу стриглось, брилось у Базиля и Теодора! И один за другим шли солнечные, возбуждающие дни, дни с новыми запахами, с новой чистотой улиц, с новым блеском церковных маковок на ярком небо, с: новым Страстным, с повой Потров-кой, с новыми светлыми нарядами на щеголихах и красаниц.1х, пролетавших на легких лихачах по Кузнецкому, с новой светло-серой шляпой знаменитого актера, тоже быстро пролетавшего куда-то на «дутых». Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, — был он и у меня, у меня даже особенно, гораздо больше других, как казалось мне тогда. И все близился и близился срок моей разлуки с «Северным Полюсом», со всем тем, чем жил я в нем по-студенчески, и с утра до вечера был я в хлопотах, в разъез-

дах по Москве, во всяческих радостных заботах. А что же делал мой сосед по номерам, скромнейший современник наш? Да приблизительно то же, что и мы. С ним случилось в конце концов то же самое, что и со всеми нами.

Шли апрельские и майские дни, неслись, звенели конки, непрерывно спешили люди, трещали извозчичьи пролетки, нежно и грустно (хотя дело шло лишь о спарже) кричали разносчики с лотками на головах, сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова, стояли кадки с лаврами у подъезда «Праги», где хорошие господа уже кушали молодой картофель в сметане, день незаметно клонился к вечеру, и вот уже сияло золотисто-светлое предзакатное небо на западе и музыкально разливался над счастливой, людной улицей басистый звон с шатровой колокольни... День за днем жил весенний город своей огромной, разнообразной жизнью, и я был одним из самых счастливых участников ее, жил всеми ее запахами, звуками, всей ее суетой, встречами, делами, покупками, брал извозчиков, входил с приятелями в кафе Трамбле, за-

казывал в «Праге» ботвинью, закусывал рюмку холодной водки свежим огурчиком... А Иван Иваныч? А Иван Иваныч тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал, делал что-то свое, маленькое, чрезвычайно маленькое, приобретая за это право на дальнейшее существование среди нас, то есть на обед за тридцать копеек в кухмистерской напротив «Северного Полюса» и на номер в «Северном Полюсе». Он только это скромное право зарабатывал себе где-то и чем-то и, казалось, был совершенно чужд всем нашим надеждам на какую-то новую жизнь, на новый костюм, новую шляпу, новую стрижку, на то, чтобы с кем-то в чем-то сравняться, завести знакомство, дружбу... Но вот приехал князь.

Чем мог он очаровать, поразить Ивана Иваныча? Но ведь не важен предмет очарования, важна жажда быть очарованным. Был, кроме того, князь человеком с остатками широких замашек, человеком глубоко прожившимся, но, значит, и пожившим в свое время как следует. Ну вот и возмечтал бедный Иван Иваныч зажить и себе по-новому, по-весеннему, с некоторыми замашками и даже развле-

чениями. Что ж, разве это плохо — не заваливаться спать в десять часов, вывешивать для чистки штаны, ходить за нуждой до умывания? Разве это не молодит — зайти постричься, подровнять, укоротить бороду, купить молодящую серенькую шляпу и воротиться домой с какой-нибудь покупочкой, хоть с четвертью фунта каких-нибудь пустяков, красиво перевязанных руками хорошенькой приказчицы? И Иван Иваныч, постепенно и все больше входя в искушение, все это по-своему и проделал, то есть исполнил в меру своих сил и возможностей почти все, что исполняли и прочие: и знакомство завел, и обезьянничать стал, — право, не больше других! — и весенних надежд набрался, и некоторую долю весеннего беспутства внес в свою жизнь, и к замашкам приобщился, и бороду подстриг, и с какими-то сверточками в руках стал возвращаться в «Северный Полюс» в предвечерний час, и даже больше того: купил и себе серенькую шляпу и нечто дорожное, — чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях, — возмечтав непременно съездить летом к Троице или в

Новый Иерусалим...

Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Ивана Иваныча к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно, но, повторяю, ничего определенного сказать не могу. А не могу потому, что вскоре мы все, то есть князь, Иван Иваныч и я, в один прекрасный день расстались, и расстались не на лето, не на год, не на два, а навеки. Да, не больше не меньше, как навеки, то есть чтобы уж никогда, ни в какие времена до скончания мира не встретиться, каковая мысль мне сейчас, невзирая на всю ее видимую странность, просто ужасна: подумать только, — никогда! В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были бы питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и

боли, когда судьба разлучает нас, всякий рапимея полную возможность превратить всякую нашу разлуку, даже десятиминутную, в вечную.

Но, как известно, мы, в общем, весьма далеки от подобных чувств и часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно. Так, конечно, расстались и мы, — князь, Иван Иванович и я. Привели однажды перед вечером князю извозчика на Смоленский вокзал, — плохонького, за шесть гривен, — а мне, на Курский, за полтора целковых, на серой резвой кобыле, — и мы расстались, даже и не попрощавшись друг с другом. И остался Иван Иванович в своем мрачном коридоре, в своей клетке с тусклым стеклом над дверью, и разъехались мы с князем в совершенно разные стороны, расставив во все руки чаевые и севши каждый на свою пролетку, — князь, кажется, довольно равнодушный, а я бодрый, во всем новеньком, смутно ждущий какой-то чудесной встречи в вагоне, в пути... И помню, как сейчас: ехал я к Кремлю, а Кремль был озарен вечерним солнцем, ехал через Кремль, мимо соборов, — ах, как хоро-

ши они были, боже мой! — потом по пахучей от всякой москательи Ильинке, где уже была вечерняя тень, потом по Покровке, уже осеняемой звоном и гулом колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день, — ехал и не просто радовался и самому себе, и всему миру, а истинно тонул в радости существования, как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, позабыв и «Северный Полюс», и князя, и Иван Иваныча, и был бы, вероятно, очень удивлен, если бы мне сказали тогда, что навсегда сохранятся и они в том сладком и горьком сне прошлого, которым до могилы будет жить моя душа, и что будет некий день, когда буду я тщетно взывать и к ним:

— Милый князь, милый Иван Иваныч, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?

Амбуаз. 1922

Неизвестный друг

7 октября

На этой *carte-illustrée*[2] с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега — моя вторая родина, это Ирландия, — видите, из какого далека шлет Вам привет один из Ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит Вас бог.

8 октября

Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба.

Вчера под ужасным дождем, — у нас вечный дождь, — ездила по делам в город, случайно купила Вашу книгу и читала ее не отрываясь на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно яркие, пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки, а я читала и, неизвестно почему,

чувствовала себя почти мучительно счастливой. Прощайте, еще раз благодарю Вас. Хочется еще что-то сказать Вам, но что? Не знаю, не умею определить.

10 октября

Не могу удержаться и опять пишу Вам. Думаю, что Вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите Вы. Так зачем же мне молчать? Вы первый вступили в общении со мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу...

И нынче целый день сыплется дождь на наш неестественно зеленый сад, и в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать Вам многое, но ведь Вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно — высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного, чем я обязана Вам, — объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Воз-

бужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувственно, — музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха? Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные Вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть? Вот я что-нибудь читаю, — иногда даже что-нибудь ужасное, — и вдруг говорю: боже, как это прекрасно! Что это значит? Может быть, это значит: как все-таки прекрасна жизнь!

До свиданья, скоро еще напишу Вам. Думаю, что в этом нет никакой не деликатности, что это принято — писать писателям. Кроме того, Вы ведь можете и не читать моих писем... хотя, конечно, мне это будет очень грустно.

Ночью

Простите, это может прозвучать дурно, но не могу не сказать: я не молода, у меня дочь пятнадцати лет, совсем уже барышня, но я

была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась с тех... Мне все-таки не хочется, чтобы Вы представляли себе меня не такой, какая я есть.

11 октября

Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий как печальная, но возвышенная музыка. За чем это нужно — разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна. Ведь и Вы пишете только в силу этой потребности и даже более — Вы отдаете ей всего себя всецело.

Я всегда много читала, — и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди, — много читаю и теперь, читала и Вас, но мало, больше знала Вас лишь по имени. И вот эта Ваша новая книга... Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим наме-

ком, — что может выразить слово, даже такое, как Ваше! — и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли и чувства становятся моими, нашими общими. Поистине только одна, единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать Вам, что-то высказать, что-то разделить с Вами, на что-то пожаловаться? Разве Ваши произведения не то же самое, что мои письма к Вам? Ведь и Вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то в пространство. Ведь и Вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии, наиболее неразлучна с человеком: сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях!

Может быть, Вы ответите мне, хотя двумя словами? Ответьте!

13 октября

Опять пишу Вам ночью, уже в спальне, мучимая непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А

хочется мне сказать, в сущности, очень немного: только то, что мне очень грустно, очень жаль себя — и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустней, что Вы, которого я выдумала и от которого уже чего-то жду, так бесконечно далеко от меня и так мне неведомы и, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне и так правы в этом...

В сущности, все в мире прелестно, даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет, и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль: к чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь...

Очень прошу — напишите мне. Конечно,

два-три слова, только для того, чтобы я знала, что Вы слышите меня. Простите мою настойчивость.

15 октября

Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега моя первая *carte-postale*[3] к Вам, — дальше, севернее. Но и город, собор — все утрумо, черно у нас. Гранит, шифер, асфальт и дождь, дождь...

Да, напишите мне кратко, я очень хорошо понимаю, что Вам нечего сказать мне, кроме двух-трех слов, и, поверьте, ничуть не буду в обиде. Но напишите, напишите!

21 октября

Увы, письма от Вас нет. А прошло уже пятнадцать дней с тех пор, как я написала Вам в первый раз...

Но, может быть, Ваш издатель еще не переслал Вам моих писем? Может быть, Вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь? Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что Вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скаже-

те, что я имею никакого права на Ваше внимание и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже есть у меня, раз я испытала известные чувства к Вам? Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне? Это не простое хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее и больше. Раз и что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое, во мне... Впрочем, не умею объяснить Вам этого как следует, знаю только, что так казалось и кажется людям всегда...

Впрочем, как бы там ни было, а ответа от Вас нет, а я опять пишу. Неожиданно выдумала, что Вы мне чем-то близки, — хотя опять-таки выдумала ли? — и сама поверила своей выдумке и упорно стала писать Вам и уже знаю, что чем больше буду писать Вам, тем все необходимее будет для меня делить это, потому что все более будет усиливаться ка-

кая-то связь между мною и Вами. Я Вас не представляю себе, совсем не вижу даже Вашего физического облика. Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я — Вы.

22 октября

Нынче дивный день, на душе у меня легко, окна открыты, и солнце и теплый воздух напоминают о весне. Станный этот край! Летом дождливо и холодно, осенью, зимой дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это или итальянская весна? О, Италия, Италия и мои восемнадцать лет, мои надежды, моя радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия! Простите, знаю, что все это слишком не ново, но что мне до того?

Ночью

Может быть, Вы оттого не писали мне, что я для Вас слишком отвлеченна? Тогда вот еще несколько черт моей жизни. Я уже шестнадцать лет замужем. Мой муж француз, я по-

знакомилась с ним однажды зимой на французской Ривьере, венчалась в Риме, а после свадебного путешествия по Италии навсегда поселилась здесь. У меня трое детей, мальчик и две девочки. Люблю ли я их? Да, но все же не так, как чаще всего любят матери, видящие жизнь только в семье, в детях. Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются, и у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать па вечерах и обедах. Но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю...

Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой Вы? Где постоянно живете? Любите ли Вы Шекспира или Шелли, Гете или Данте, Бальзака или

Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли Вы? Связаны ли Вы уже наскучившей связью или у Вас есть невеста в той нежной и прекрасной поре, когда все ново и радостно, когда еще нет воспоминаний, которые только томят, обманывают, будто было счастье, непонятное и неиспользованное?

1 ноября

Письма от Вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклинаяю день и час, когда решилась написать Вам...

И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что мне нечего ждать, я все-таки жду: кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что Вы не напишете! Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет, нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, я жду!

3 ноября

Письма нет, и мои мучения продолжают-ся... Впрочем, тяжелы только утренние часы, когда я с неестественным спокойствием и медлительность, но с холодными от скрыто-

го волнения руками одеваюсь, выхожу к кофе, прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его так трогательно прилежно и сидит за пианино так прямо, так прелестно прямо, как умеют это только девочки по пятнадцатому году. В полдень приходит наконец почта, я бросаюсь к ней, ничего не нахожу — и почти успокаиваюсь до следующего утра...

А нынче опять прелестный день. Низкое солнце ясно и кротко. В саду много голых, черных деревьев, цветут осенние цветы. И что-то тонкое, голубое, необыкновенно прекрасное в долинах, за ветвями сада. И в сердце благодарность кому-то и за что-то. За что? Ведь ничего нет и не будет... хотя так ли это, точно ли ничего нет, раз она есть, эта умиляющая душу благодарность?

Благодарю и Вас за то, что Вы дали мне возможность выдумать Вас. Вы меня никогда не узнаете, никогда не встретите, но и в этом много печальной прелести. И, быть может, хорошо, что Вы не пишете, что Вы не написали мне ни слова и что я совсем не вижу Вас живым. Разве я могла бы говорить с Вами и

чувствовать Вас так, как сейчас, если бы я Вас знала, даже если бы имела хоть одно письмо от Вас? Вы непременно были бы уже не такой, непременно чуть-чуть хуже, и мне было бы менее свободно писать Вам...

Свежеет, а я все не закрываю окна и все смотрю в голубую дымку низменностей и холмов за садом. И это голубое мучительно прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с ним. Что сделать? Я не знаю. Мы ничего не знаем!

5 ноября

Это похоже на дневник, по это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый...

Что побуждает писать Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хотя бы иносказательно) себя? Конечно, второе. Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души... Ах, если бы оставить после себя

хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что и у меня была молодость, весна, Италия... что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь... что есть в этом океане дикие и бедные острова и дикая, бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто...

Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни.

7 ноября

Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе: потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту, у меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты, пустоты!

И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо, то есть обычно, так, как надо. Это ме-

ня успокаивает.

До свидания, да простит Вам бог Вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко.

8 ноября

Три часа, а уже совсем сумерки от тумана и дождя. А в пять у нас чай с гостями.

Приедут под дождем, в автомобилях, из мрачного города, который в дождь еще чернее со своим черным мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острие которого уносится в дождь и мглу...

Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить, все то, что полагается, буду любезна, оживленна, заботлива и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И, одетая, я как будто помолодела, чувствую себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. К кому? В силу чего?

Прощайте, я уже ничего не жду — говорю это совершенно искренне.

10 ноября

Прощайте, мой верный друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала, — благодарностью. Благодарю Вас, что Вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы Вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с Вами, без чувства неловкости, прервать переписку? И что бы я нашла сказать Вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет, — я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки. О, да. Только две-три строки.

Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, — опять остаюсь одна, со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, равно как и Ваших писаний, знает только бог.

Несколько дней тому назад видела Вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я Вас видела. Я и во сне чувствовала: как можно видеть во сне того,

кого никогда не видел в жизни? Ведь только бог творит из ничего? И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством.

Через пятнадцать, двадцать лет не будет, вероятно, ни меня, ни Вас в этом мире. До встречи в ином! Кто может быть уверен, что его пет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, созданий своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к Вашей?

Прощайте. Или нет, все-таки до свидания.

Приморские Альпы. 1923

В ночном море

Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией.

На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи; с криком, с дракой осаждала пассажирский трап и, как на приступ, с непонятной, бешеной поспешностью, лезла вверх со своими пожитками восточная чернь; электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытаращенные глаза, пробивавшиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки; стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной; там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись, там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа, — они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом. А дельфино-подобную тушу парохода упруго, точно на резине, валило то

в одну, то в другую сторону... Наконец стало стихать.

Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет и сак лакею и, узнав, что мест в каютах нет, пошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и, когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Пароход поднимало и опускало, медленно сносило, поворачивало течением. Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнувший морем. Ночь, полетному простая и мирная, с чистим небом в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны и потому, что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок, слышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь... Потом корма задрожала, зашумела винтами и

водой. Низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало...

Можно было подумать, что оба пассажира спят, так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали, они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И наконец первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил:

— Вы тоже в Крым?

И второй, с прямыми плечами, не спеша ответил ему тем же топом:

— Да, в Крым и дальше. Побуду в Алушке, потом в Гагры.

— Я вас сразу узнал, — сказал первый.

— И я вас узнал и тоже сразу, — ответил второй.

— Очень странная и неожиданная встреча.

— Как нельзя более.

— Собственно, я не то, что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться, так что и узнавать было не нужно.

— Совершенно то же самое испытал и я.

— Да? Очень странно. Как тут не сказать,

что в жизни все-таки бывают минуты — ну, необыкновенные, что ли? Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется.

— Может быть. Но ведь может быть и другое: то, что мы с вами просто вообразили эту минуту эти чувства нашего якобы предвидения.

— Может быть. Да, весьма возможно. Даже скорее всего, что так.

— Ну вот видите. Мы умствуем, а жизнь, может быть, очень проста. Просто похожа на ту свалку, которая была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давя друг друга?

И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили.

— Сколько мы с вами не видались? Двадцать три года? — спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом.

— Да, почти так, — ответил второй. — Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века.

— Большой срок. Целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже

кончены.

— Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?

— Гм! Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно, то есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита и через каких-нибудь десять лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте: в могиле. Не шуточная вещь.

— Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире?

— Кто ж этого не знает! Конечно, знаю. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно?

— Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель, — сказал второй.

— Да, да, две знаменитости. Ну, так что вы хотели сказать?

— А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весть какой мудрости, но все-таки довольно основа-

тельным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не десять лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее — год. У меня достоверно установленная и мною самим и сотоварищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти как ни в чем не бывало. Только саркастически усмехаюсь: хотел, извольте ли видеть, всех перецеголять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить, и на свою голову добился — великолепно узнал свою собственную смерть. То бы меня дурачили, обманывали, — что вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми! — а тут как обманешь, как соврешь? Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересаливают в откровенности, смешанной с умилением и льстивостью: «Что ж, уважаемый коллега, не нам с вами хитрить... *Finita la comedia!*»[4]

— Вы это серьезно? — спросил первый.

— Совершенно серьезно, — ответил второй. — И ведь главное что? Какой-то там Кай смертен, ergo[5] умру и я, да ведь когда-то еще это будет! Но тут, к сожалению, дело совсем

иное: не когда-то, а через год. А много ли времени год? Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? Да то, что я почти ровно ничего не чувствую при мысли об этом и, что хуже всего, вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят во мне студенты, когда я расписываю им свою болезнь и ее течение как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, тающие мою роковую тайну. И вот вы, например, — разве вам страшно за меня?

— Страшно ли за вас? Нет, сознаюсь, — в сущности,нисколько.

— И, конечно, ничуть не жаль меня?

— Нет, и не жаль. И притом вы, я думаю,нисколько не верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские яблочки?

— Ну, какая там у нас с вами вера...

И опять оба помолчали. Потом вынули

портсигары, закурили.

— И ведь заметьте, — сказал первый, тот, что лежал под пледом, — мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг с другом, ни перед воображаемым слушателем. Говорим мы, право же, очень просто и без всякого предумышленного цинизма, без всякого едкого хвастовства, в котором все-таки есть всегда некая компенсация: вот, мол, извольте взглянуть, в каком мы положении — ни у кого такого нет. Мы и беседуем просто и умолкаем без всякой значительности, без всякой стоической мудрости. Говоря вообще, более сладострастного животного, чем человек, нет на земле, хитрая человеческая душа изо всего умеет извлекать самоуслаждение. Но в нашем с вами случае я даже и этого не вижу. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему, как вы выражаетесь, идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны.

— Еще бы! — ответил второй. — Какой

ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.

— Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену и который по целым дням и ночам, почти непрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, — вернее, половой умиленности, — к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унижительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно ужасно. А ведь я к тому же не совсем обычный человек, особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я переживал в течение целых годов.

— Неужели годов?

— Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о

вашей с ней близости, обжигала меня точно каленым железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту — это еще туда-сюда. Но любовницу или, как в нашем случае, жену! Ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души которой знаешь как свои пять пальцев! Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился, из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы! Царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидав Ясодхару, у которой «был стан богини и глаза лани весной», натворил, возбужденный ею, черт знает чего в состязании с прочими юношами, — выстрелил, например, из лука так, что было слышно на семь тысяч миль, — а потом снял с себя жемчужное ожерелье, об-

вил им Ясодхару и сказал: «Потому я избрал ее, что играли мы с ней в лесах в давнопрошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов: вспомнила ее душа моя!» На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой: вспомнила ее душа моя!» — Вы простите меня за всю эту поэзию, но в ней огромная и страшная правда. Вы только вдумайтесь в смысл этих поразительных слов насчет вспомнившей души и в то, какой это ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Кто знает — я, может быть, тоже выстрелил бы так, что было бы слышно за тысячи миль. И вот, вдруг явились вы...

— Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? — спросил господин с прямыми плечами. — Злобу, отвращение, жажду мести?

— Представьте себе: ровно ничего. Несмотря на всю вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и «вспомнила душа моя»! Да ведь вы это хорошо знаете и са-

ми, то есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили.

— Вы правы. Знаю. И это тоже очень страшно.

— А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас: совсем не страшно.

— Да, в сущности, ничуть. Говорят: прошлое, прошлое! А все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только, слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то...

И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел; мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, пронесившейся вдоль борта; быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бечева лага, что-то порою отмечавшего тонким и таинственным звоном: дзиннь... Потом пассажир с прямыми плечами спросил:

— Ну, а скажите... Что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?

— Да, почти ничего, — ответил пассажир под пледом. — Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету — слегка ударило в глаза: волею божи-

ею, такая-то... С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме, на этом роковом месте газеты, напечатанное торжественно, крупным шрифтом... Затем постарался загрузить: да, мол, и это та самая, которая... Но —

*Из равнодушных уст я слышал
смерти весть,
И равнодушно я внимал ей...*

Даже и грусти не вышло. Так только, слабая жалость какая-то... А ведь это та самая, которую «вспомнила душа моя», была моя первая и такая жестокая, многолетняя любовь. Я узнал ее в пору ее наивысшей прелести, невинности и той почти отроческой доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно, потому, может быть, что во всякой женственности должна быть эта дочерчивая беспомощность, что-то детское, знак того, что девушка, женщина всегда таит в себе будущее дитя. И ведь это мне первому, в каком-то божественном блаженстве и ужасе, отдала она истинно все, что даровал ей бог, и ведь это ее девичье тело, то есть самое

прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, целые годы. Из-за нее плакал, рвал на себе волосы, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей, в ярости уничтожал свои лучшие, ценнейшие, может быть, работы... Но вот прошло двадцать лет — и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу... Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, — теперь, конечно, — разве вы что-нибудь чувствуете?

— Я? Да нет, что ж скрывать? Конечно, почти ничего... Пароход шел; с шипением возникала впереди волна за волной, с плеском проносилась мимо, по бортам, однообразно шумела и кипела бледно-снежная дорога, тянувшаяся за кормой. Дул сладкий ветер, звездный узор неподвижно стоял в вышине, над черной трубой, над снастями, над тонким острием передней мачты...

— Но знаете что? — внезапно сказал первый, как бы очнувшись. — Знаете, что глав-

ное? Это то, что я никак не мог связать ее, умершую, с той, другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак. Совершенно никак. Та, другая, была совсем особо. И сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той, другой, — ложь. Так что я неточно говорил. Со всем не то и не так.

Второй подумал.

— Ну и что же? — спросил он.

— А то, что почти весь наш разговор идет насмарку.

— Ох, насмарку ли? — сказал пассажир с прямыми плечами. — Та, другая, как им выражаетесь, есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько.

— Вы думаете? — Не знаю. Может быть... Да, может быть...

— Да и долго ли вы волновались и самим-то собой? Десять минут. Ну, полчаса. Ну, день, наконец.

— Да, да. Ужасно, но, кажется, вы правы. И где она теперь? Вот там, в этом прелестном небе?

— Один аллах ведает, друг мой. Скорее всего, что было.

— Вы думаете? Да, да... Скорее всего, что так...

Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И, затерянный в этой круглой чернеющей равнине, маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно кипящая, бледно-млечная дорога — туда, вдаль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт, в силу противоположности с этой млечностью, казался темным, печальным. И крутилась, крутилась бечева лага, и печально и таинственно что-то отмечал, отсекал порою тонкий звон: дзи-инь...

Помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу.

— Покойной ночи.

— Покойной ночи.

Приморские Альпы. 1923

В некотором царстве

Бумажная лента медленно течет с аппарата возле мерзлого окна стационарной комнаты — и буква за буквой читает Ивлев полные чудесного смысла слова:

— Иван Сергеевич женится на Святках на племяннице лошади высланы...

Телеграфист, через плечо которого он читает, странно кричит, что это служебная тайна, что это псковская повесть Пушкина, но Ивлев видит себя уже в дороге в глухой России, глубокой зимой.

Он видит, что вечереет, что к вечеру морозит, говорит себе, что такой снежной зимы никто не запомнит со времен Бориса Годунова. И Годунов дает этому зимнему русскому вечеру, снежным полям и лесам что-то дикое и сумрачное, угрожающее. Но в санях, среди прочих московских покупок к свадьбе и к празднику, лежат удивительные шведские лыжи, купленные племянницей в Москве. И это радует, обещает что-то такое, от чего замирает сердце. И тройка идет уверенно и шибко.

Сани коворовые, богатые. Кучер, в шапке под бобер, в свите, подпоясанной ремнем с серебряным набором, стоит в козлах. В задке же сидят две неподвижные и толстые от шуб и шалей женщины: крепкая старуха и ее черноглазая, румяная племянница. Обе, как все в санях, засыпаны снежной пылью. Обе пристально смотрят вперед, на спину кучера, на скачущие крупы пристяжных, на мелькающие в комьях снега подковы.

Вот выбрались на шоссе, пристяжные бегут легче, не натягивая постромок. И вдали уже видно жилье, деревня, стоят сосновые угрюмые леса, густые, обмороженные.

Неожиданно старуха говорит громким и твердым голосом:

— Ну, вот, слава богу, и дома. Не чаяла из вашей Москвы выбраться. А тут сразу двадцать лет с плеч долой, не нагляжусь, не нарадуюсь. Завтра же дам знать Ивану Сергеичу, не хочется больше тянуть с вашей свадьбой. Слышишь?

— Воля ваша, тетя, я на все согласна, — звонко отвечает племянница с притворным веселым простодушием.

А тройка шибко идет уже через деревню, над избами и сугробами которой темнеют сосны, посеревшие с морозу. А за деревней, совсем в лесу, видна усадьба: большой снежный двор, большой и низкий деревянный дом. Сумерки, глухо, огней еще не зажигали. И кучер, сдерживая лошадей, широким полукругом подкатывает к крыльцу.

С трудом, белые от снежной пыли, вылезают из саней, поднимаются на ступеньки, входят в просторную и теплую прихожую, уютно устланную попонами, почти совсем темную. Выбегает из задних горниц суетливая старушонка в шерстяных чулках, кланяется, радуется, помогает раздеваться. Раскутывают шали, освобождаются от пахучих снежных шуб. Племянница раздевается чем дальше, тем все живей и веселей, неожиданно оказывается тонкой, гибкой, ловко присаживается на старинный ларь возле окна и быстро снимает городские серые ботинки, показывая ногу до колена, до кружева панталон, и выжидательно глядя черными глазами на тетку, раздевающуюся сильными движениями, но медленно, с тяжелым дыханием.

И вдруг происходит то самое, страшное приближение чего уже давно предчувствовалось: тетка роняет поднятые руки, слабо и сладко вскрикивает — и опускается, опускается на пол. Старушонка подхватывает ее подмышки, по не осиливает тяжести и дико кричит:

— Барышня!

А в окно виден снежный двор, за ним, среди леса, блестящее снежное поле: из-за поля глядит, светит низкий лысый месяц. И нет уже ни старушонки, ни тетки, есть только эта картина в окне и темная прихожая, есть только радостный ужас этой темноты и отсутствие уже всяких преград между Ивлевым и той, что будто бы должна была быть невестой какого-то Ивана Сергеевича, — есть один дивный блеск черных глаз, вдруг вплотную приблизившихся к нему, есть быстрая жуткая мысль, как снимала она на ларе ботик, и тотчас же вслед за этим то самое блаженство, от которого слабо и сладко вскрикнула тетка, опускаясь в предсмертной истоме на пол...

Весь следующий день Ивлев полон неотступным чувством влюбленности. Тайна того,

что произошло в какой-то старинной деревенской усадьбе, стоит за всем, что он делает, думает, говорит, читает. И влюбленность эта во сто крат острее даже всего того, что он когда-либо испытывал в пору самой ранней молодости. И в глубине души он твердо знает, что никакой разум никогда не убедит его, будто нет и не было в мире этой черноглазой племянницы и будто так и не узнает она, каким мучительным и счастливым воспоминанием, — их общим воспоминанием, — одержим он весь день.

Приморские Альпы. 12 июля 1923

Огонь пожирающий

Эта была высокая красивая женщина с ясным и живым умом, с бодрым, деятельным характером, молодая, здоровая, всячески счастливая, всячески одаренная судьбой. Как памятливы мне ее блестящие ореховые волосы, ее открытый и приветливый взгляд, чистый звук голоса, благородство рук и ног, казавшихся особенно пленительными при ее крупном сложении, и даже ее любимая накидка из гранатового бархата, отороченная соболем! С каким удовольствием входил я всегда во двор ее старинного особняка в Сен-Жерменском предместье! И вот как-то за чаем, на который она приглашала нас каждую среду, среди оживленного и беспредметного разговора, кто-то почему-то вспомнил старика В., известного собирателя фарфора, старомодного богача и едкого причудника, умершего в прошлом году и завещавшего себя сжечь, пожелавшего, как он выразился, «быть тотчас же после смерти ввергнутым в печь огненную, в огонь пожирающий, без всякой, впрочем, претензии на роль Феникса». Народу в

гостиной было довольно много, и почти все при этом воспоминании возмутились. Неприятный был человек, неприятное остроумие! Дамы зябко содрогнулись в своих мехах, мужчины с усмешкой покачали головами. Хозяин сказал:

— Да, это очень чисто и скоро, эта печь огненная, но все-таки не желал бы я попасть в нее. Уж очень жарко. Мне даже и участь Феникса не кажется завидной.

Все засмеялись, кто-то прибавил:

— Так же, как мне участь тех трех отроков, что в печи огненной пели хвалы господу!

А еще кто-то подхватил:

— Тем более, что вы уже далеко не в отроческом возрасте...

И вдруг хозяйка, возвысив голос, произнесла с неожиданной отчетливостью:

— А я как нельзя более понимаю В., хотя тоже не одобряю острот в его завещании, и пользуюсь случаем заявить при всех здесь присутствующих свою непреклонную по-смертную волю, которая, как известно, священна и неспорима: после моей смерти я тоже должна быть сожжена. Да, сожжена.

И настойчиво повторила, отстраняя попытки перевести разговор опять на шутки:

— Нет, я еще раз и совершенно серьезно говорю, отлично понимая всю неуместность подобных бесед в гостиной: я этого требую, это должно быть исполнено во что бы то ни стало, невзирая ни на какие могущие быть протесты со стороны моих родных и близких.

— Да что с тобой? — сказал хозяин. — Из всей твоей речи мне понравилось только твое замечание насчет странности такой гостиной беседы. Что с тобой?

— Только то, что я воспользовалась случаем, тем, что заговорили об этом, — ответила она. — Сколько уже раз собиралась я завещать это письменно и все как-то забываю, откладываю. А мало ли что может быть? Представь себе, что я нынче внезапно умру, — что тут невероятного?

А ровно через неделю после того именно это и случилось — она умерла перед самым выездом в театр: уже шла по вестибюлю к выходу и вдруг со странной улыбкой схватилась за руку сопровождавшего ее лакея — и тот едва успел поддержать ее. Я узнал эту совер-

шенно дикую по неожиданности новость от знакомого на улице и почему-то с необыкновенной поспешностью пошел домой, простясь с ним. Мне показалось, что тотчас же надо сделать что-то решительное, чем-то резко проявить себя. Но дома моей изобретательности хватило только на то, чтобы торопливо набить трубку, торопливо закурить, сесть в кресло... Была весна, конец марта. Париж празднично сиял, кипел жизнью. У нас в Пасси цвели и зеленели сады. По потолку надомной топали, бегали дети, кто-то все начинал играть на пианино что-то шутливое, милое. В открытое окно входила весенняя свежесть и глядела верхушка старого черного дерева, широко раскинувшего узор своей мелкой изумрудно-яркой зелени, особенно прелестной в силу противоположности с черной сетью сучьев. Там, за окном, сыпали веселим треском воробьи, поминутно заливалась сладкими трелями какая-то птичка, а наверху топали и играли, и нее это сливалось с непрерывным смутным шумом города, с дальним гулом трамваев, с рожками автомобилей, со всем тем, чем так беззаботно при всей своей озабо-

ченности жил весенний Париж...

А на другой день, в третьем часу, автомобиль мчал меня через весь город уже на кладбище Пер-Лашез: волю покойной не решились нарушить, тело ее должны были сжечь.

Едучи, я думал все то же: какая изумительная случайность! Точно сам злой дух внезапно шепнул ей тогда, что минуты ее сочтены. И нужно же было кому-то ни с того ни с сего вспомнить этого старого циника! И как представить себе, как поверить в то, что через какой-нибудь час ее случайное и ужасное заведение все-таки осуществится и не останется ровно ничего даже от ее тела? И я не представлял, не верил, я смотрел по сторонам, и меня быстро уносило вперед навстречу весеннему ветру и солнцу. Но, смотря, все думал: да, вот весенний ветер, а ее уже нет! Вот солнечный блеск и Сена, а она этого уже не видит и не увидит никогда! Вот я с какой-то кощунственно-веселой быстротой мчусь по ее родному и любимому городу и втайне все-таки наслаждаюсь, а она из этого города и вообще из всего нашего мира уже исчезла! Потом вдруг вспомнил, что там нельзя будет курить,

и поспешно закуривал и опять думал свои путаные думы, странно согласованные с быстрым бегом автомобиля и мельканием праздничного, солнечного, людного Парижа.

И вот этот бег кончился. Предо мной были ворота и стены другого города, поднятого на возвышенность, как бы некая крепость, ярко и мертво глядящая из-за стен целыми полчищами мраморных и железных крестов, мавзолеев, часовен, статуй, ангелов, гениев. Я вышел из машины и вошел в эти роковые ворота. Подъехали мы не с той стороны, с какой было нужно, и мне пришлось пересечь все кладбище из конца в конец, пройти многочисленные проспекты и аллеи, целые бульвары и улицы. Тут мысли мои опять спасительно отвлеклись на некоторое время от ужасной цели моей поездки. Я шел и смотрел: какая музейная чистота в этом городе, какой порядок! И что за день, что за красота! Сколько ослепительной белизны, во всяческих видах сверкающей в небесной сини, среди еще сквозной черноты деревьев, осыпанной изумрудными мушками! Сколько пышных живых цветов на куртинах, у подножия крестов

и бюстов, на мраморных и гранитных плитах и у входа склепов! И каким-то особым родом людей кажутся здесь все встречные, все эти мужчины и женщины, то стоящие у могил с поникшими головами, то просто мирно гуляющие. Все сдержанны, все как-то по-иному, чем в будничной жизни, скромны и просты, как-то иначе раскланиваются с знакомыми... Это город великой печали и великого отчаяния, — подумать только, какие миллионы уже легли здесь и еще лягут! Но удивительно, — какая-то благостная, душу умиротворяющая радость все-таки витает здесь над всем. Радость чего? Весны, неба, первой зелени, мрамора? Вечной молодости мира, вечно воскресающей жизни? Или же и впрямь той жизни небесной, в которую сердце невольно и наивно верит или жаждет верить здесь?

И вдруг я поднял глаза: на широкой площади, внезапно открывшейся передо мной, высилось нечто вроде храма или, вернее, капища с круглым куполом, две высоких заводских трубы, — именно заводских, голых, кирпичных, — поднимались в небо по сторонам этого купола — и из одной черными клубами

валил дым. Уже! Я опоздал, ее уже жгли! Это из той адской подземной печи, куда, верно, уже вдвинули гроб с ее телом, валил этот страшный, молчаливый дым, такой особенный, такой не похожий ни на один дым в мире!

Странно, — меня, кажется, больше всего поразила именно грубая молчаливость, спокойная беспощадность, с которой валил дым. И такое же глубокое молчание царило и внутри этого капища. Как окаменелые, сидели мы в его большой полукруглой зале на длинных деревянных скамьях. Народу было мало — у одних не хватило духу присутствовать при необычном и жутком обряде, другие были возмущены покойной, может быть, и нечаянно, невольно, но все же дерзко поправшей уставы того общества, к которому она принадлежала по своему древнему и благочестивому роду. На передней скамье сидели муж и несколько самых близких родных — мужчины все в черном и с креповыми цилиндрами на коленях, женщины в глубоком трауре. Мы, просто знакомые, несмело поместились на скамье задней. И спины всех сидящих перед

нами были согнуты, как бы подавлены той невыразимой тишиной, к которой длилось наше ожидание ужасных итогов этой ужаснейшей в мире церемонии. Церемония совершалась где-то там, за траурным занавесом, который висел в глубине залы, закрывая нечто вроде театральной сцены. И зачем-то между его сдвинутыми черными полотнищами торчало бутафорское подобие золоченого гроба. А на мраморных колоннах по сторонам этих полотнищ, пучили глаза изваянные совы. Кроме траурного занавеса, гроба и сов, ничто иное не обозначало зловещего назначения этой пустой залы с окнами чуть не во всю стену. Помню, — окна справа были сверху до низу залиты солнечным светом. И мертвая тишина, в которой мы сидели и ждали, казалась от этого света еще более гнетущей.

Сколько времени мы сидели? По крайней мере, час, которому, казалось, конца не будет. И что это такое было то, где сидели мы? Храм, театр? Нечто вроде присутственного места или какого-то верховного судилища, где совершается что-то самое последнее и самое жестокое над человеком? Какая-то особенно

важная научная лаборатория или какой-то адский притон? Мы не знали, что это такое, мы покорно сидели, затаив дыхание, не решаясь шевельнуться. Бога здесь не было, и существование и символы его здесь отрицались. Совы пучили слепые глаза только с бессмысленным удивлением, траур занавеса говорил только о смерти. А я сидел и мысленно видел этот густой черный дым, медленно валивший из трубы в небо над нами, и в небе мне все-таки грезился Некто безмерный, широко простиерший длани и молчаливо приемлющий и обоняющий жертву, приносимую ему. И так прошло двадцать, тридцать, сорок минут... Зачем-то заглядывал во входную дверь какой-то сутулый старик в траурной ливрее, очень серьезно осматривал нас и опять осторожно притворял дверь... Потом дверь снова распахнулась, и быстро, но тихо вошел щеголеватый молодой человек в траурном галстуке бантиком, быстро, но на цыпочках прошел через залу, легонько вбежал по ступенькам к занавесу и, раздвинув его черные полотнища, скрылся за ними... И опять мы сидели и, не шевелясь, ждали, ждали... Где ее жгли? Там,

где-то за занавесом, где-то в глубоком подземе-
лье, где слепила и полыхала с невообразимой
силой и яростью истинно геенна огнен-
ная. Эта геенна, этот огонь пожирающий дол-
жен действовать с быстротой всеокрушаю-
щей. Но почему же все это длится так нестер-
пимо долго? — И вдруг за занавесом послы-
шались громкие, как бы наконец все разре-
шающие шаги, занавес раздвинулся — и мо-
лодой человек, появившийся на сцене, молча
сделал нам широкий пригласительный жест.

Зачем я пошел! А я все-таки пошел. Мгно-
венно все во мне крепко подтянулось, и я
быстро и мужественно встал, прошел между
скамьями, поднялся на сцену и, следуя за дру-
гими, повернул в дверь налево, в какую-то
большую комнату с голыми стенами и без
окон, освещенную откуда-то электричеством.
В глубине ее был какой-то железный куб с
дверцами, теперь широко открытыми. Из
внутренности этого куба, — он был бездон-
ный, — тянулись в комнату две рельсы. И по
этим рельсам два сторожа в траурных мунди-
рах, два приземистых человека из той отпе-
той породы, что определяют себя на мрачное

и низкое существование при моргах и анатомических театрах, тащили железными крюками как бы крышку стола, прямоугольник из асбеста, насквозь розовый, насквозь светящийся, раскаленный до прозрачности. И те прозрачно-розовые, инде горящие ярко-синим огоньком известковые бугры и возвышенности, что были на этом прямоугольнике, это и были скудные останки нашего друга, всего ее божественного тела, еще позавчера жившего всей полнотой и силой жизни. Больше ничего! Чувствуя на лицах и руках палящей зной от этой адской сковороды, мы стояли и тупо глядели. Асбест рдел, змеился лазурными огоньками... Потом стал медленно бледнеть, блекнуть, приобретать светло-песочный цвет... И тогда я среди его неровностей различил то, что осталось от головы, от наиболее крупных костей, от таза... и еще раз весь содрогнулся от грубости и жестокости всего этого дела и, главное, от кощунственного бесстыдства, с которым мне показали что-то такое, чего никому в мире не должно видеть...

А затем все было кончено в пять минут:

быстро соскребли железными лопаточками эти неровности, кое-что похватали щипцами, побросали все собранное в мраморный ящичек, замазали его крышку цементом и, положив на небольшие носилки и прикрыв траурным покрывалом, быстро понесли вон. Мы, с опущенными и обнаженными головами, последовали за носилками, видели, как быстро вдвинули ящичек в нишу в той высокой стене, которая с трех сторон окружает крематорий, как затем эту нишу замуровали, запечатали... Несчастный муж смотрел на всю эту работу с необыкновенной пристальностью. Потом, резко побледнев и приняв театрально-торжественный вид, отступил в сторону для приема того последнего рукопожатия, которое он, по французскому обычаю, должен был принять поочередно ото всех своих другой. И, быстро и молча исполнив этот обычай, мы тотчас же почти разбежались в разные стороны, разлетелись по разным направлениям в вечеряющий, залитый уже зеленовато-золотистым солнцем океан Парижа...

Мой шофер, человек грузный и короткорукый, был пьян, его лицо было густо налито

лиловой кровью. И теперь он мчался уже совсем бешено, и его автомобиль поминутно ревел на бегу с какой-то свирепой наглостью и угрозой.

Приморские Альпы. 1 октября. 1923

Несрочная весна

...**А** еще, друг мой, произошло в моей жизни целое событие: в июне я ездил в деревню в провинцию (к одному из моих знакомых). Я, конечно, еще помню, что когда-то подобные поездки никак не могли считаться событиями. Полагаю, что не считаются они таковыми у вас в Европе и по сию пору. Да мало ли что было у нас когда-то и что в Европе еще есть! Двести, триста верст у нас теперь не шутка. Расстояния в России, опять превратившейся в Московщину, опять стали огромными. Да и не часто путешествуют нынешние московские людишки. Конечно, теперь у нас всяческих вольностей хоть отбавляй. Но не забудь, что все эти вольности, до которых мы и дожить не чаяли, начались еще слишком недавно.

Словом, случилось нечто необычное, мно-

го лет мною не испытанное: в один прекрасный день я взял извозчика и отправился на вокзал. Ты как-то мне тайком писал, что теперешняя Москва представляется тебе даже внешне «нестерпимой». Да, она очень противна. И, едучи на вокзал на извозчике, вроде тех, что бывали прежде только в самых глухих захолустьях и брали за конец не миллиард, а двугривенный, я, возбужденный необычностью своего положения, ролью путешественника, чувствовал это особенно живо. Какое азиатское многолюдство! Сколько торговли с лотков, на всяческих толкучках и «пупках», выражаясь тем подлым языком, который все более входит у нас в моду! Сколько погибших домов! Как ухабисты мостовые и разрослись уцелевшие деревья! На площадях перед вокзалами тоже «пупки», вечная купля и продажа, сброд самой низкой черни, барышников, воров, уличных девок, продавцов всяческой съестной дряни. На вокзалах опять есть и буфеты, и залы разных классов, но все это еще до сих пор сараи, загаженные совершенно безнадежно. И народу всегда — не протолпишься: поезда редки, получить билет из-

за беспорядка и всяческих волокит дело очень трудное, а попасть в вагон, тоже, конечно, захолустный, с рыжими от ржавчины колесами, настоящий подвиг. Многие забираются на вокзал накануне отъезда, с вечера.

Я приехал за два часа до поезда и чуть было не поплатился за свою смелость, чуть было не остался без билета. Однако кое-как (то есть, конечно, за взятку) дело устроилось, я и билет получил, и в вагон попал, и даже уселся на лавке, а не на полу. И вот поезд тронулся, и осталась Москва позади, и пошли давным-давно не виденные мною поля, леса, деревни, где начались опять глубочайшие будни после того разгульного праздничка, которым потешила себя Русь за такую баснословную цену. И вскоре стали заводить глаза, заваливать головы назад и храпеть с открытым ртом почти все, набившиеся в вагон. Напротив меня сидел русский мужик, большой, самоуверенный. Сперва он курил и все плевал на пол, со скрипом растирая носком сапога. Потом достал из кармана поддевки бутылку с молоком и стал пить затыжными глотками, отрываясь только затем, чтобы не задохнуть-

ся. А допив, тоже откинулся назад, привалился к стене и тоже захрапел, и меня буквально стало сводить с ума зловоние, поплывшее от него. И, не выдержав, я бросил место и ушел стоять в сени. А в сенях оказался знакомый, которого я не видел уже года четыре: стоит, качается от качки вагона бывший профессор, бывший богатый человек. Едва узнал его: совсем старик и что-то вроде странника по святым местам. Обувь, пальтишко, шляпа — нечто ужасное, даже хуже всего того, в чем я хожу. Не брит сто лет, серые волосы лежат по плечам, в руке дерюжный мешок, на полу у ног другой. «Возвращаюсь, говорит, домой, в деревню, там мне дали надел при моем бывшем имении, и я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, к которому вы едете, кормлюсь трудами рук своих, свободное время посвящаю, однако, прежнему — своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке...». Солнце серебряным диском несло уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке — и заковылял, заковылял со своими

мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари.

А я приехал, куда мне было нужно, уже совсем в сумерки, в одиннадцатом часу. И так как поезд опоздал, то мужик, выезжавший за мной, подождал, подождал, да и отправился восвояси. Что было делать? Ночевать на станции? Но станцию на ночь запирают, да если бы и не запирали, диванов, скамеек на ней нет, — «теперь, брат, господ нету!» — а ночевать на полу даже и «советским» подданным не всегда приятно. Нанять в поселке возле станции какого-нибудь другого мужика? Но это теперь стало делом почти невозможным. У дверей вокзала сидел мужик, пришедший к ночному поезду на Москву, печальный и безучастный. Поговорил с ним. Он только рукой махнул. «Кто теперь поедет! Лошадь редкость, вся снасть сбита... Стан колес — два миллиарда, выговорить страшно...» Я спросил: «А если пешком?» — «А вам далеко?» — «Туда-то». — «Ну, это верст двадцать, не более. Дойдете». — «Да ведь, говорю, по лесу да еще пешком?» — «Что ж, что по лесу! Дойдете». Но тут же рассказал, как весной два каких-то «человечья»

наняли так-то «мужичкя» в ихнем селе, да и пропали вместе с ним: «Ни их, ни его, ни лошади, ни снасти... Так и неизвестно, кто кого растерзал — они его или он их... Нет, теперь не прежнее время!»

Разумеется, после такого рассказа у меня пропала уже всякая охота пытаться ехать ночью. Решил дождаться утра и просить ночлега в трактирах возле станции, — «их тут целых два», — сказал мужик. Но оказалось невозможным ночевать и в трактирах, — не пустили. «Вот чайку, если угодно, пожалуйста, — сказали в одном. — Чай мы подаваем...» Долго пил чай, то есть какую-то тошнотворную распаренную травку, в еле освещенной горнице. Потом говорю: «Позвольте хоть на крыльце досидеть до утра». — «Да на крыльце вам будет неудобно...» — «Все удобнее, чем на дороге!» — «А вы безоружный?» — «Обыщите, сделайте милость!» — И вывернул все карманы, расстегнулся. — «Ну, как хотите, на крыльце, пожалуй, можно, а то и правда, в избу вас никуда не пустят, да уж и спят все...» И я вышел и сел на крыльце, и скоро огонь в трактире погас, — в соседнем его давно не бы-

ло, — и наступила ночь, сон, тишина... Ах, как долга была эта ночь! На небе вдали, за чернеющим лесом, закатывался замазанный лунный серп. Потом и он скрылся, стала на том месте поблескивать зарница... Я сидел, шагал перед крыльцом по смутно белеющей дороге, опять сидел, курил на пустой желудок махорку... Во втором часу по дороге послышался перелив колесных спиц, толканье ступок на осях — и немного погодя к соседнему трактиру кто-то подъехал, остановился, стал стучать в окно каким-то воровским, условным стуком. Из сеней сперва выглянул, потом осторожно вышел хозяин, босой лохматый старик, тот самый, что вечером отказал мне в ночлеге с удивительной злобной грубостью, — и началось что-то таинственное: бесконечное тасканье из сеней чего-то вроде овчин и укладыванье их в телегу приезжего, и все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу. Дул уже свежий ветер, и вдали угрожающе постукивал гром. А я сидел и любовался. Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом? Представь, я теперь лишился этого

страха. И в ту ночь на крыльце трактира я только восхищался этой сухой, ничем не разрешившейся грозой. Под конец я, однако, ужасно устал от своего бдения. Да и духом пал: как идти двадцать верст после бессонной ночи?

Но на рассвете, когда тучки за лесом стали бледнеть, редеть и все вокруг стало принимать дневной, будничной вид, мне неожиданно посчастливилось. Мимо трактира пронеслась на станцию коляска — привезла к поезду в Москву комиссара, управляющего бывшим имением князей Д., находящимся как раз в тех местах, где и нужно мне было быть. Это мне сказала проснувшаяся и выглянувшая из окна хозяйка трактира, и, когда кучер выехал со станции обратно, я кинулся к нему навстречу, и он даже с какой-то странной поспешностью согласился подвезти меня. Человек оказался очаровательный, — детски наивный гигант, всю дорогу повторял: «Глаза бы не глядели! Слезы!» Меж тем всходило солнце, и седловатый, широкозадый, шальной и оглохший от старости белый жеребец быстро и легко мчал по лесным дорогам коляску, то-

же старую, но чудесную, покойную, как люлька... Давно, друг мой, не катался я в колясках!

Знакомый, у которого я прогостил несколько дней в этих лесах, человек в некоторых отношениях очень любопытный, — самоучка, полуобразованный, всегда жил раньше в Москве, но в прошлом году бросил ее и вернулся на родину, в свое наследственное крестьянское поместье. Он страстно ненавидит новую Москву и не раз настаивал, чтобы я приехал к нему отдохнуть от этой Москвы, расписывал красоты своих мест. И точно, места удивительные. Представь себе: зажиточный поселок, мирный, благообразный, вообще такой, как будто никогда не было не только всего того, что было, но даже отмены крепостного права, нашествия французов; а кругом — заповедные леса, глушь и тишина неопишуемая. Преобладает бор, мрачный, гулкий. И по вечерам в его глубине мне чувствовалась не то что старина, древность, а прямо вечность. Зари — только клочья: только кое-где краснеет из-за вершин медленно угасающий закат. Бальзамическое тепло нагретой за день хвои мешается с острой свежестью боло-

тистых низин, узкой и глубокой реки, потаенные извивы которой вечером холодно дымятся. Птиц не слышно — мертвое безмолвие, только играют козодои: один и тот же бесконечный звук, подобный звуку веретена. А как совсем стемнеет и выступят над бором звезды, всюду начинают орать хриплыми, блаженно-мучительными голосами филины, и в голосах этих есть что-то недосозданное, довременное, где любовный зов, жуткое предвкушение соития звучит и хохотом и рыданием, ужасом какой-то бездны, гибели. И вот, по вечерам я бродил в бору под ворожбу козодоев, по ночам слушал, сидя на крылечке, филинов, а дни посвящал зачарованному миру бывшей княжеской усадьбы, — истинно бывшей, потому что из ее владельцев не осталось в живых ни единого... Она несказанно прекрасна.

Дни стояли солнечные, жаркие. И по пути в усадьбу я шел то в тени, то по солнцу, по песчаной дороге, среди душно и сладко благоухающей хвои, потом вдоль реки, по прибрежным зарослям, выпугивая зимородков и глядя то на открытые загоны, сплошь покры-

тые белыми кувшинками и усеянные стрекозами, то на тенистые стремнины, где вода прозрачна, как слеза, хотя и казалась черной, и мелькали серебром мелкие рыбки, пучили глаза какие-то зеленые тупые морды... А затем я переходил старинный каменный мост и подымался к усадьбе.

Она осталась, по счастливой случайности, нетронутой, неразграбленной, и в ней есть все, что обыкновенно бывало в подобных усадьбах. Есть церковь, построенная знаменитым итальянцем, есть несколько чудесных прудов; есть озеро, называемое Лебединым, а на озере остров с павильоном, где не однажды бывали пиры в честь Екатерины, посетившей усадьбу; дальше же стоят мрачные ущелья елей и сосен, таких огромных, что шапка ломится при взгляде на их верхушки, отягощенные гнездами коршунов и каких-то больших черных птиц с траурным веером на головках. Дом, или, вернее, дворец, строен тем же итальянцем, который строил церковь. И вот я входил в огромные каменные ворота, на которых лежат два презрительно-дремотных льва и уже густо растет что-то дикое, на-

стоящая трава забвения, и чаще всего направ-
лялся прямо во дворец, в вестибюле которого
весь день сидел в старинном атласном крес-
ле, с короткой винтовкой на коленях, однору-
кий китаец, так как дворец есть, видите ли,
теперь музей, «народное достояние», и дол-
жен быть под стражей. Ни единая не китай-
ская душа, конечно, ни за что бы не выдержала
этого идиотского сиденья в совершенно пу-
стом доме, — в нем, в этом сиденье, было да-
же что-то жуткое. Но однорукий, коротконо-
гий болван с желто-деревянным ликом сидел
спокойно, курил махорку, равнодушно ныл
порою что-то бабье, жалостное и равнодушно
смотрел, как я проходил мимо.

— Вы его, барин, не бойтесь, — сказал мне
про него кучер тем тоном, каким говорят о со-
баках, — я ему скажу про вас, он вас не тро-
нет.

И точно, китаец меня не трогал. Если бы
ему приказали заколоть меня, он, разумеется,
заколоть бы, не моргнув бровью. Но так как
колоть меня было не надо, то он только сонно
косился на меня, и я мог свободно проводить
целые часы в покоях дворца как дома. И я без

конца бродил по ним, без конца смотрел, думал свои думы... Потолки блистали золоченой вязью, золочеными гербами, латинскими изречениями. (Если бы ты знал, как мой взгляд отвык не только от прекрасных вещей, но даже просто от чистоты!) В лаковых полах отсвечивала драгоценная мебель. В одном покое высилась кровать из какого-то темного дерева, под балдахин из красного атласа, и стоял венецианский сундук, открывавшийся с таинственной сладкогласной музыкой. В другом — весь простенок занимали часы с колоколами, в третьем — средневековый орган. И всюду глядели на меня бюсты, статуи и портреты, портреты... Боже, какой красоты на них женщины! Какие красавцы в мундирах, в камзолах, в париках, в бриллиантах, с яркими лазоревыми глазами! И ярче и величавее всех Екатерина. С какой благостной веселостью красуется, царит она в этом роскошном кругу! А в одном кабинете лежит на небольшом письменном столе и странно поражает взгляд коричневое бревно с золотой пластинкой, на которой выгравировано, что это — частица флагманского корабля «Св. Евстафий»,

погибшего в битве при Честме «во славу и честь Державы Российский...». Да, во славу и честь Державы Российския... Странно это теперь звучит, не правда ли?

Часто бывал я и в нижних залах. Ты знаешь мою страсть к книгам, а там, в этих сводчатых залах, книгохранилище. Там прохладно и вечная тень, окна с железными толстыми решетками, а сквозь решетки видна радостная зелень кустов, радостный солнечный день, все такой же, такой же, как и сто, двести лет тому назад. Там устроены в стенах ниши с полками, и на этих полках мерцают тусклым золотом десятки тысяч корешков, чуть ли не все главнейшее достояние русской и европейской мысли за два последние века. В одной зале огромный телескоп, в другой гигантский планетарий, а на стенах снова портреты, редчайшие гравюры. Развернул я как-то один из прелестнейших томиков начала прошлого столетия, прочитал на шершавой бумаге строки:

*Успокой мятежный дух
И в страстях не сгорай,
Не тревожь меня, пастух,*

Во свирель не играй, —

и долго стоял очарованный: какой ритм и какая прелесть! грация, танцующий перелив чувств! Теперь, когда от славы и чести Державы Российской остались только «пупки», пишут иначе: «Солнце, как лужа кобыльей мочи...» А в другой раз мне попало под руку первое издание Баратынского, и я, словно нарочно, развернул книжку на стихах:

*Что ж, пусть минувшее исчезло
сном летучим,
Еще прекрасен ты, заглохший
Элизей,
И обаянием могучим
Исполнен для души моей...*

А перед отъездом был я в знаменитой церкви. Она в лесу, на обрыве, круглая, палевого цвета и сияет в синем небе золотой маковкой. Внутри ее круг желтоватых мраморных колонн, поддерживающих легкий купол, полный солнца. В круглом проходе между колоннами и стенами — изображения святых со стилизованными ликами тех, кто похоронен в фамильном склепе под церковью. А в узкие

окна видно, как ветер ворочает косматые главы сосен, величаво и дико раскинутые из обрыва в уровень с окнами, и слышно пение, гул ветра. Я спустился в непроглядную темноту склепа, озаряя красным огоньком воскового огарка громадные мраморные гробы, громадные железные светильники и шершавое золото мозаик по сводам. Холодом преисподней веяло от этих гробов. Неужели и впрямь они здесь, те красавицы с лазоревыми очами, что царствуют в покоях дворца? Нет, мысль моя не мирилась с этим... А потом я опять поднялся в церковь и долго глядел в узкие окна на буйное и дремотное волнение сосен. Как-то весело и горестно радовался солнцем забытый, навсегда опустевший храм! Мертвая тишина царила в нем. За стенами же пел, гудел летний ветер, — все тот же, тот же, что и двести, сто лет тому назад. И я был один, совершенно один не только в этом светлом и мертвом храме, но как будто и во всем мире. Кто же мог быть со мною, с одним из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших, среди такого великого и быстрого крушения Державы Российской, равного ко-

торому не знает человеческая история!

И это было мое последнее посещение усадьбы. На другой день я уехал...

А теперь, как видишь, я опять в Москве. И прошло уже больше месяца, как я вернулся, но сильное и, главное, какое-то невыразимо странное впечатление, привезенное мною в Москву, не оставляет меня. И я думаю, что и не оставит. Ведь то, что так живо и остро почувствовал и понял я во время этой поездки, зрело во мне уже давным-давно. И не предвидится, да и не может быть впереди ничего, что могло бы рассеять мое теперешнее состояние: они, эти люди так называемой новой жизни, правы — к прежнему, к прошлому возврата нет, и новое царит уже крепко, входит уже в колею, в будни. Состояние же мое заключается в том, что я непрестанно чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и уйду в тот, с которым связан был я не только весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рождения: уйду в «Элизей минувшего», как бы в некий

сон, блистающий подобием той яркой и разительно живой жизни, в которой застыли мертвецы с лазурными глазами в пустом дворце в подмосковных лесах.

Видишь ли, случилось, разумеется, чудо: некто, уже тлевший в смрадной могильной яме, не погиб, однако, до конца, подобно тысяче прочих, сваленных с ним в эту яму. Он, к великому своему изумлению, стал постепенно приходить в себя и, наконец, совсем пришел и даже получил возможность приподняться и опять выбраться на белый свет. Теперь он опять среди живых, опять приобретает знакомую привычку быть, как все, — будто как все, — опять видит город, небо, солнце, опять заботится о пище, об одежде, о крове и даже о житейском занятии, положении. Но, друг мой, проходит ли даром человеку смерть, хотя бы и временная? А главное, как переменялся, как сказочно переменялся даже самый белый свет за то время, которое мы, чудом уцелевшие, пребывали в могиле! Такого крушения, такой перемены лица земли за какие-нибудь пять лет в истории, повторяю, не бывало. Представь себе почти мгновенную

гибель всего античного мира — и несколько человек, погребенных под развалинами, под лавинами варварских орд, и затем внезапно очнувшихся через два, три столетия: что должны они чувствовать? Боже, какое, прежде всего, одиночество, какое несказанное одиночество! И вот уже давно стало расти во мне некое наваждение. Чем больше привыкал я к тому, что мое восстание из мертвых есть явь, сущая правда, тем более овладевало мною чувство страшной перемены, происшедшей на свете, — я, конечно, не о внешнем говорю, хотя и во внешнем мы дошли до неслыханной и уже вовеки непоправимой мерзости, — и начал я оглядываться кругом все пристальнее, вспоминать свою домогильную жизнь все явственнее... И росло, росло наваждение: нет, прежний мир, к которому был причастен я некогда, не есть для меня мир мертвых, он для меня воскресает все более, становится единственной и все более радостной, уже никому не доступной обителью моей души!

Да, уезжая из Москвы, проезжая по ней, я почувствовал то, что чувствовал уже давно, с

особенной остротой: до чего я человек иного времени и века, до чего я чужд всем ее «пупкам» и всей той новой твари, которая летает по ней в автомобилях! Затем вспомни вокзал, с которого я уезжал, вагон, в котором я добыл себе место, моего соседа, пившего молоко из бутылки... Вспомни профессора с его мешками, с его научными мечтаниями и ту просеку, по которой одиноко — о, как страшно одиноко! — заковылял он... Как поразили меня те минуты, когда поезд стоял на полустанке, где он слез, — эти первые впечатления полевой тишины, лесной глуши, запаха берез, цветов, вечерней свежести! Боже мой, Боже мой, опять — после тысячи лет самой страшной в мире каторги! — опять это святое, чистое безмолвие, закатывающееся за лесом солнце, даль, пролет в просеке, горькие и свежие ароматы, сладкий холодок зари... И чувство моей отчужденности от этого «советского» вагона, на площадке которого я стоял, и от русого мужика, который спал в нем, вдруг приобрело во мне такую глубину и силу, что на глаза мои навернулись слезы счастья. Да, я чудом уцелел, не погиб, как тысячи прочих, убиен-

ных, замученных, пропавших без вести, застрелившихся, повесившихся, я опять живу и даже вот путешествую. Но что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю вселенную! Я живу, — и порою, как вот сейчас, даже в какой-то восторженной радости, — но с кем и где?

И та ночь, что провел я на крыльце трактира, тоже была для меня только моим прошлым. Разве я воспринимал ее как ночь в июне тысяча девятьсот двадцать третьего года? Нет, эта ночь была одной из моих прежних ночей. Прежние были и зарницы, и гром, и свежий ветер, с которым приближалась гроза... Они и совсем увели меня в мир мертвых, уже навсегда и блаженно утвердившихся в своей неземной обители. И теперь неотступно стоит передо мною это солнечное царство летних дней, бора и сказочно-спящего дворца, затерявшегося в бору, этих ворот со львами и бурьяном наверху, мрачных еловых ущелий, обмелевших прудов со стайками трюсогузок на травянистых берегах, озера, заросшего осокой, навсегда опустевшей церкви и пустых, блистательных зал, полных образами

покойников... Не могу тебе передать изумительного чувства, все еще не покидающего меня: до чего они ужасающе живы для меня!

Помнишь ли ты те стихи Баратынского, из которых я привел тебе несколько строк и которые так совпали с тем самым важным для всей моей теперешней жизни, что таится в самом сокровенном тайнике моей души? Помнишь, как кончается эта элегия, посвященная предчувствию того Элизея, который прозревал Баратынский под тяжестью своих утрат и горестей? Среди запустения родных мест, среди развалин и могил, я чувствую, говорит он, незримое присутствие некоего Призрака; и он, «сия Летийская Тень, сей Призрак» —

*Он убедительно пророчит мне
страну,
Где я наследую, несрочную весну,
Где разрушения следов я не приме-
чу,
Где, в сладостной тени невянущих
дубов,
У нескудеющих ручьев,
Я тень священную мне встречу...*

Запустение, окружающее нас, неописуемо, развалинам и могилам нет конца и счета: что осталось нам, кроме «Летийских Теней» и той «несрочной весны», к которой так «убедительно» призывают они нас?

Приморские Альпы, 5 октября 1923

Город Царя Царей

Вот старая, старая карта земного шара. Опять гляжу на нее, — в который раз в жизни и все еще жадно! — опять блуждаю глазами по великой пустоте Индийского океана, вижу черту экватора, останавливаюсь на том заветном месте немного выше его, где удлинённой каплей падает от треугольника Индостана, как бы от острия древесного листа, Цейлон, священный Львиный остров, и опять вспоминаю: город Царя Царей, Анарадхапура...

Что такое Анарадхапура? Кто знает или хотя бы слышал о ней? А меж тем Анарадхапура, величайшая святость буддийского мира, древнейшая столица Цейлона, Анарадхапура, ныне заросшая джунглями, превратившаяся в одно из самых глухих цейлонских селений

и поражающая пилигрима только чудовищными останками былой славы, насчитывает более двух с половиной тысяч лет своего существования, из которых целых две тысячи она процветала на диво всему древнему Востоку, по размерам почти равняясь современному нам Парижу, золотом и мрамором зданий не уступая Риму, а своими дагобами, воздвигнутыми для хранения священных буддийских реликвий, превосходя пирамиды Египта.

Создатель одарил Цейлон всем, что только есть на земле ценного и прекрасного. Создатель сделал его раем, местом сотворения человека, и отдал Адаму в полное владение лишь с одним запретом: не стремиться ни мечтой, ни зрением за пределы рая. Но, искушаемый жаждой далекого и неведомого, жаждой «знать и иметь», с восторгом и корыстью созерцал Адам в час утренний, с высочайшей горы рая, царства и моря, в солнечно-голубых туманах лежавшие окрест, — и преступил запрет, ушел с Евой в Индию, местом нагромоздив ряд скал в проливе между Индией и райским островом. Авель, не поже-

лавший противиться божьему запрету, остался в раю. Каин последовал за родителями. Но всюду и непрестанно томила его тоска по оставленному раю, и вот, постранствовав в мире, возвратился он в рай и убил Авеля, дабы владеть раем «нераздельно и вечно».

То, что известно нам о Цейлоне, по существу сходно с этим цейлонским сказанием. Соединенный с Индией так называемым Мостом Адама, цепью рифов и скал, действительно был некогда Цейлон частью нашей прародины. И необыкновенно многообразно его географическое строение и неисчислимы природные сокровища. Горный хребет Цейлона, занимающий три четверти его поверхности и за много миль маячащий мореходу своим острым Адамовым Пиком, изобилует глубокими долинами и многоводными реками, тонет в первобытных лесах. Возвышенны, лесисты и восточные его берега, а полную противоположность им составляют берега западные, низменные, отягченные буйной растительностью влажных тропических мест, равно как и болотистые джунгли севера. Океан вокруг Цейлона цветет жемчугом, кораллами

и населен, как в первые дни творения. В горных цейлонских недрах таятся великие залежи хрусталя и графита, в речных ложах — сказочные богатства драгоценных камней. Растительный же мир Цейлона, равного которому, в смысле обилия пород, нет на земле, мир, от века и непрестанно цветущий и благоухающий, служит приютом для несметных видов птиц, пресмыкающихся и для несметного множества всяких обезьян, летучих лисиц, кабанов, пантер, слонов, оленей...

История Цейлона темна. Все же на основании летописей, начатых в буддийских монастырях Анарадхапуры более двух тысяч лет тому назад, и по древним книгам Китая, Бирмы, Сиама с достоверностью установлено, что и история человеческой жизни на Цейлоне весьма точно намечена в иносказаниях цейлонских мифов об Адаме и его несчастных чадах. Да, первым обладателем Цейлона был действительно человек первозданный, пращур того (крохотного теперь) племени, которое вымирает в горных лесах юго-восточного цейлонского побережья под именем лучников: современным знанием лучники призна-

ны за древнейшую в мире расу, за потомков праобитателей земли. Я видел эти леса. Они доисторически глухи, имеют много общего с девственными лесами Австралии, дебри их серых стволов и узловатых сучьев покрыты кожистой темной листвой, опутаны непролазными тенетами лиан; англичане прорубают в этих дебрях многомильные просеки, пролагают шоссейные дороги, но пока только одни удавы переходят их своими волнистыми трубами. И вот эта-то от века заповедная глушь и дает убежище лучнику, прямому наследнику того, кто был цейлонским Авелем.

Я смотрю на карту: вот заповедная точка земного шара, где живет древнейший из нас. Помню ослепительный и в то же время прохладный (по причине высоты) полдень, Я на гребне Цейлона, на Пидуруталагалле, и весь Цейлон подо мною. В необозримые дали расходится туманно-синеватая картина его горного хаоса, сплошь покрытого лесом, и великий простор океана объемлет горизонты вокруг, и вся душа моя охвачена опьянением какой-то восторженной гордости, вечно присущей высотам. Но обманчивы все человече-

ские гордыни! И великой грустью земной тщеты сменяется моя гордыня при виде тех горных лесов, что лежат подо мною: там тоже бьется человеческое сердце, а как жалок и страшен этот человек, это существо, потаеннее всякого зверя скрывающееся от меня, своего единоутробного брата, в этих древесных притонах! Он и теперь еще не знает ни огня и никаких орудий, кроме лука да каменного топора. Он питается кореньями и плодами, лакомится ящерицами, дохлыми обезьянами. Религии у него нет, — он только смутно почитает (то есть боится) духа предков, и даже смерть его не освящается никаким обрядом. Нет у него и никаких основ права, нравственности и нет даже семьи, — разве его детеныши и его самка (чаще всего его родная сестра) составляют семью? А телом он черен, ростом карл, хотя сложен прекрасно и ловок необыкновенно, череп имеет самый маленький в мире, волосы буйные, уши торчащие и подвижные... Замечательней всего то, что цейлонский Абель никогда не смеется: этого человеческого дара он лишен совершенно.

А Каином был на Цейлоне пришелец из

Индии. Индией, согласно буддийским летописям, владели сурии, арийцы. Они были будто бы очень мирны, эти «дети Солнца», но вот родился среди них вождь, великий царь, родился чудесно («от женщины и льва») и уже с юности приобрел славное имя: Жестокий Виджая. Под его водительством сурии вторглись по Мосту Адама в царство Авеля, овладели раем и назвали его (в честь своего вождя) Львиным островом (Сингала), а своих побежденных противников, тех самых, что известны теперь под именем лучников, частью истребили, частью обратили в рабство, частью загнали в горы, в леса. И тогда наступила уже не райская, а чисто земная слава острова: целых две тысячи лет процветало новое арийское царство, царство сингальское. Весь мир дивился его могуществу, его трудам, всяческому строительству, обработке земель, осушению болот, созданию городов, дворцов и храмин, циклопических плотин, ограждающих поля от разливов, великих каналов, распределяющих водные орошения и величайших в мире священных пирамид. И целых две тысячи лет не было во всей Азии города, равного

сингальской столице, воздвигнутой среди расчищенных джунглей на севере острова и возвеличенной пышным именем: город Царя Царей — Анарадхапура...

Помню, с каким странным чувством смотрел я с высоты Пидуруталагаллы в ту смутную синь северной дали, где в безграничных лесных дебрях, снова разросшихся теперь также мощно и буйно, как во времена незапамятные, покоились забвенные останки Анарадхапуры.

Человеческая история есть прежде всего история человеческих кровопролитий. И летописи сингальского царства говорят о его непрерывных войнах с прочими «сынами женщины и льва», с теми, которые, следуя примеру первого завоевателя рая, непрерывно вторгались из Индии на Львиный остров уже для нападения на потомков Виджайи. И шли века, и без конца длилась борьба. Но царство сингальское неизменно одолевало и все ширилось и крепло. В пятом веке до рождения Христова оно достигло вершины своего материального могущества, а с третьего столица его становится оплотом новой веры,

данной человечеству царевичем из рода Сакиа, и начинает прославляться как священный город. «Кроткое и мощное слово Того, чей голос прозвучал по всему миру, как серебряный колокол, подвешенный к небесному своду», уже дошло и до Львиного острова.

В третьем веке новая религия объявляется единой истиной с высоты самого престола. Царствует царь Тисса. В некий день он забавляется охотой в окрестностях Анарадхапуры и достигает горы Михинтале, поднимается в джунгли, покрывающие ее вершину. С луком наготове одолевает он Цветущие заросли, как вдруг пестрой стрелой взвивается перед ним великолепный олень. Царь кидается за ним, но в этот же миг и столь же внезапно преграждает дорогу царю появившийся из-за тех же листьев, цветов и ветвей человек в легкой хламиде, ослепляющей среди зелени своим солнечным, желтым цветом. Он бос, с обнаженным правым плечом и с темным, худым, вдохновенным ликом.

— Царь, не разрушай жизни! — говорит он. — Сбрось с себя покрывало греха и неведения. Я Махинда, сын царя Асоки Великого,

служителя правды, зову тебя на кроткую стезю Того, кто научил Нирване и Закону.

И царь Тисса попросил его сказать Колесо Закона и, выслушав, со смирением преклонился перед первым буддийским апостолом, посетившим Львиный остров.

Царь Тисса отдал гору Михинтале святым соратникам Махинды, «кроткой Братии Желтого облачения», стекавшейся к Махинде со всего острова: он построил на горе Михинтале и в окрестностях Анарадхапуры множество обителей для них, для их пребывания там в дождливое время года; он выделил лучший участок в столице для посадки ветви священного дерева Бо, под которым Будда познал Истину, он посвятил весь остаток своей жизни на мысли и дела благочестия, на то, чтобы сделать Анарадхапуру как бы престольным городом самого Будды, и на всяческое украшение, достойное ее славы и святости. Наследники же его в течение целых веков продолжали его труды. И богаты были плоды этих трудов!

Царство сингальское, говорит Фа-Съян, китайский монах, живший в пятом веке после

рождества Христова и стяжавший себе большую известность своими путешествиями по святым местам и описанием их, по справедливости гордится своей столицей. Анарадхапура есть великолепный город огромных размеров. Он занимает шестнадцать миль в ширину и столько же в длину. Главные улицы его суть: Песочная, Речная, Царская и Лунная, малых же — без числа. На каждой главной улице помещается десять тысяч больших и богатых домов в два и три этажа. Улицы эти усыпаны песком, — белым посередине, черным по бокам, — и украшены множеством триумфальных ворот в цветах и знаменах. И тысячи людей, лошадей, зебу, слонов, паланкинов запружают их с утра до вечера. А надо всей этой прекрасной картиной шумной человеческой жизни, над великим множеством домов и базаров, высятся золотые кровли и золотые острия монастырских дворцов, ступ и дагоб...

Почти то же самое и с таким же восхищением говорят об Анарадхапуре и другие древние записи. И, читая их, представляешь себе огромную низменную страну, многолюдную,

райски богатую, возделанную до последней своей пяди, покрытую селениями, рощами, садами, изрезанную реками и каналами, и посреди нее — огромный и великолепный город, вокруг которого и над которым гигантски блещут золотом и белизною пирамидальные, куполообразные и колоколоподобные здания, более похожие на горы, чем на дела человеческих рук.

Благословенное дерево Бо, под которым, в рощах Урувелы, после долгих лет, проведенных в истязании тела и духа, в глубочайших думах, в поисках Истины, Будда был однажды озарен ею внезапно, точно молнией, росло в Индии, слишком далеко от Львиного острова, чтобы каждый живущий на нем хоть раз в жизни обрел высокое блаженство быть осененным его листвой. И вот, из Анарадхапуры было отправлено в Индию священное паломничество за ветвью этого дерена, и ветвь была доставлена на Львиный остров под попечением дочери царя Асоки, царевны Сангамиты, сестры Махинды, на особом корабле, и посажена на особом участке на окраине Анарадхапуры с таким торжеством, о котором вер-

ные говорили и писали впоследствии целые века. Затем было начато возведение дагобы Тхупарамы и Бронзового дворца (то есть той обители, развалины которой и доныне стоят в ближайшем соседстве с двухтысячелетним отпрыском Священного дерева), и состоялось перенесение из Индии другой величайшей святыни — ключицы Будды...

Теперь Анарадхапура — маленькое и глухое лесное селение, через которое пролегла единственная улица, вернее, дорога под вековыми деревьями, еще сохранившая древнее название: Священная улица. На этой-то дороге, более двух тысяч лет попираемой стопами пилигримов, и стоит с одной стороны Мага-Вихара, в ограде которой растет дерево Бо, и Лога-Пазада, то есть Бронзовый дворец, с другой.

Мага-Вихара есть место, окруженное низкой каменной стеной. У ворот ее в полной неприкосновенности лежит двухтысячелетний гранит, Луна-Камень. За воротами стоят две громады — два Будды, а посередине двора уступами высятся несколько земляных насыпей, лежащих друг на друге, — несколько

квадратов, из которых каждый менее предыдущего, ибо уже несколько раз со времени благочестивой сестры Махинды достигало дерево такой величины и ветхости, что нужно было, ради сохранения его от гибели, заключать его в земляную насыпь, оставляя на свободе только его ветвистую вершину. И три уступа широкой каменной лестницы ведут теперь под сень благословенного дерева, так широко раскинувшегося на верхней площадке, что в ветвях его свободно поднимается великолепная пальмира, по которой вверх и вниз носятся маленькие, игривые обезьянки.

В Бронзовом дворце было некогда девятьсот келий и обитало девятьсот иноков. Девять этажей его покоилось на тысяче шестистах гранитных колоннах, высота которых постепенно, по мере приближения к середине Дворца, все увеличивалась, меж тем как размеры каждого этажа уменьшались по мере возвышения, так что Дворец имел форму пирамидальную, «блистал же своей медной кровлей, как небесная обитель».

Самодержавный государь Ланни, говорится в одной священной летописи пятого века

нашей эры, назначил великое богатство денег, одежды и сосудов с сахаром, маслом и медом на постройку Бронзового Дворца, не желая обременять тех, которые строили Дворец, трудом безвозмездным. Дворец был окружен стеной, покрытой бронзовыми бляхами, что и дало Дворцу его название — Лога-Пазада, Бронзовая Обитель. Все келий Дворца были украшены с чрезвычайным великолепием: стены их блистали инкрустацией из драгоценных камней, образующих цветы; вдоль стен стояли сидения из резного дерева; на полу лежали чудесные ковры. В середине же Дворца была большая зала, вся золоченая, местами унизанная жемчугом и прочими самоцветами, потолок который держали колонны с изображением различных божеств и животных. И трон, который стоял в этой зале, был из слоновой кости, и на его возглавии сияли: золотое солнце, серебряная луна и перловые звезды. Возле трона лежало опахало слоновой кости — знак великого жреца, и был раскрыт зонтик белого шелка — знак царской власти. Сосуды же, где мыли руки и ноги, и ложка, употреблявшаяся в кухне при варке риса, —

все было золотое... Теперь от этого великолепия осталась только каменная голая чаща в тысячу шестьсот столбов.

Прочие руины разбросаны в рощах и джунглях вокруг Анарадхапуры. Это останки Упозад — святилищ, где жрецы читали два раза в месяц собранию верующих веления Будды и принимали общую исповедь, затем пруды, заросшие лотосами, полные черепах и крокодилов, водоемы для омовения, каменные корыта и саркофаги неизвестного назначения, полукруглые Луны-Камни с изображениями на них слона, лошади, буйвола, льва, лотоса и гуся, затем многочисленные белоснежные колокола ступ и, наконец, дагобы.

Царь Тисса подарил монахам землю в рощах за городом и золотым плугом, который влекли два белых царских слона, собственноручно провел границы ее. Место это называлось Роща Магамега, и в ней-то царь и воздвиг из священного доломита (белого известняка, употреблявшегося лишь для храмов и царских дворцов) первую из цейлонских дагоб — Дхупараму, древнейший памятник всей Индии, святая святых Цейлона, где хранилась

ключица Будды. Поднимаясь в небесную высоту, она еще доныне сверкает своей снежной белизной и окружена тремя рядами орнаментированных колонн, многие капители которых валяются на земле и заросли кустарником и травами.

При Тиссе построена была и Иссурумунья-дагоба, а несколько позднее — дагоба Руанвели. Теперь она превратилась в совершенную руину: издали видишь только гигантский холм, покрытый чащей кустарников, а приблизясь — гигантскую грудку кирпича, насквозь проросшую травами и деревьями.

И все эти дагобы превосходят своими страшными размерами дагоба Абхапари, соперничавшая с пирамидой Хеопса. Теперь от ее высоты осталась половина, и большого труда стоит взойти на нее по ее разрушенным ступеням. Но какой дивный, необъятный вид открывается с ее вершины на океан окрестных джунглей, болот, рек и островами подымающиеся среди них скалистые возвышенности! Невдалеке от нее уже две тысячи лет сидит в лесу и улыбается грустно-насмешливой улыбкой огромная черная статуя Буд-

ды, по плечам которой то и дело цветистой молнией мелькают хамелеоны. А если взять двуколку, запряженную бычком, то через час доберешься до джунглей, где бурыми могильными холмами стоят муравейные кучи и перебегают дорогу шакалы, олени и кабаны, а потом доедешь до подножия Михинтале с высеченными на ней двумя тысячами ступеней. На темени этих скал — могильный храм Махинды, осененный кокосовыми пальмами. На пальмах сидят сиворонки, обезьяны. На жертвенных столах перед храмом лежат ящерицы. Скалы окрест одиноко возносятся из древесного моря низменности. И великая тишина почиет над мертвой священной страной.

1924

Святитель

Двести лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным.

Вечером в его покое, перед многочисленными и прекрасными образами, горели лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик.

Неслышно вошел и тихо поклонился служка.

— Милый брат, позови ко мне певчих, — сказал святитель. — Бог простит мне, недостойному, что я тревожу их в неурочный час.

И вскоре покой святителя наполнился молодыми черноризцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, — разулись, прежде чем войти.

И святитель сказал в ответ на их земнометание:

— Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу

пречистого Рождества господа нашего Иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной.

И они стали вполголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости.

И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой.

Когда же получили они отпуск и, поклоняясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу.

Он рассказал ему всю свою жизнь.

Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах.

Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно-сияющим взором и поклонился ему в нот.

И это была последняя земная ночь святителя: на рассвете обрели его почившим, — с двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный.

Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного

святого, нам почти современного, — простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю:

— Митюшка, милый!

Только один господь ведает меру неизреченной красоты русской души.

7 мая 1924

Именины

Вместе с громадной пыльно-черной тучей, заходящей из-за сада, из-за вековых берез и серых итальянских тополей, все более жгучим становится ослепительный солнечный свет, его сухой степной жар — и все более немеет усадьба, все мельче и серебристее струится листва на тополях.

Черный ад обступает радостный солнечный мир усадьбы.

В усадьбе преизбыток довольства, счастья.

Дом полон гостей, соседей, родственников, своих и чужих слуг, — в доме именины.

Идет обед, долгий, необычный, с пирожками, с янтарным бульоном, с маринадами к жареным индейкам, с густыми наливками, с

пломбиром, с шампанским в узких старинных бокалах, по краям золоченых.

И я тоже в усадьбе, в доме, за обедом, но вместе с тем, я весь этот день, усадьбу, гостей и даже себя самого только вижу: чувствую себя вне всего, вне жизни.

Я мальчик, ребенок, нарядный и счастливый наследник всего этого мира, и мне тоже празднично, — особенно от этих дедовских бокалов, полных горько-сладкого тонко-колючего вина, — но вместе с тем и несказанно тяжело, так тяжело, точно вся вселенная на краю гибели, смерти.

Отчего?

От этой страшной тучи, адом обступающей мир, от этой растущей тишины?

А, нет! Оттого, что, оказывается, не я один вне всего, вне жизни: все, окружающие меня, тоже вне ее, хотя они и двигаются, пьют, едят, говорят, смеются.

И еще оттого, что я чувствую страшную давность, древность всего того, что я вижу, в чем я участвую в этот роковой, ни на что не похожий (и настоящий, и имеете с тем т-в кой давний) именинный день, в этой столь

мне родном — то же время столь далекой и сказочной стране.

И в душе моей растет такая скорбь, что я наконец разрываю этот сон...

Глубокая зимняя ночь, Париж.

9 мая. 1924

Скарабей

Вижу себя в Каире, в Булакском музее.

Когда входил во двор, пара буйволов медленно влекла к подъезду длинные дроги, на которых высился громадный саркофаг. Усмехнувшись, подумал:

— Еще один великий царь...

Разноцветные гранитные саркофаги, гробы из золотистого лакированного дерева загромождали вестибюль. Пряно, сухо и топко пахло — священный аромат мумий, как бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и деловито перекликались, что-то спрашивали друг у друга, что-то кому-то громко приказывали быстро проходившие по звонким коридорам и сбегавшие с главной лестницы чиновники, принимавшие новую партию тысячелетних покойников.

А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и сухое благовоние, древнее, священное! Долго ходил и опять долго смотрел на маленькие черные мощи Рамзеса Великого в его стеклянном ящике. Да, да, подумать только: вот я возле самого Великого Рамзеса, его подлинного тела, пусть иссохшего, почерневшего, превратившегося в одни кости, но все же его, его!

А рядом — скарабеи Мариетта. Мариетт поместил в особой витрине, разложил в хронологическом порядке все собранные им царские скарабеи, — триста чудесных жучков из ляпис-лазури и серпентина. На этих жучках писали имена усопших царей, их клали на грудь царских мумий, как символ рождающейся из земли и вечно возрождающейся, бессмертной жизни. Мариетт собрал их — и выставил на удивление всему человечеству:

— Вот вся история Египта, вся жизнь его за целых пять тысяч лет.

Да, пять тысяч лет жизни и славы, а в итоге — игрушечная коллекция камешков! И ка-

мешки эти — символ вечной жизни, символ воскресения! Горько усмехаться или радоваться?

Все-таки радоваться. Все-таки быть в том веке неистребимом и самом дивном, что до сих пор кровно связывает мое сердце с сердцем, остывшим несколько тысячелетий тому назад, с сердцем, на коем тысячелетия покоился этот воистину божественный кусочек ляпис-лазури, — с человеческим сердцем, которое в те легендарные дни так же твердо, как и в наши, отказывалось верить в смерть, а верило только в жизнь. Все пройдет — не пройдет только эта вера!

<10 мая. 1924>

Музыка

Я взялся за дверную ручку, потянул ее к себе — и тотчас же заиграл оркестр. За раскрытым окном шли назад лунные поля — дом стал бегущим поездом. Я тянул то крепче, то слабее — и, необыкновенно легко согласуясь с моим желанием, то тише, то громче, то торжественно ширясь, то очаровательно замирая, звучала музыка, перед которой была ничто музыка всех Бетховенов в мире. Я уже понял, что это сон, мне было уже страшно от его необыкновенной жизненности, и я сделал отчаянное усилие очнуться и, очнувшись, сбросил ноги с кровати и зажег огонь, но тотчас же узнал, что все это опять дьявольская игра сна, что я лежу, что я в темноте и что нужно во что бы то ни стало освободиться от этого наваждения, в котором, несомненно, чувствовалась какая-то потусторонняя, чужая, хотя в то же время и моя сила, сила могущественная нечеловечески, потому что человеческое воображение обычной, дневной жизни, будь то воображение хоть всех Толстых и Шекспиров вместе, может все-таки только воображать,

грезить, то есть все-таки мыслить, а не делать. Я же делал, именно делал, нечто совершенно непостижимое: я делал музыку, бегущий поезд, комнату, в которой я будто бы очнулся и будто бы зажег огонь, я творил их так же легко, так же дивно и с такой же вещественностью, как может творить только бог, и видел творимое мною ничуть не менее ясно и ощутительно, чем вижу я сейчас, наяву, при свете дня, вот этот стол, на котором я пишу, вот эту чернильницу, в которую я только что обмакнул перо...

Что же это такое? Кто творил? Я, вот сейчас пишущий эти строки, думающий и сознающий себя? Или же кто-то, сущий во мне помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно более могущественный по сравнению со мною, себя в этой обыденной жизни сознающим? И что вещественно и что невещественно?

25 мая. 1924

Слепой

Если выйти на мол, встретишь, несмотря на яркое солнце, резкий ветер и увидишь далекие зимние вершины Альп, серебряные, страшные. Но в затишье, в этом белом городке, на набережной, — тепло, блеск, по-весеннему одетые люди, которые гуляют или сидят на скамьях под пальмами, щурясь из-под соломенных шляп на густую синеву моря и белую статую английского короля, в морской форме стоящего в пустоте светлого неба.

Он же сидит одиноко, спиной к заливу, и не видит, а только чувствует солнце, греющее его спину. Он с раскрытой головой, сед, старчески благообразен. Поза его напряженно неподвижная и, как у всех слепых, египетская: держится прямо, сдвинув колени, положив на них перевернутый картуз и большие загорелые руки, приподняв свое как бы изваянное лицо и слегка обратив его в сторону, — все время сторожа чутким слухом голоса и шуршащие шаги гуляющих. Все время он негромко, однообразно и слегка певуче говорит, горестно и смиренно напоминает нам о

нашем долге быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавливаюсь наконец и кладу в его картуз, перед его незрячим лицом, несколько сантимов, он, все так же незряче глядя в пространство, не меняя ни позы, ни выражения лица, на миг прерывает свою певучую и складную, заученную речь и говорит уже просто и сердечно:

— *Merci, merci, mon bon frère!*[6]

«*Mon bon frère...*» Да, да, все мы братья. Но только смерть или великие скорби, великие несчастья напоминают нам об этом с подлинной и неотразимой убедительностью, лишая нас наших земных чинов, выводя нас из круга обыденной жизни. Как уверенно произносит он это: *mon bon frère!* У него нет и не может быть страха, что он сказал невпопад, назвавши братом не обычного прохожего, а короля или президента республики, знаменитого человека или миллиардера. И совсем, совсем не потому у него нет этого страха, что ему все простят по его слепоте, по его неведению. Нет, совсем не потому. Просто он теперь больше всех. Десница божия, коснувшаяся его, как бы лишила его имени, времени, про-

странства. Он теперь просто человек, которому все братья...

И прав он и в другом: все мы в сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую, — я несу в себе жизнь, ее полноту и радость. Что это значит? Это значит, что я воспринимаю, приемлю все, что окружает меня, что оно мило, приятно, родственно мне, вызывает во мне любовь. Так что жизнь есть, несомненно, любовь, доброта, и уменьшение любви, доброты есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть. И вот он, этот слепой, зовет меня, когда я прохожу: «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и ко мне; тебе все родственно в этом мире в это прекрасное утро — значит, родственен и я; а раз родственен, ты не можешь быть безчувствен к моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, как и плоть всего мира, едина с твоей, ибо твое ощущение жизни есть ощущение любви, ибо всякое страдание есть наше общее страдание, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущение друг друга и всего сущего!»

Не пекитесь о равенстве в обыденности, в ее зависти, ненависти, злом состязании.

Там равенства не может быть, никогда не было и не будет.

25 мая 1924

Мухи

Прокофий лежит на нарах под полатями уже третий год: высохли ноги.

Деревня в завале, по косогорам над оврагами. Места глухие, богом забытые. Да еще рабочая пора. Окрестные поля, усеянные копнами, голы и желты, похожи на песчаную пустыню, а в деревне ни души, только старики и дети. Нагоняя дремоту, поют петухи. Скучно, как тоскующий немой, мычит на выгоне теленок. В тени от пунек дремлют, смахивая с ушей мух, собаки. На порогах жарких изб попискивают, поклевывают цыплята. Тускло печет солнце, и с востока, из-за покатых полей, все собирается, синееет и все ничем не разрешается молчаливая тучка.

И день за днем лежит он в этой тишине и скуке. Был я у него в прошлом году в эту же пору, был нынешней весной и вот опять заехал. Все то же: в избе полутемно, жарко, на столе хлебы, прикрытые рваным армяком; на

этом армяке, на стеклах и по стенам кипят несметные мухи, — просто все черно от мух, — а он лежит на нарах, головой к боку печки, до пояса прикрытый старой пегой попоной, и, усмехаясь, курит трубку. Посасывает и усмехается. Под попоной — его неподвижные ноги. Они так противоестественно тонки, так неприятны и страшны даже через полосатые портки, что я поспешил отвести глаза, когда он откинул попону и показал мне их. А он еще пошутил:

— Посмотрите-ка, что делается! Не ноги, а коклюшки! Хоть кружево плети!

Я сижу возле нар на перевернутом ведре, кручу папироску и думаю о том, что вот через полчаса я уеду, а он опять останется в этой избе, опять будет лежать да смотреть на противоположную стену, на черные доски полатей, висящих над ним. Я ужасаюсь при одной мысли о таком существовании, а он лежит себе как ни в чем не бывало и даже более того — чувствует себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпение? Восточная покорность судьбе? Святость? Нет, все не то. Ничего святого в его лице нет —

обыкновенное лицо мужика средних лет, поражающее только ясностью и бодростью глаз. И он усмехается и говорит:

— Верите ли, когда меня переносят на коник, чтобы, значит, тут перестлать, оправить, мне самому чудно глядеть на эти ноги, до того они маленькие, ребячьи. Главное дело, волочатся совсем как чужие...

Мне нестерпимо даже думать об этих ногах. А он сосет трубку и, отмахиваясь от мух, откидывая со лба длинные волосы, шутит и над волосами:

— Ишь оброс! Хоть в архиереи постригай!

Чтобы переменить разговор, я говорю:

— Ну и мух у вас, Прокофий!

Он оживленно подхватывает:

— Мух? Содом! Я их с утра до вечера мну, великие тысячи помял. Плюну на стену, они насядут роем, а я их и мну. Палкой. Так сбоку меня и лежит.

И он шарит правой рукой по постели и показывает мне точно смолой вымазанную палку. В смоле и стена: вся в мушином тесте.

— Да что ж, — говорит он, — не будь их, что бы я мог делать? А тут весь день занят.

— Ну, а еще что ж ты делаешь?

— А что ж еще? Да ничего. Лежу, курю, думаю.

— О чем?

— Да, конечно, так, пустяки, о чем придется. Об хозяйству мало теперь стал думать. Придут с поля, начнут рассказывать, а я как-то без внимания. Нужды у нас, сами знаете, нету, ну и не думается. Думаю больше о прежнем, когда здоровый, молодой был.

— Ах, Прокофий, — говорю я, не выдержав, — все-таки как это ужасно то, что случилось с тобой!

Но он спокойно глядит мне в глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвечает:

— Нет, барин, это только мнение. Это вам только так кажется по вашему здоровью. А захворали бы не хуже меня, что ж бы вы сделали? Лежали бы себе да лежали. Здоровому, понятно, думается утешить себя разными разностями, побогаче стать, перед людьми погордиться, а лег — и мухам рад. Вы вот норовите как бы что придумать, сочинить получше, а я как бы побольше мух помять. И все одна честь, одно удовольствие. И смерть то же са-

мое. Кабы она уж правда была так страшна, никто и не умирал бы, никогда бы господь такой муки не допустил. Нет, это только одно мнение...

Через полчаса я прощаюсь с ним, выхожу из избы и сажусь на лошадь со странным чувством какой-то глупой легкости ко всему окружающему. А может быть, и в самом деле все хорошо, все слава богу и довольствоваться, радоваться можно и впрямь очень малым? Как приятно, например, поставить ногу в стремя, нажать на него и, перекинув другую ногу через седло, почувствовать под собою его скользкую кожу и живое движение сильной молодой лошади! Тронув повод, я крупным шагом еду по выгону. Затихло в деревне еще больше. Даже петухи смолкли, и теленок лежит и дремлет, прикрыв свои крупные белые ресницы. Еду вдоль изб, мимо их жарко блестящих против предвечернего солнца окон, поворачиваю за угол крайней избы, поднимаюсь проселком на изволок, в степь... Вот уже потянуло навстречу сухим и сладким ветерком, и открывается впереди бесконечная равнина, далекие горизонты июльских

полей, пустынная желтизна которых переходит в чуть видных далях в нечто прелестное, манящее, смутно-сиреневое...

Да, а Прокофий лежит, и у него свои радости. Когда я встал, покидая его, вероятно, еще на год, он просто и весело подал мне руку и пожал ее. И пожал совсем не по-прежнему, совсем не так, как бывало: не одними концами пальцев, бывших прежде не гибкими и корявыми, не с мужицкой неловкостью и несмелостью, а всей дланью, с приятной и дружеской силой и, главное, совсем как равный равному. И, кажется, это больше всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего он телесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгие дни одинокого лежания под полатями и сокровенные мысли, соединенные с непрестанной забавой истребления мух, перешедшей уже в чисто охотничью страсть, почти в цель жизни: вот, мол, завтра, бог даст, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странные мысли! Давит, мнет мушиные рои — и со спокойной таинственностью создает в глубине своего существа какую-то страшную, а

вместе с тем радостную мудрость... Мудрость ли это или же просто какой-то ясноокий идиотизм? Блаженство нищих духом или безразличие отчаяния?

Ничего не понимаю, еду и смотрю вдаль.

9 июня 1924

Сосед (Красный генерал)

Рассказ Н.Н.

Одна из вечерних прогулок...

Ясный апрельский закат, низкое чистое солнце, еще не набитый серый проселок, весенняя нагота полей, впереди еще голый зеленоватый лес. Еду на него, — куда глаза глядят, — спокойно и распущенно сидя в седле.

От перекрестка беру к лесу целиком, по широкой меже, по грани среди жнивья. Она вся зеленая, но еще по-весеннему мягкая, — чувствуется, как вдавливается в нее копыто. А возле леса, на жнивье под опушкой, еще тянется длинный островок нечистого и затвердевшего снега. И ярко-голубые подснежники, — самый прелестный, самый милый в мире цветок, — пробиваются из коричневой, внизу гниющей, влажной, а сверху сухой

листвы, густо покрывающей опушку. Листва шумно шуршит под копытами, когда я въезжаю в лес, и нет ничего радостнее этого напоминания о прошлой осени в соединении с чувством весны.

Шуршит и лесная дорога, — она тоже вся под листвой, — и далеко слышно это шуршание по лесу, еще сквозному, раскрытому, а все-таки уже не зимнему. Лес молчит, но это молчание не прежнее, а живое, ждущее. Солнце село, но вечер светлый, долгий. И Тамара чувствует всю эту весеннюю прелесть не меньше меня, — она идет особенно легко, подняв шею и глядя вперед, в далеко видную и еще просторную сероватую чащу стволов, кругами идущих нам навстречу, выглядывающих друг из-за друга. Внезапно, как кол, сваливалась со старой осины мохнатая совка, плавно метнулась и с размаху села на березовый пенек, — просыпаясь, дернула ушастой головкой и уже зрячим оком глянула крутом: здравствуй, мол, лес, здравствуй, вечер, даже и я теперь не та, что прежде, готова к весне и любви! И как бы одобряя ее, на весь лес раскатился где-то близко торжествующим цокани-

ем и треском соловей. А под старыми березами, сквозящими своей кружевной наготой на сероватом, но легком и глубоком вечернем небе, уже торчат тугие и острые глянцевиито темно-зеленые трубки ландышей.

Переезжая низы, смотрю вправо, вдоль оврага, густо заросшего грифельным безлиственным осинником, — там за лесом нежно, слабо разлился погожий закат. По дну оврага, среди темной чащи, среди подседа орешников, падает с уступа на уступ, журчит и холодно булькает еще не иссякший паводок. Самый вальдшнепный притон этот овраг! Потом, все так же шумно нарушая весеннюю тишину леса шуршанием копыт в листве, поднимаюсь по лесной дороге в гору, по глубоким гнилистым колеям, промытым половодьем. Потом еду по широким полянам, где стоят, красуются, в отдалении друг от друга, вековые ветвистые дубы.

Широчайшая плотина лежит между двумя великолепными прудами, молчаливо отражающими в своих зеркалах эти дубы и вечернее небо. А за прудами начинается огромное пепелище Дубровки, — запущенные остатки

бесконечного фруктового сада, разрушенных служб, от которых местами уцелели только груды кирпичей, заросших бурьяном, — и на половину вырубленная аллея сто-летних тополей ведет на обширный двор. Прежде каждого едущего по этой аллее издалека встречал страшный, гремящий по всему окрестному лесу лай знаменитых дубровских овчарок. Теперь я еду среди мертвой тишины. На-право и налево — все яблони и яблони, старые, раскидистые, приземистые. Венера на светлом западе так великолепна, что на земле под яблонями от нее серебрится. И белеет впереди, на пустынном дворе, небольшой домик под тесовой крышей: это прежняя контора, в которой и живет теперь наследник Дубровки.

Двор перед конторой переходит прямо в поле, сливается с равниной, за которой прозрачно алеет на горизонте луна. И хозяин стоит на крыльце, курит и исподлобья смотрит на нее. Приподняв картуз, я хочу повернуть в поле, по, завидев меня, он поднимает руку:

— Halt![7] Штраф за проезд через чужие владения! Стакан чаю!

Делать нечего, притворно улыбаясь, при-

держиваю Тамару, от чаю отказываюсь, но все-таки слезаю с седла, и Тамара идет по двору к водопойному корыту, а мы направляемся навстречу друг другу.

— *Bonsoir, mon cher voisin, comment allez-vous?* — говорит хозяин. — *Une petite promenade?*[8] Вот и я тоже, стою и люблюсь красотами природы, как Марий на развалинах Карфагена...

Ему лет тридцать, он очень худ, темен лицом, давно небрит, у него стоячие черно-агатные глаза и страшно черная (коротко стриженная) голова под военным картузом без кокарды. Он в старых валенках, в рейтузах и в длинном сером пиджаке поверх грязной косоворотки. И он крепко жмет мне руку и ведет меня в дом, говоря, что самовар все равно готов и что он сейчас прикажет дать корму Тамаре.

— А вы хоть папиросу выкурите, — говорит он, — я, откровенно сказать, погибаю от скуки... *Je ne sais pas comment je me ne suis pas mort encore*[9] среди этой пастушеской идиллии...

Темные сени отделяют бывшую контору от

кухни. Дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лет пятнадцати, с двумя светлыми жидкими косами на спине, в легком ситцевом халатике и стоптанных мужских туфлях, надевает трубу на самовар, из которого и валит этот дым, необыкновенно густыми палевыми клубами.

— *Vite, vite, Berthe!* [10] — кричит хозяин и вводит меня в комнаты, без умолку продолжая говорить:

— *C'est la fille de femme...* [11] то есть бывшей, конечно... Вы у меня тысячу лет не были, но, разумеется, всю эту историю от досужих соседей уже слышали... Эту девицу моя благоверная прикинула мне в наследство... *Dame!* Я ничуть не в претензии, — прекрасной компенсацией служит то, что мудрый немецкий Бог надоумил-таки ее наконец сбежать от меня. Вы ведь знаете, более нелепой женитьбы, чем моя, сам Мефистофель, не мог бы придумать... Черт знает, где, — в каком-то Ревеле, — черт знает почему... *Vrai, je ne sais pas comment cela m'est arrivee...* [12] Попал в цирк, увидел рыжую наездницу, — и, заметьте, далеко не первой молодости, — и через

неделю женат... Глупо до восхищения, до крайнего предела...

Комнат всего две, — «salon» и «chambre a coucher» [13], как иронически говорит хозяин, вводя меня и извиняясь за их «лирический беспорядок». «Салон» разделен деревянной перегородкой, за которой живет барышня. В спальне большая, не по комнате, кровать красного дерева, покрытая меццанским одеялом из разноцветных лоскутков, на одеяле валяется балалайка. В салоне стопудовый кожаный диван, из которого торчат клоки мочалы и горбами выпирают пружины, в простенке дивное овальное зеркало, а под зеркалом — грузный письменный стол, на зеленом сукне которого стоит недопитый стакан молока и лежат огрызки серых лепешек, счета, махорка в надорванном пакетике и ржавая конская подкова. В комнатах сумерки, — окна их глядят на восток, в поле. Входим, садимся, — хозяин в кресло возле стола, а я на диван, — и принимаемся вертеть папиросы. Выдумывать разговора не надо, — хозяин ни на минуту не прекращает своей отрывистой скороговорки:

— Не хотите ли свернуть из моего антра-

цита? Впрочем, не неволю, это, знаете, действительно на любителя! C'est affereux [14], но что же делать? А я, как видите, во всей усадьбе соло. Распустил кабинет. Остался один работник, — анекдотический болван! Вообразил себя моим закадычным другом и по сему случаю пьянствует без просыпу. Вот и сейчас дрыхнет и угадайте, где? Вот за этой перегородкой! Терплю, — времена демократические! А все-таки и его придется прогнать. И вообще — ох, уж мне эти милые поселяне! Право, они только в оперетках хороши. Я с ними рос, я сам, можно сказать, на половину хам, полукровок, — ведь, как изволите знать, та раувге мере [15] была всего-навсего беглая дворовая девка, — но, позвольте спросить, что у меня с ними общего? Хозяйство? Но какое к черту хозяйство при таком бамбуковом положении? Кроме того, лично для меня это совершенно сто двадцать пять букв китайской грамоты! Вы скажете, зачем же я в таком случае сижу на этом Чертовом Острове, почему не продолжаю служить? Но как служить, не имея средств? Быть в полку парием? — Да, но позвольте! Про лошадь-то вашу мы совсем

забыли! Надо приказать дать ей корму...

Я знаю, что корму нет, — есть только гнилая солома, которую Тамара все равно не станет есть, — и мне уже очень хочется уехать.

Я благодарю хозяина за радушие и прошу прощения, говорю что, к сожалению, должен сейчас проститься! что не стоит беспокоиться, что я дал слово быть к ужину дома. Но он не слушает, просит выкурить еще одну папиросу и, забыв о корме, опять пускается в беседу. И я опять курю и опять слушаю, как вдруг он снова тревожно вспоминает о Тамаре:

— Да нет, как хотите, а ей надо хоть клочок соломы бросить! Митька! Ты тут? — кричит он, оборачиваясь к перегородке.

Из-за перегородки слышен сонный, медлительный голос:

— Тут-та. Я ляжу.

— Вставай, поди убери лошадь, — гость приехал.

— Я пьян-най...

— Я тебе говорю вставай!

— Винца прежде да-ай...

— Каково ископаемое? — говорит хозяин с торжествующей усмешкой, и кричит в сени, в

открытую дверь:

— Berthe, дай Митьке стакан водки! А вас, mon cher voisin [16] покорнейше прошу полюбоваться вот на это животное!

И он встает и широко открывает створчатые двери перегородки. Я заглядываю: за перегородкой светлее, там окошечко выходит на запад, и хорошо видно лежащего вниз лицом на железной кровати малого с белыми волосами, с большим мягким задом, в новой розовой смятой рубашке, подпоясанной почти под мышки зеленым поясом.

— Полюбуйтесь! — говорит хозяин. — Какого вам еще больше равенства?

А по салону, нагнув голову, не глядя на меня, быстро проходит к шкафчику барышня, очевидно, за водкой. Тогда я говорю хозяину уже совсем решительно:

— Нет, дорогой, оставьте его в покое. Я все равно должен сейчас ехать. Простите, пожалуйста, приеду, если позволите, в другой раз... И хозяин наконец сдается:

— Allons, bon![17] Не хочу разыгрывать дедьянову уху! Но пройдемся хоть по саду. Скука в эти бесконечные вечера, повторяю, адо-

ва!

И мы выходим из дому, обходим его и идем по широкой дорожке между яблонями на тонкий свет позеленевшего заката и на низкую играющую розовым огнем Венеру. Хозяин разглядывает мой висок и усмехается:

— Однако мы с вами конкурируем в седне! Ну, да не беда, седые бобры дороже! Вот разве женский вопрос... Впрочем, тут Елен Прекрасных мало. Какая-нибудь идейная сельская учительница? Сбитые каблуки, потные от застенчивости руки... Вообще, не выношу провинциальных девиц! И фразы-то у них у всех трафаретные: Ну как вам нравится наш город? Видели наши достопримечательности? — Есть, впрочем, здесь одна в моем жанре — и, вообразите, кто — дочь станового! Ножка узенькая, прелестные сильные икры, в глазах этакое кашэ... *Je lui plais, j'en suis certain... Je parie qu'elle tomberait volontiers dans mes bras*[18], если, конечно, повести правильную осаду... *C'est une affaire de huit jours*... [19] Я вам покажу ее, если скоропостижно не сбегу в Петербург, заложив черту хотя бы душу. На меня нападает здесь форменный страх

смерти, а ведь вы знаете, что у меня порок сердца, острая неврастения и прочая, прочая... В Петербурге, если и подохнешь внезапно, все легче. Я уже завещал похоронить меня непременно на Балтийском вокзале. Если бы вы знали, сколько воспоминаний связано у меня с этим вокзалом!

Темнеет. Венера переливается на горизонте за темной равниной уже пурпурным огнем. Слабо обозначаются тени под яблонями, — луна за домом уже светит, — и уже совсем свежо пахнет весенней землей. Вдали стонет пустушка, — стонет грустно, нежно и звонко, — хорошо ей в свежести и тишине апрельской ночи в этом старом фруктовом саду, выходящем прямо в поле! А хозяин говорит, говорит:

— Теперь единственная радость моей жизни — мой еще не законченный роман, начавшийся год тому назад в Царском Селе... Ах, если бы вы знали, что это за женщина! Она замужем за нашим полковым командиром... Такой милый старикан, прелесть! Недавно переведен в Литовский полк, в Нарву... Она мне часто говорит: «Ah! Si mon mari mourait! One

j'aimerais passer avec toi toute une nuit, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers!»[20] — Я знал еще ее отца, действительный статский советник, но не симпатичный, сухой человек! Мы с ней переписываемся! Достаточно одной телеграммы! — и она мгновенно будет тут. Но вы сами понимаете — могу ли я вызвать ее сюда, в эту хижину дяди Тома?

Мы возвращаемся во двор и медленно идем к Тамаре. Уже лунная ночь, уже луна поднялась над полем, и Тамара в ее свете стоит вдали черным силуэтом, а подушка седла, торчащего на Тамаре, блестит.

— Сколько она мне крови перепортила, ужас! — говорит хозяин с восторгом. — Но зато сколько блаженных минут! Отдалась безумно, дерзко. Однажды, понимаете, у них званый вечер, я приезжаю раньше всех, даже еще и мужа нет, она одна в пустой гостиной — и... Elle ne songeait même pas qu'elle était en toilette qui risquait de se froisser...[21] Сразу, понимаете: «Je t'aime! Fais de moi ce que tu veux! Je me moque de tout!» [22] Вообще, черт знает что, звериная страсть! А потом, конеч-

но, сцены: «Tu ne m'estirnes plus, je me suis donnee a toi trop spontanement»[23] — и бешеная ревность, хватание за руки: «Tu es a moi, n'est-ce pas, n'est-ce pas?»[24]

Тамара повернула голову при нашем приближении и тихонько, радостно заржала, — очень соскучилась. Я по-жал хозяину руку, сел и, обернувшись, помахал ему картузом. Он порывисто, поспешно затряс поднятой рукой. И Тамара сразу взяла полной рысью, прямо на луну, на светлое поле, четко дробя копытами в чистом и свежем воздухе...

* * *

Каким далеким кажется мне теперь этот весенний вечер! Я вспоминаю его с разительной живостью, стоя под зимним дождем на константинопольской улице и предлагая проходящим купить газету. В этой газете я прочел о больших успехах по службе некоего «бывшего царского офицера», а ныне красного генерала, моего «дорогого соседа» из Дубровки.

13. VI.24

Лапти

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходявшая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, — от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора, тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть...

Стукнуло в прихожей, — Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:

— Ну что, барыня, как? Не полегчало?

— Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит...

— Лапти? Что за лапти такие?

— А господь его знает. Бредит, весь огнем горит. — Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые вален-

ки, — все в снегу, все обмерзло... И вдруг твердо:

— Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.

— Как добывать?

— В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело.

— Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!

Еще подумал.

— Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то...

И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.

Пообедали, стало смеркаться, смерклось — Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки

не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени и била себя в грудь:

— Господи, помоги! Господи, защити!

И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый зловеющий стук в окно.

Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, — белого, мерзлого, всего

забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидели торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгрести снег, подняли тело — оказывается, знакомый человек. — Тем только и спаслись — поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жильё...

За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.

22.6.24.

Слава

— Нет-с, сударь мой, русская слава вещь хитрая! До того хитрая, что об ней следовало бы целое исследование написать. Тут, по-моему, даже один из ключей ко всей русской истории. И вообще, вы меня простите, вы еще молодо-зелено. Вы лучше слушайте мое готовое. Я в свободное время очков не снимаю, сорок лет сохну над книгами, да и жизненный опыт некоторый имею, с любым Ключевским могу кое в чем потягаться, — вы на то не глядите, что перед вами второсортный букинист. А уж про этих божьих людей и говорить нечего. Это даже моя специальность. Да вот вам несколько фигур из этой галереи, и фигур не каких-нибудь баснословных, незапамятных, а совершенно достоверных, современных мне.

— Вот вам, например, Мужик Борода. Был он воронежский. Много лет пребывал в сравнительной безвестности. Как вдруг счастливый случай. Пропадает в одно прекрасное утро у одного заштатного полковника ореховая шкатулка. Полиция рыщет, с ног сбивает-

ся — результату ни малейшего. Что делать? Кидаются в слободу, к знахарям — ими в слободах под Воронежем, под Орлом, под Курском, под Тамбовом хоть пруд пруди. Входят в один домик и застают целую ассамблею: стоит десятка два баб и со слезами умиления смотрят на угодника. А угодник кушает чай. Накрыт в красном углу стол, на столе кипит самовар, а за столом — благодушный мужик, подпоясанный детским розовым пояском, и с бородой во всю грудь: посматривает исподлобья ясными глазами и не отрываясь хлебает, да не из чашки, не из стакана, а прямо из полоскательницы. Допьет, вытрет рукавом пот с лысого лба, облизнется и опять шепотком приказывает:

— Наливай послаже!

До того, понимаете, упарился, что даже шепчет. И передняя баба, самая видная и красивая, опрометью кидается к столу, наливает полоскательницу с краями, наваливает сахару и опять назад: стоит, плачет и смотрит. А он опять дует, как телок.

— Что за человек?

— Божий человек, ваше благородие. Чай

кушают, только и всего.

— Ты кто такой?

Отвечает, ничуть не робея:

— Я-то? Мужик Борода. Чай люблю.

— Можешь одну кражу разгадать?

Схлебывает и этакой скороговоркой:

— Гадаю, милый, только на тощее сердце.

До завтра, до утречка повремени.

На другой день забирают его с раннего утра, ведут к полковнику, заставляют гадать.

— Нет, — говорит, — так не годится. Родители учили не так. Помолиться сперва надо. Молитесь. Все молитесь.

Все молятся: пристав, квартальный, городовые, полковник и вся его семья, все шесть дочерей. Даже бабушку и ту привели. Но после молитвы оказывается, что гадать Мужик Борода — не умеет. Выталкивают, натурально в шею, но что же вы думаете? Слава этой бороде начинает с тех пор расти не по дням, а по часам: за ним ходят уже толпами, осыпают деньгами и прочими даяниями, богатейшие купцы наперерыв зазывают его к себе с земными поклонами. И он милостиво заходит, садится на самое почетное место и — опива-

ется чаем. Пьет и командует:

— Наливай послаже!

Вы не верите? Думаете, не может же быть, чтобы двадцать лет почитали, как икону, только за то, что может человек ведерный самовар охолостить? Ну, мол, пьет, да не в этом же все-таки дело. Вероятно, хоть изредка чем-нибудь себя иным проявляет. Ну, например, врет что-нибудь божественное, хоть из приличия дурачит. Да нет же, ничего подобного! Только пьет и стяжает славу!

— Но пойдем далее. Вот вам некий Федя, тоже воронежский. Прозвище несколько не благоуханное: Федя Золотарь. Но слава опять-таки громадная. Домик в слободе, двое взрослых детей, сын и дочь, которые весьма дельно торгуют лавочкой. А папаша уже лет пятнадцать ходит по улицам. Темное безбородое лицо, неморгающие темные глаза и всегда молчит. То есть, вернее сказать, только поет: вы его останавливаете, спрашиваете, а он прет на вас, глядит в упор и дерет на ходу что-нибудь из Писания. Голос прямо ужасный. Да и сам ужасен: сальные волосы, босой, весь, конечно, в лохмотьях, на голове железный та-

ган ножками вверх, — царская корона, Главное же занятие — в нечистотах рыться: как только ударят ко всенощной — он за город и до вечера роет там палкой по оврагам, где золотари по ночам городское добро выливают, Нароется до седьмого пота — и домой, ночевать. А еще что? А еще опять ничего! За что, спрашивается, его деньгами, булками и прочими дарами осыпают? За что руки ловят и целуют, да не только руки, а и палку вонючую? Не знаю-с, не знаю-с! Философствуйте сами — есть над чем...

— Затем вспоминаю-с Кириюшу Борисоглебского, Кириюшу Тульского, ксенофонта Окаянного... Кирюша Борисоглебский — мужик из большого торгового села под Борисоглебском. Морда свежая, румяная. Окромсал в один прекрасный день голову клоками, разулся, надел женскую юбку, взял в руку лом и отличился в город. Выбрал большой праздник, Троицу, — и прямо в собор, к обедне. Там, понятно, на переднем месте вся знать, все чины градские в полной парадной форме. Жара, духота, теснота невообразимые, солнце жарит прямо из купола, а березовая зелень на полу и по сте-

нам вянет, покойником душит. И вдруг страшный коровий рев: врывается в церковь Кирюша и с коровьим ревом ломит сквозь толпу прямо к амвону. Естественно, полицейские его за шиворот и назад, но дело уже сделано — весь собор, а затем и весь город поражен и взволнован. А Кирюша как прикинулся на Троицу коровой, так и остался на целых три года. Целых три года ходил немым и ревел. Ревет, дует трубой иерихонской и разными жестами пророчествует. Посует пальцем в кулак — к свадьбе, сложит крестом ручки — к покойнику. А на четвертый год подсчитал однажды выручку, увидал, что капиталец составил уже кругленький, и восвояси. А там домик себе построил, палисадничек с мальвами завел, ну и прочее тому подобное. Обыкновенный мошенник? Разумеется. Ну, а слава-то? Ведь была же она? Была, равно, как и прочих двух, мною вкупе с этим Кирюшей упомянутых, то есть у Кирюши Тульского и у Ксенофонта. Кирюша Тульский был невеличек ростом и весьма благообразен, начитан в Писании и сладкопевен. На груди, на серенькой поддевочке, сумочка, а что в ней —

«смертному лучше и не заглядывать, любезные сестры, вдовицы и мужатицы!» А Ксенофонт почему-то прозвал себя окаянным. Молодой малый, рябой, длинный, наряжен послушником. И все юродство его заключалось только в том, что шатался он по городу и пил у мещанок и купчих чай непременно с лампадным маслом. Опять скажете, простой жулик? Совершенно с вами и на этот раз согласен. У одного на груди таинственная сумочка, у другого лампадное масло, — только и всего. Однако в чем же секрет? Ужели только в сумочке и масле?

— Затем нарисую вам из числа подобных же, на парный взгляд тоже как будто весьма простых фигур, еще парочку: Феодосия Хамовнического и Петрушу Устюжского. Феодосию тоже однажды надоело быть обыкновенным дворником, и он тоже однажды разулся, возложил на себя вериги, то есть попросту собачьей цепью обмотался, прихватил в подручные некоего бродячего Петрушу и пошел пророчествовать. Вы опять подумаете — значит, все-таки хоть некоторый дар к тому имел? Но опять я вас разочарую: ничуть не бывало!

Пророчествовал он крайне бездарно и, главное, вид имел самый не пророческий: обыкновенный лысый мужик лет сорока с превеселыми и нахальными глазами. А Петруша был и того ординарнее. Вид мелкотравчатый, умишко куриный, натура гаденькая и похотливая. Баб, дев иначе не называл, как вербочками, пеночками, канареечками, и прожорливостью отличался прямо противополоственною. И особенно на молочную лапшу и на арбузы. Завидев арбуз, весь трясся и кричал: «Искушение, искушение, великое искушение!» — затем облапывал его, ставил на колени и выгребал пятерней до донушка. Вы еще раз попытаетесь сказать, что плуты, мол, не в счет и что посему и эти два угодника должны быть оставлены нами в покое. Но, во-первых, я же и хотел сказать, сколь много среди наших знаменитостей было и есть плутов и выроdkов, а во вторых, должен напомнить вам, что цель моя заключалась вовсе не в том, чтобы их обличать: я вел совсем к другому, к тому, что мы, русичи, исконные поклонники плутов и выроdkов и что эта наша истинно замечательная особенность, наша

«бабская охота ко пророкам лживым» есть предмет, достойный величайшего внимания. А кроме того, никак не могу согласиться, что, например, Феодосии и Петруша только плуты. Нет-с, это в некоторых отношениях люди удивительные. Вы только представьте себе всю ту веселейшую небрежность, бесстыднейшую легкость, с которой совершал свое земное странствие вот этот самый Феодосии среди прочих русичей, коих он всех поголовно, раз и навсегда, счел совершеннейшими идиотами, счел, конечно, не умом, а, так сказать, всем естеством своим. Разве это не гениальность своего рода? Но гениален и Петруша. Здесь вы тоже должны представить себе нечто совершенно из ряда вон выходящее в смысле цельности ходячей ненасытной утробы, ее зоологической устремленности исключительно к одной цели — к лапше, к арбузу, к канареечкам, к лапушкам. Полагаю, что подобной первобытности, зоологичности вы нигде, кроме русичей, не встретите. И поверьте-с — толпу-то и поражала (конечно, для несамой неведомо) именно страшная сила этой зоологической цельности...

— В том же роде был и знаменитый Иван Степанович Лихачев. Этот был много лет лихачом-извозчиком — оттого и прозвали Лихачевым, — стоял в Соболях, — знаете, конечно, что это такое было, — целый квартал бардаков, — а затем с козел слез и преобразился в бродячего наставника святой жизни. Надел подрясник, бархатную скуфеечку — и пошел. Пророчески лыс не хуже Феодосия и так же благодушен. Говорит с пошлейшим красноречием, читает самые избитые нотации, а сам, конечно, зорко посматривает, сколько именно пятаков сердобольная дура из платочка развязывает. Сюжет, по-моему, тоже на редкость интересный! Тут, как видите, тоже обрел человек, стоя целыми годами возле бардаков, некое замечательное воззрение на мир, на жизнь и на людей!

— Затем — Ванюша Кувырок. Почему Кувырок? А потому, что кувыркался, ходил больше всего колесом. Изумительно! Мог хоть пять, хоть десять верст пройти таким манером. А к этому прибавьте его лик: морщинистый мальчик лет сорока, с хитренькими глазками и с распущенными женскими

волосами, впрочем, подрезанными, в силу того, что ходить колесом с длинными, конечно, неудобно. Знаменит был, между прочим, тем, что совершил паломничество в Киев с самой Матреной Макарьевной, богородицей всех московских юродиц, и притом паломничество не простое, а в некотором роде потрясающее: вообразите себе, что эта самая Матрена Макарьевна набрала в Киеве и повела за собой в Москву целых сто душ самых что ни на есть отборных по безобразию внешнему и внутреннему дур и дураков! Волосы на голове, сударь мой, зашевелиятся, как подумаешь, что это за орда шла со всяческим дреколием в руках и в подобающих ее сану одеяниях!

— И на этой картине позвольте пока и закончить. Думаю, что на первый раз довольно. Прибавлю еще только одного — Данилушку Коломенского. Этот вышел из семьи изуверски благочестивой, богатой и суровой, бил единственным сыном закоренелого раскольника, начетчика и фанатика, и стал юродом с раннего отрочества: запустил волосы, — заметьте эту удивительную черту, страсть к женским волосам! — скинул портки, надел

женскую рубаху, — о опять-таки женскую! — и стал обнаруживать свирепую жадность к деньгам, к игре в бабки и к пляске при виде покойников. Был он необыкновенно красив мрачной восточной красотой, и близорук до того, что его иначе и не звали, как слепая с..., играл же, однако, так, что вскоре прославился на весь уезд, равного себе в игре не знал: мог стать хоть за полверсты от кона и все-таки с одного маху срезать своей длинной рукой весь кон под гребенку. Играет, обыгрывает, — и богатеет. Бабки у него лежат уже целыми мешками и битки имеются такие, что за любой из них хороший игрок, знаток дела, готов был бы у попа в батраках три года служить. Играет, копит добро, торгует, меняет, а барыши где-то в землю закапывает; закапывает и то, что набирает на похоронах за свою пляску над покойниками. Довольно все странно, не правда ли? Дикая дылда, мрачный красавец с синими волосами по плечам, лето и зиму (даже в самые трескучие морозы) босой и в одной рубахе — и изо дня в день то играет, то бегаёт на похороны. Играет — как будто вполне нормален, только молчанием да видом от-

личается от прочих, а как только прослышит, что в слободе или в городе покойник — рысью в церковь, к отпеванию: врывается и до упаду бьется в буйнейшей пляске над гробом. Да что! Даже в Москву бегал, прослышав о смерти Семена Митрича, — осведомлены, вероятно, какова это среди юродов персона была? — и все затем, чтобы «отплясать его в царствие божие», а за пляску потуже набить кису подаяниями потрясенной толпы. Киса у него всегда на груди висела, и можете себе представить, как она гремела и звенела пятаками при его неистовом скакании и вихлянии!

— А в заключение — знаете, как он погиб? Был зверски растерзан своими согражданами за поджог церкви. Давно уже шло а слободе что-то странное: зачастили пожары, и совершенно неизвестно почему. Оказалось, что это Данилушка работал, что он новую страсть приобрел: поджигать. Отсюда и пошло: что ни ночь, то пожарище, и всегда на это пожарище первым является, несется в пляске Данилушка. Умирая, сам признался:

— Хотел всю Коломну пустить огнем по ветру, отплясать в царствие небесное...

27 июня 1924

Надписи

Вечер был прекрасный, и мы опять сидели под греческим куполом беседки над обрывом, глядя на долину, на Рейн, на голубые дали к югу и низкое солнце на западе. Наша дама поднесла лорнет к глазам, посмотрела на колонны беседки — они, конечно, сверху до низу покрыты надписями туристов — и сказала своим обычным медлительно-презрительным тоном:

— Чувствительный немец свято чтит эти узаконенные путеводителями «места с прекрасным видом», *schone Aussicht*. И считает непременно долгом расписаться: был и любовался Фриц такой-то.

Старичок-сенатор тотчас же возразил:

— Но позвольте скромно заметить, что тут есть фамилии и французские, английские, и русские, и всякие иные прочие.

— Все равно, — сказала дама. — «Сию станцию проезжал Иванов седьмой». И совершенно справедливая резолюция следующего проезжего: «Хоть ты и седьмой, а дурак»!

Все мы засмеялись, и, вспоминая некоторые крымские и кавказские места, особенно излюбленные расписывающимися Ивановыми, все более или менее блеснули остроумием над путешествующим обывателем, а старичок пожал плечом и сказал:

— А я думаю, господа, что ваше остроумие над пошлостью этого обывателя гораздо пошлее, не говоря уже о вашем бессердечии и — о лицемерии, ибо кто же из вас тоже не расписывался в том или другом месте и в той или иной форме? Расписывается (и будет расписываться во веки веков) вовсе не один Фриц или Иванов. Все человечество страдает этой слабостью. Вся земля покрыта нашими подписями, надписями и записями. Что такое литература, история? Вы думаете, что Гомером, Толстым, Нестором руководили не те же самые побуждения, что и седьмым Ивановым? Те же самые, уверяю вас.

— Ох, сколь вы привержены к парадоксам, вате высокопревосходительство, — сказала дама.

Но старичок продолжал:

— Говорят, что человек есть говорящее жи-

вотное. Нет, вернее, человек есть животное пишущее. И количеству и разнообразию человеческих надписей — если уж говорить только о надписях — положительно нет числа. Одни вырезаны, выбиты, другие начертаны, нарисованы. Одни собственной рукой, другие рукой наследников, внуков, правнуков. Одни вчера, другие десять, сто лет тому назад или же века, тысячелетия. Они то длинные, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмерно скромны, то пышны, то просты, то загадочны, то как нельзя более точны, то без всяких дат, то с датами, говорящими не только о месяце и о годе того или иного события, но даже о числе, о часе; они то пошлы, то изумительны по силе, глубине, поэзии, выраженной иногда в какой-нибудь одной строке, которая во сто раз ценнее многих и многих так называемых великих произведений словесности. В конце же концов все эти несметные и столь друг на друга непохожие человеческие следы производят разительно одинаковое впечатление. Так что, если уж смеяться, то следует смеяться надо всеми. В Риме в таверне написано: «Здесь ели и пили в про-

шлом столетии писатель Гоголь и художник Иванов», — далеко не седьмой, как изволите знать. А не сохранилось ли надписи на подоконнике в Миргороде о том, что в позапрошлом столетии некто кушал однажды с отменным удовольствием дыню? Весьма возможно. И, по-моему, между этими двумя надписями нет ровно никакой разницы...

— Мне вот сейчас пришло в голову, — продолжал он, — где я на своем веку бывал и какие надписи видел? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями на зеркалах в отдельных кабинетах ресторанов. Надписи клинописью. Надписи на колоколе в заштатном городе Чернаве, — имя, отчество и фамилия купца такой-то гильдии, создателя сего колокола. Гиероглифы на обелисках, на развалинах Карнакских капищ. Надписи на триумфальных цезарских арках. Каракули карандашом на голубце возле одного святого колодца в непролазной глуши Керженских лесов: «Поситили грешный Ефим и Прасковья». Надписи сказочно-великолепной вязью в мечети Омара, в Айя-Софии, в Дамаске, в Каире. Тысячи имен и инициалов на старых дере-

вьях и на скамейках в усадьбах и городах, в Орле и Кисловодске, в Царском Селе и в Оранде, в Нескучном и в Версале, в Веймаре и Риме, в Дрездене и Палермо. Больше же всего, конечно, эпитафий. Где? Опять-таки даже счесть трудно. На деревянных и каменных крестах, на всяческих мавзолеях, на гранитных и сикоморовых саркофагах, на пеленах мумий, на медных досках, на железных плитах, на урнах и стелах, на драгоценных шалах, покрывающих гробы халифов, на скользких полах средневековых соборов и на столбиках из песчаника. Я глядел на эти надгробные паспорта в степях и пустынях, на Чернавском погосте и на Константинопольских Полях Смерти, на Волковом кладбище и под Дамаском, где среди песков стоят несметные рогатые бугорки из глины в виде седла, в Московском Донском монастыре и в Иосафатовой долине под Иерусалимом, в Петропавловском соборе и в катакомбах на Аппиевой дороге, на берегах Бретани и в сирийских криптах, над прахом Данте и над могилой дочурки Фени в Задонске. А, есть отчего впасть в парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говори-

ли не о том. Вас, как и многих других, возмущают надписи вот вроде этих, то есть те, что вкривь и вкось покрывают развалины романтических замков и башен, внутренность вышки над куполом римского Петра, ворота на Байдарском перевале, верхушку пирамиды Хеопса, скалы в Дарьяльском ущелье и в Альпах, где они бьют в глаза издалека, пишутся запасливыми путешественниками красной и белой краской? Вас приводит в негодование проявление пошлости, обывательщины, как говорят в подобных случаях, — дерзость мещанина, прикладывающего свою руку всюду, где он ни ступит?

— В негодование я не прихожу, — сказала дама, — но что надписи эти в достаточной мере противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство, нынче в философском настроении и хотите высказать, очевидно, ту бесспорную истину, что все, мол, суета и что перед лицом господа бога совершенно равны и Данте, и какая-то Феня. Мол, река времени в своем теченье уносит все дела людей, то есть и Хеопса, Фрица, и Иванова первого, и Иванова тысячу семьсот семьдесят седьмого. Вы эту

Америку открыли? Да?

Но старичок только усмехнулся.

— Вы как нельзя более проникательны, мой старый друг, — ответил он. — За свою долгую жизнь я пришел к чудовищным выводам относительно человеческого ума и человеческой осведомленности насчет даже самых бесспорных истин и насчет возможности еще долго напоминать их без всякого риска. Кроме того, мне просто всегда очень нравились старые истины, с годами же я становлюсь прямо обожателем их, ибо ведь это только истерическим пороссятам из нынешних модернистов простительно думать, что мир лет десять тому назад стал совершенно неузнаваем по сравнению со всей предыдущей мировой историей. Было время, когда и я весьма немногим отличался от прочих. Прочие посягали на Иванова седьмого, а я смотрю, бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилон построил и Сезостриса, как говорится, на голову разбил, а дурак!» Ну, а теперь я снисходительнее отношусь и к Навуходоносору и к Иванову.

— И даже с нежностью, — сказала дама.

— И даже с нежностью, — подтвердил старичок. — Только, знаете, я даже и в былые времена был порою ей подвержен. Вот хоть бы это: «Посетили грешные». Помню, прочитал — и расчувствовался ужасно. Ах, до чего хорошо! Казалось бы, зачем они расписались? И что мне в этой Прасковье, в этом Ефиме? А вот хорошо, и прежде всего как раз потому, что это не Карл Великий, а именно какой-то никому неведомый Ефим, оставивший для меня, ему тоже неведомого, как бы частицу своей души в один из ее самых заветных моментов. А эти изодранные перстнями, точно паутиной покрытые зеркала в кабацких кабинетах? Неужели они никогда не трогали вас? Ведь вы только подумайте: там, где-то в зале, играла музыка, а некто пьяный слушал, плакал, думал, что нет в мире несчастнее его судьбы, нет выше его чувств, и повторял, что его «лебединая песня пропета», разрывал себе душу сладкими воспоминаниями о том будто бы счастье, которое будто бы было «когда-то». Пошлость, цыганщина? Но разве важно, отчето именно счастлив или несчастлив человек? Все слезы одинаковы, все они капли одной и

той же влаги! Да и не так уж отличен человек от человека, моя дорогая. Раз ты Иванов и я Иванов — в чем разница? В том, что ты седьмой, а я семнадцатый? Имя Иванова, написанное на могильном кресте, конечно, звучит иначе, чем тогда, когда оно написано на садовой скамейке или в ресторане. А ведь, в сущности, все человеческие надписи суть эпитафии, поелику касаются момента уж прошедшего, частицы жизни уже умершей.

— Меня коммивояжеры, счастливы они или нет, все-таки не умиляют, Алексей Алексеевич, — сказала дама.

— А в иной час, — возразил старичок упрямо, — мне черт с ним, что он коммивояжер, раз этот «иной час» есть час его великой скорби или радости. Нет, надписи на зеркалах меня ужасно всегда трогали! Трогали и инициалы на скамейках и деревьях, вырезанные тоже по случаю того, что когда-то «была чудесная весна» и «хороша и бледна, как лилея, в той аллее стояла она...» Тут опять то же самое: не все ли равно, чьи имена, чьи инициалы, — Гете или Фрица, Огарева или Епиходова, Лизы из «Дворянского гнезда» или ее гор-

ничной? Тут главное все-таки в том, что была «до ланит восходящая кровь» и заветная скамья, что «шиповник алый цвел» (и, конечно, отцвел в свой срок), что блаженные часы проходят и что надо, необходимо (почему, один бог знает, но необходимо) хоть как-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцветанию шиповника. Тут вечная, неустанная наша борьба с «рекой забвения». И что ж, разве эта борьба ничего не дает, разве она уже совсем бесплодна? Нет, тысячу раз нет! Ибо ведь в противном случае все пошло бы к черту — все искусства, вся поэзия, все летописи человечества. Зачем бы все это существовало, если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлым, бывшим? А оно существует! У людей три тысячи лет навертываются слезы на глаза, когда они читают про слезы Андромахи, провожающей с ребенком на руках Гектора. Я сорок лет умиляюсь, вспоминая умиление, с которым выводили свои каракули Ефим и Прасковья. И посему да здравствует во веки веков и Андромаха, и Праско-

вья, и Вертер, и Фриц, и Гоголь, и Иван Никифорович, полтора года лет тому назад скушавший в Миргороде дыню и записавший сие событие!

И, поднявшись со скамьи, старичок снял шляпу и, странно улыбаясь, потряс ею в воздухе.

28 июня 1924

Русак

Непроглядная метель, стекла окон залеплены свежим, белым снегом, в доме белый, снежный свет; и все время однообразно шумит за стенами, однообразно, через известные промежутки, скрипит и стонет сук старого дерева в палисаднике, задевающий крышу. Как всегда в метель, с особой отрадой чувствую старину, уют дома.

Вот в прихожей хлопнула дверь, слышно, как Петя, вернувшийся с охоты, топает валенками, отряхивается от снега, затем мягкими шагами проходит через залу к себе. Я встаю и иду в прихожую, С полем или нет?

С полем.

На лавке в прихожей, растянувшись, вы-

кинув передние лапки вперед, а задние назад, лежит уже выбелившийся русак. Гляжу на него, трогаю его и с изумлением и с восторгом.

Он лобастый, с большими и выпученными, глядящими назад стекловидными глазами, золотистыми внутри и ничуть еще не померкшими, — все такими же бессмысленно блестящими, как и при жизни.

Но вся его тяжелая тушка уже каменно тверда и холодна.

Каменны туго вытянутые лапки и жесткой шерстке. Туго завернут серо-коричневый мохор хвостика. И на торчащих кошачьих усах, на раздвоенной верхней губе — запекшаяся кровь.

Чудо, дивное чудо!

Час тому назад, всего час тому назад, шевеля этими усами, прижав вот эти длинные уши и чутко, зорко кося за спину стеклом глаз, золотистых внутри, он лежал в мерзлой ямке под сугробом в поле, наполняя эту ямку своим жарким теплом, блаженствуя в буйном дыму вьюги, которая со всех сторон дула, заносила его снегом. Внезапно открытый и под-

нятый собакой, он дал от нее такого стрекача, головокружительную красоту которого не выразить никаким человеческим словом. И как жарко и дико колотилось его обезумевшее, оглушенное выстрелом сердце, когда порывисто оборвался его бег, а Петя крепко поймал его за уши, и каким пронзительным, младенческим воплем ответил он на то последнее, что вдруг ощутил он, — острый огонь кинжала, глубоко пронзивший ему горло...

Нет слов выразить то непонятное наслаждение, с которым я чувствую и эту гладкую шкуру, и закаменевшую тушку, и самого себя, и холодное окно прихожей, занесенное, залепленное свежим, белым снегом, и весь этот вьюжный, бледный свет, разлитый в доме.

19 августа. 1924

Книга

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печальями, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовою! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми

глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, — особенно к югу, — еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет

на свете, то есть совершает нечто самое непо-
стижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло,
смолкло, даже петухов не слышно. Одна она
поет — не спеша выводит игривые трели. За-
чем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни,
которой сто лет живет сад, усадьба? А может
быть, это усадьба живет для ее флейтового пе-
ния?

«На своей девочке куст жасмину посадил».
А разве девочка об этом знает? Мужу ка-
жется, что знает, и, может быть, он прав. Му-
жик к вечеру забудет об этом кусте, — для ко-
го же он будет цвести? А ведь будет цвести, и
будет казаться, что недаром, а для кого-то и
для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А
зачем выдумывать? Зачем героини и герои?
Зачем роман, повесть, с завязкой и развяз-
кой? Вечная боязнь показаться недостаточно
книжным, недостаточно похожим на тех, что
прославлены! И вечная мука — вечно мол-
чать, не говорить как раз о том, что есть ис-
тинно твое и единственно настоящее, требу-
ющее наиболее законно выражения, то есть

следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

20 августа 1924

Митина любовь

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под ру-

ку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

— Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружески ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

— Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помещались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

— Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? — спросила Катя.

— Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и

консерваторий, из театральных школ, — ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. — Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

— Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, — сказала Катя. — Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, — сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, — может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! — Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? — негромко и настойчиво спросила она, уже с деланной обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала:

*Меж нами дремлющая тайна.
Душа душе дала кольцо...*

Это последнее, эти стихи уже совсем боль-

но задела Митю. Вообще, многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, — Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это, как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана

несколько вещей Скрыбина, она между прочим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

— Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама — ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но

Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом, — когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, — морозный, погожий, день заднем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая — подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с пер-

вой. И все же ничего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали — то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее; внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: «Ты гордость моей школы», — он всем своим ученикам говорил «ты» — и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней постом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал

учениц, каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходить в голову, что теперь директор имеет виды на Катю, которая хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

— Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщи-

нах по Домострою. И из вас выйдет совершенный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

— А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

— Нет, мама, — сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова, — ревность это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, — сказала она, нарочно не глядя на Митю.

— А по-моему, — возразила мать, — ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы,

Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось, — все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и, прежде всего, именно ее, а не воображаемого соперника

III

В день экзамена Кати, который состоялся

наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пущей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

— Поменьше читки, — говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью. — Не играй, а переживай, — говорил он раздельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке,

которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось корочке, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. «Девушка пела в церковном хоре», — с деланной, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, — как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, — и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила:

— Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала-то так хорошо только для тебя одного!

Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

— Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?

Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности.

— Ты любишь только мое тело, а не душу! — горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужие, театраль-

ные слова, но они, при всей их вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще — любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была непохожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности?

IV

Она все больше менялась.

Успех на экзамене много значил. И все-та-

ки были на то и какие-то другие причины.

Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала, — теперь она не приходила, а всегда приезжала, — когда она, шурша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидания, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе.

— Понимаешь, франтим напропалую! — говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома, — опять надо к кому-то с мамой! — она неиз-

менно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его «глупые», как она выражалась, мучения: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шепотом:

— Ну, целуй же меня!

V

И в конце апреля Митя наконец решил дать себе отдых и уехать в деревню.

Он совершенно замучил и себя и Катю, и мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее: что в самом деле случилось, в чем виновата Катя? И однажды Катя, с твердостью отчаяния, сказала ему:

— Да, уезжай, уезжай, я больше не в силах! Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неужи-

данно вернулось все прежнее. Ведь он все-таки страстно не хотел верить ничему тому ужасному, что ни днем, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. А Катя опять стала нежна и страстна уже без всякого притворства, — он чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых натур, — и опять стал он сидеть у нее до двух часов ночи, и опять было о чем говорить, и чем ближе становился отъезд, тем все нелепее казалась разлука, надобность «выяснить отношения». Раз Катя даже заплакала, — а она никогда не плакала, — и эти слезы вдруг сделали ее страшно родною ему, пронзили его чувством острой жалости и как будто какой-то вины перед ней.

Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре. Митя тоже должен был приехать в Мисхор.

И он собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве в том странном опьянении, которое бывает, когда человек еще бодро держится на ногах, но уже болен

какой-то тяжелой болезнью. Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати, ее заботливостью к нему, — она даже ходила с ним покупать дорожные ремни, точно она была его невеста или жена, — и вообще возвратом почти всего того, что напоминало первое время их любви. И так же воспринимал он и все окружающее, — дома, улицы, идущих и едущих по ним, погоду, все время по-весеннему хмурившуюся, запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится (хотя он и не знал, что именно все).

В день отъезда зашел проститься Протасов. Среди гимназистов старших классов, среди студентов нередко встречаются юноши, усвоившие себе манеру держаться с добродушно-угрюмой насмешливостью, с видом человека, который старше, опытнее всех на свете. Таков был и Протасов, один из ближайших приятелей Мити, единственный насто-

ящий друг его, знавший, несмотря на всю скрытность, молчаливость Мити, все тайны его любви. Он глядел, как Митя завязывал чемодан, видел, как тряслись его руки, потом с грустной мудростью ухмыльнулся и сказал:

— Чистые вы дети, прости господи! А за всем тем, любезный мой Вертер из Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнейшее женское естество и что сам полицеймейстер ничего с этим не поделает. Ты, естество мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстинкта продолжения рода, и, конечно, все сие совершенно законно, даже в некотором смысле священо. Тело твое есть высший разум, как справедливо заметил герр Ницше. Но законно и то, что ты на этом священном пути можешь сломать себе шею. Есть же особи в мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собственного существования за свой первый и последний любовный акт. Но так как для тебя этот штат, вероятно, не совсем уж обязателен, то смотри в оба, поберегай себя. Вообще, не спеши. «Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!» Свет

не лыком шит, не клином на Кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен, что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошенный совет — и да хранит тебя Никола-угодник со всеми присными его!

А когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел, Митя, затягивая в ремни подушку и одеяло, услышал в свое открытое во двор окно, как загремел, пробуя голос, студент, живший напротив, учившийся нению и упражнявшийся с утра до вечера, — запел «Азру». Тогда Митя заспешил с ремнями, застегнул их как попало, схватил картуз и пошел на Кисловку, — проститься с матерью Кати. Мотив и слова песни, которую запел студент, так настойчиво звучали и повторялись в нем, что он не видел ни улиц, ни встречных, шел еще пьянее, чем ходил все последние дни. В самом деле было похоже на то, что свет клином сошелся, что юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться! Ну, что ж, сошелся так сошелся, думал он и опять возвращался к песне о том, как, гуляя по саду и «красой своей сияя», встречала дочь султана в саду черного невольника, ко-

торый стоял у фонтана «бледнее смерти», как однажды спросила она его, кто он и откуда, и как ответил он ей, начав зловеще, но смиренно, с угрюмой простотой:

Зовусь Магометом я... —

и кончив восторженно-трагическим воплем:

*— Я из рода бедных Азров,
Полюбив, мы умираем!*

Катя одевалась, чтобы ехать на вокзал провожать его, ласково крикнула ему из своей комнаты, — из комнаты, где он провел столько незабвенных часов! — что она придет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно посмотрела на него, — она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась. Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную и дряблую руку, по-сыновьи склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила.

— Эх, милый, — с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова, — живите-ка сме-

сь! Ну, Христос с вами, поезжайте, поезжайте...

VI

Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кризную извозчичью пролетку при помощи коридорного, он наконец неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде, — кончен (и навсегда) известный срок жизни! — и вместе с тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конец, прощай Москва и все, что пережито в ней! Накрапывало, хмурилось, в переулках было пусто, булыжник был темен и блестел, как железный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью и то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона, а все же была весна, весенний запах воздуха. Но вот наконец доехали, и Митя бегом кинулся за носиль-

щиком по людному вокзалу, на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков, с грохотом и предупреждающими покрякиваниями кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидел то, что, «красой своей сияя», одиноко стояло вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок, — на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его, она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты:

— Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!

А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьеклассного вагона, уже битком набитого и вонючего. Все в ней было прелестно, — ее милое, хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью, ее вверх поднятые сияющие гла-

за, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность, и даже ее темно-серый костюм, в котором Митя с обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки. Он стоял худой, нескладный, на дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. И все-таки Катя смотрела на него непритворно любящим и грустным взглядом. Третий звонок так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона как безумный, и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад, в вагон, сквозь слезы замахал ей картузом с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла все быстрее, ветер все сильнее трепал волосы высувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей, — и вдруг точно сорвало и ее, и конец платформы...

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле, — в полях весна была еще ранняя, — шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя в фонари свечи, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшийся на его губах, все еще весь пылал острым огнем последнего мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет, — есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки — разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях — все любовь, все душа, и все мука, и все несказанная радость.

Утром был Орел, пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридцатое царство, центром которого была Катя, теперь такая как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно! Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевой дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее... Поезд из Орла шел не спеша, Митя не спеша ел тульский печатный пряник, сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и умотал, усыпил его.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять задремал, — глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотанье

поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, — особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу, — и поезд со стуком стал переходить на другой путь... Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, ждущий барчука на платформе!

Сумерки и тучи все сгущались, пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие, — с Благовещенья добрые люди не вздувают огня, — и как хорошо в этом темном и теплом степном мире! Тарантас нырял по ухабам, по грязи, дубы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из

древности мужик: босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах... И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно, — Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки.

VIII

В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету.

Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не тре-

бующее большой дворни, — жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, — староста, как называли его на дворе, — часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, — она была окнами в сад, на восток, — и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на бал-

кон, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеем, как бы далеким, отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки:

— Идите кушайте чай, мамаша еще до свету уехали на станцию со старостой, вы небось и не слышали...

И тотчас же Катя властно напомнила о себе: Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра.

И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее, по мере того как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту,

обыкновенную, Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.

IX

Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде, а главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего втайне ждало все его существо с детства, с отрочества.

Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в чем нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть, тоже весной, в саду, возле кустов сирени, — запомнился острый запах шпанских мух, — он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной, — вероятно, с своей нянькой, — и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом, — не то лицо ее, не то сарафан на полной груди, — и что-то горячей волной прошло, взыграло в нем, истинно как дитя во чреве матери... Но то было как во сне. Как во сне было и все, что было потом, — в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не

похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его детские праздники, тайное жадное любопытство к каждому движению этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было (это уже позднее, в губернском городе) длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерам на дереве за забором соседнего сада: ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик — все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера, грустил, порою даже плакал, неутолимо что-то желая от нее. Потом и это как-то само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие, — и опять-таки сокровенные, — восхищения, были острые радости и горести внезапной влюбленности на гимназических балах... были какие-то томления в теле, в сердце же смутные предчувствия, ожидания чего-то...

Он родился и вырос в деревне, но гимнази-

стом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда он, приехав в деревню на масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел: вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи... вот послеобеденный час на другой день: солнце за домом, с другой его стороны, а в окне уже до голубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев... а вот, еще через день, в облачном небе такие яркие прогалины, и на коре деревьев такой мокрый блеск, и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не нагладисься... После пошли теплые туманы, дожди, снег распустило и съело в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обнажаться и в саду и на дворе земля... И надолго запомнился Мите один день в конце марта, когда он в первый раз поехал

верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светилось в бледных, в бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дики и рыжи, а там, где пахали, — уже пахали под овес, — маслянисто, с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жнивьям и взметам к лесу и издалека видел его в чистом воздухе, — голый, маленький, видный из конца в конец, — потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, палевой, местами мокрой, коричневой, переехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смутло-золотые вальдшнепы... Чем была для него вся эта весна и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, одолевавшая насыщенные влагой жнивья и черные пашни, так шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во

что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок в мире. Но каким далеким казалось ему это время теперь! Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный, просто-сердечный, бедный своими скромными печалью, радостями и мечтаниями! Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая.

Х

Только раз в это первое время напомнила о себе Катя зловеще.

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно, — то, что так

неожиданно и страшно огласило сад? Сыч, лесной пугач, совершающий свою любовь, и больше ничего, думал он, а весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело — и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клетчат с мучительным наслаждением, стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истомным воплем, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождав возобновления этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой — и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.

Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале... Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда... Потом написал особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной боро-

дой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, — и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц — и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, — все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестная стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался — или мнилось — в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Такое же наваждение, — только совсем другого порядка, — испытывал Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, — дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.

XI

Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на

грязную речку в лугах, на деревню на косо-
горах за речкой: еще с утра до вечера, неустан-
но, изнемогая от блаженной хлопотливости,
так, как орут они только ранней весной, ора-
ли грачи в голых вековых березах в соседнем
помещичьем саду, и еще дик, сер был вид де-
ревни на косогорах, и только еще одни лози-
ны покрывались там желтоватой зеленью...
Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, про-
зрачен, — только зеленели поляны, все ис-
пещренные мелкими бирюзовыми цветочка-
ми, да опушился акатник вдоль аллей и блед-
но белел, мелко цвел один вишенник в лощи-
не, в южной, нижней части сада... Он выхо-
дил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще
щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и
фиолетовы были высохшие полевые дороги...
И все это была нагота молодости, поры ожи-
дания — и все это была Катя. И это только так
казалось, что отвлекают девки-поденщицы,
делающие то то, то другое в усадьбе, работни-
ки в людской, чтение, прогулки, хождение на
деревню к знакомым мужикам, разговоры с
мамой, поездки со старостой (рослым, грубым
отставным солдатом) в поле на беговых дрож-

ках...

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящи-

ми вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, — участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.

XII

И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу — уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей, — и ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, — так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» — читал и перечитывал

он — и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов — и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам...

Домой он шел медленно — чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.

XIII

Сад разнообразно одевался.

Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, — оделся свежей, густой зеленью.

Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядой.

А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного сливочного цвета.

И все это: огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, — кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, — все поражало своей густотой, свежестью и новизной.

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей — по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому раз-

нообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.

Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку... Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла, — он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, — о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и

мучил себя, читая и перечитывая:

*Люди спят, мой друг, пойдём в
тенистый сад!
Люди спят, одни лишь звезды к
нам глядят...*

Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными, обращены были теперь как будто только к одной, к той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно:

*Над зеркальными водами
Машут лебеди крылами —
И колышется река:
О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...*

Он, закрывая глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом, — и горько качал головой. Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в

чужом и далеком московском мире! — И опять отливала от сердца нежность — опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклинаящее:

*О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...*

XIV

Однажды, подремав после обеда, — обедали в полдень, — Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними, — это уже входило в привычку.

День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего

на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее и слаще. И все душистое тепло этого весеннего мая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая, по-дневному, то там, то здесь цокал то один, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со середины аллеи на них, — нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только увидела его, дико захохотала и закричала.

— Ой, хозяин идет! — закричала она с притворным испугом и, соскочив с толстого сука груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате.

Другая девка, Глашка, сделала, напротив, вид, что совсем не замечает Митю, и, не спе-

ша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный ломоть, громко запела сильным и приятным голосом: «Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь!» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, с деланной развязностью и веселостью спросила:

— Ай только встали? Смотрите, дела не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила что попало, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил и уходил, не простая. Она подозревала, что Митя живет с Парашей или, по крайней мере, домогается этого, она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко, глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло

Мите странное удовольствие. Письма не было и не было, он теперь не жил, а только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании, все более томясь этим ожиданием и невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны: ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томила его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит, отчасти близка ему, что делало ее как бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась его тайны: «Смотрите, дела не проспите!» Он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепной синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь свет-

лая от солнца, всюду проникавшего ее, составляла по всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожки, на поляны; жаркий и душистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым, сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя, против воли улыбаясь, спросил Соньку:

— Какое же дело я могу проспять? То-то и горе, что у меня и дел-то никаких нету.

— Молчите уж, не божитесь, и так поверю! — крикнула Сонька в ответ весело и грубо, опять своим недоверием к отсутствию у Мити любовных дел доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего, с белой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади и стал жевать оборку ее ситцевого платья:

— Ах, омок тебя возьми! Вот еще сыночка бог послал!

— Правда, говорят, за тебя сватаются? — сказал Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговор. — Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не

слушаешься...

— Богат, да дурковат, а в голове рано смеркается, — бойко ответила Сонька, несколько польщенная. — У меня, может, об другом об ком думки идут...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

— Уж и несешь ты, девка, и с Дону и с моря! — негромко сказала она. — Ты тут брешешь что попало, а по селу слава пойдет...

— Молчи, не кудахтай! — крикнула Сонька. — Авось я не ворона, есть оборона!

— А о ком же это о другом у тебя думки идут? — спросил Митя.

— Так и призналась! — сказала Сонька. — Вон в вашего деда-пастуха влюбилась. Увижу, так до пят горячо! Я, не хуже вашего, все на старых лошадях езжу, — сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилетнюю Парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно бросив лопату, со смелостью, на которую она как будто имела некоторое право вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых

грубых полсапожках и в шерстяных пегих чулках и беспомощно уронила руки.

— Ох, ничего не делала, а утомилась! — крикнула она, смеясь. — Сапоги мои худые, — пронзительно запела она, —

*Сапоги мои худые,
Носки лаковые, —*

и опять закричала, смеясь:

— Пойдемте со мной в салаш отдыхать, я на все согласная!

Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее — он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни:

*Вижу, роза, — счастья сила
Яркий свиток свой раскрыла
И увлажила росой —
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной...*

— Не трожьте меня! — закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и

отбросить его голову. — А то так закричу, все волки в лесу завоюют! У меня ничего для вас нету, горело, да потухло!

Митя закрыл глаза и молчал. Солнце, дробясь через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы, — «чисто у лошади!» — крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги, — самое страшное в мире, женские ноги! — касался им ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей; томное цоканье соловьев вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потом гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» — и так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка, а желание Кати и желание, требование, чтобы

она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье, охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими шагами зашагал прочь.

Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной ответственностью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится и что он погиб, пропал!

XV

В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. «Она права, — подумал он, — глаза у меня если и не византийские, то, во всяком случае, сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?»

Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся:

— Верно, влюбились, все в зеркало смотрите, — с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в руках на балкон.

— Вас мама искали, — прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Все знают, все догадываются!» — подумал Митя и через силу спросил:

— А где она?

— У себя в комнате.

Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты бересклета под ними блестели тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, сиял скатертью. Осы висели над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не

менее других понимает его положение, и чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжких тайн на душе, Митя пошел из зала в коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя. В коридоре было сумрачно, в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами, на запущенном цветнике перед входом в главную аллею, лежала широкая тень, за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад. Не глядя на весь этот давно привычный вид, опустив глаза в очках на вязанье, Ольга Петровна, крупная и сухощавая, черная и серьезная сорокалетняя женщина, сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крючком.

— Ты спрашивала меня, мама? — сказал Митя, входя и останавливаясь у порога.

— Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я

ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя, — ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно, не в меру спокойно.

Митя вспомнил, как девятого марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнил тайное очаровательное замечание, которое, несомненно, было в ее словах... Он неловко пробормотал:

— Но ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?

— Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то заскучал последние дни, — сказала Ольга Петровна. — Может, проехался бы куда-нибудь... к Мещерским, например... Полон дом невест, — прибавила она, улыбаясь, — и вообще, по-моему, очень милая и радужная семья.

— Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу, — с трудом ответил Митя. — Но пойдем чай пить, там так хорошо на балконе... Там и поговорим, — сказал он, отлично зная, что мама, по своему проницательному уму и по своей сдержанности, не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.

На балконе они просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте, — у Ани опять передержка в августе! Митя слушал, порою отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы, — что опять он как будто пьян от какой-то тяжелой болезни.

А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат, слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной розовой звездой над пей; на этой синеве картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду. А он шагал и шагал, уже совсем не заботясь о том, как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли в голове.

С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему. Катя стала уже истинным наваждением; Катя была теперь во всем и за всем уже до нелепости, а так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити, уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти, отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему, Мите, то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно.

По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо-тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости песен, в их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная луна низко

стояла над садом, и неизменно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз как он открывал глаза и взглядывал на луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый: «Катя!» — и с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, напомнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным! А порою он просто ничего не видел: желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил бога — и, увы, всегда напрасно! — увидеть ее вместе с собой, вот на этой постели, хоть во сне. Однажды зимой он был с ней в Большом театре на «Фаусте» с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна, зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполнен-

ные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющися далеко внизу под маханье капель-мейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные, «Жил, был в Фуле добрый король...» Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.

А днем он спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие. Перепадали дожди, пробегали грозы и ливни, и опять сияло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спешную работу в садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зе-

ленные недра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей — их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов. И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях.

Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную.

Раз, перед вечером, он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно-мрачная, ши-

рокая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом, — только одни соловьи гремели из конца в конец парка, — так сладко пахло и елями и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом, и такое великое — чье-то чужое, давнее — счастье почувствовалось Мите во всем этом и так страшно явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе, среди кустов жасмина, Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух, на всю аллею:

— Если через неделю письма не будет, — застрелюсь!

XVII

На другой день он встал очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые

печатью, и тупо думал: «Ехать или нет на почту?»

Было жарко, белые бабочки парами вились друг за другом над горячей травой, над стеклянно блестящим бересклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя: «Ехать или разом оборвать эти постыдные поездки?»

Из-под горы, в воротах, показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал:

— Доброго утра! Все читаете?

И усмехнулся, оглянулся кругом.

— Мамаша спят? — спросил он негромко.

— Думаю, что спит, — ответил Митя. — А что?

Староста помолчал и вдруг серьезно сказал:

— Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живете? Ай мало баб, девок?

Митя не отозвался и опустил глаза на книгу.

— Ты где был? — спросил он, не глядя.

— Был на почте, — сказал староста. — И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.

— Почему же «конечно»?

— Потому, что, значит, еще пишут, не дописали, — ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. — Пожалуйте получить, — сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.

«Застрелюсь!» — подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.

XVIII

Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба,

Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там — Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно-белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы — и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, слепящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья...

Он это понимал, но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше? Именно это-то и было непосильно — то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного.

Вот он просыпался утром, и первое, что ударяло ему в глаза, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви — там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те

же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теплый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор — и где было взять сил перенести его, такой близ-

кий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?

В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услышал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-то тройку, — в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: «Катя!» Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки — с цветом ее вуали... А когда он, при заходящем

солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечереющей тени, он вдруг увидел Катю, сходявшую, во всем расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно утерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, — в этот же вечер ее преобразование достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.

XIX

И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унизи-

тельные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, — с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание, — и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих «более счастливых соперников» от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадет, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без усталости твердить себе; «Все равно, пусть будет что будет!»

И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди, — он правил, — а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, кото-

рый крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то на прыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть сигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал:

— Вот вы тогда, барчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянках, да ведь она не уйдет, на все время надо знать.

Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой:

— Да никого что-то нету на примете...

— Как так? — сказал староста. — Сколько баб, девок!

— Девки только манят, — ответил Митя, стараясь говорить в тон старосте. — На девок надежда плохая.

— Не манят, а обращенья вы не знаете, — сказал староста уже наставительно. — И опять же скупитесь. А сухая ложка рот дерет.

— Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное, — ответил вдруг Митя

бесстыдно.

— А не станете, все и будет в лучшем виде, — сказал староста, закуривая, и продолжал как бы несколько обиженно: — Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну: скучает барчук! Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слышал. Другим, к примеру, что барская скотина? Сыта — хорошо, нет — черт с ней. А у меня того нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам говорю; мне как хотите, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже стал думать, что староста выпивши, но староста вдруг бросил обиженно-задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо:

— Да вот чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молоденькая, муж на шахтах... Только и ей, конечно, надо какой-нибудь пустяк сунуть. Ну, истратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощенье, два — на руки. Ну, мне на табачишко сколь-

ко-нибудь...

— За этим дело не станет, — ответил Митя, опять против воли. — Только про какую Аленку ты говоришь?

— Понятно, про лесникову, — сказал староста. — Да ай вы ее не знаете? Невестка нового лесника. Вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели... Я тогда прямо же подумал: вот бы нашему барчуку в самый раз! Всего второй год замужем, ходит чисто...

— Ну и что же, — ответил Митя, усмехаясь, — ну вот и устрой.

— Тогда я, значит, буду стараться, — сказал староста, берясь за вожжи. — Я, значит, на днях попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду оправлять будет, вот вы и приходите в сад... А книжка эта никогда не уйдет, авось еще в Москве начитаетесь...

И тронул лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали, Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то

дикое неожиданное, нелепое и вместе с тем такое, отчего по всему телу проходило знобящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечернем солнце с детства знакомая колокольня.

XX

Девки за худобу звали Митю борзым, он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода, — курчавится только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странно и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо.

В одиннадцатом часу он медленно, стараясь придать себе немного скучающий, от нечего делать гуляющий вид, пошел в сад.

Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, над крышами каретного сарая и скотного двора и над той частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня,

стояла аспидная муть. Да и все было тускло, в воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом, с юго-востока, дуло слабым горячим ветром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки.

Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным, приятно-вонючим навозом, который работники от времени до времени подвозили со скотного двора через аллею, — аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девочек было штук шесть. Соньки уже не было, — ее таки просватали, и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще жиденских девчонок, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая как будто еще суровее и мужественнее, — и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его, как

молния, поразило неожиданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было, — или только почудилось ему, — в Аленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел. Потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее глаз.

Она была тоже невелика, подвижна. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой (белой с красными крапинками) ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом, в такой же юбке, в розовом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых (или, вернее, во всей ее маленькой легкой ноге) было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то детским. И головка у нее была невелика и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих, стояла на валу, поставив правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке с рваной подкладкой и

курил. Митя подошел — он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке.

— Садитесь, Митрий Палыч, закурьте, — сказал он дружески и небрежно.

Митя бегло, исподтишка глянул на Аленку, — очень хорошо освещал ее лицо ее розовой платочек, — сел и, опустив глаза, стал закуривать (он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурил). Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены.

— Ну, да тебя не перебрежешь, — сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности. — Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хотят

слово сказать.

Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места.

— Иди, говорю, дура! — сказал староста.

И, подумав мгновенье, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пиджаке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила:

— А правда вы, барчук, с бабами не живете? Как дьячок какой?

— А ты почему знаешь, что не живут? — спросил староста.

— Да уж знаю, — сказала Аленка. — Слышала. Нет, они не могут. У них в Москве есть, — вдруг заиграв глазами, сказала она.

— Подходящих для них нету, вот и не живут, — ответил староста. — Много ты понимаешь в их деле!

— Как нету? — сказала Аленка, смеясь. — Сколько баб, девок! Вон Анютка, — чего лучше? Анютк, поди сюда, дело есть! — крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая в спине, короткорукая, обернулась, — лицо у нее было миловидное, улыбка добрая и приятная, — что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуще.

— Говорят тебе, поди! — еще звончей повторила Аленка.

— Нечего мне ходить, не заучена я этим делам, — пропела Анютка радостно.

— Нам Анютка не нужна, нам надо почище, поблагороднее, — наставительно сказал староста. — Мы сами знаем, кого нам надо.

И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела.

— Нет, нет, нет, — ответила она, скрывая смущение улыбкой, — лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку, — Настьку, она тоже чисто ходит, в городе жила...

— Ну будет, молчи, — неожиданно грубо сказал староста. — Занимайся своим делом, побрехала, и будет. Меня и так барыня ругают, говорят, они у тебя только охальничают...

Аленка вскочила — и опять с необыкновенной легкостью — взялась за вилы. Но ра-

ботник, сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: «Завтракать!» — и, задергав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком.

— Завтракать, завтракать! — на разные голоса закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками и сбегаясь под ельник к своим узелкам.

Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

— Ну, завтракать так завтракать...

Девки, пестрея под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к Анютке, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной

улыбки, с силой оттолкнула ее (Аленка, давась смехом, повалилась головой к себе на колени) и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом:

— Дура! Чего гогочешь без дела? Какая радость?

— Пойдемте от греха, Митрий Палыч, — сказал староста, — ишь их черти разбирают!

XXI

На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.

Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.

Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. «Мама уж ушли, — ласково упрекнула его Параша, — а вы как татарин какой...»

В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном, налево.

Митя пошел через сад.

Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестящее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон колоколов, как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцевитые черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнообразных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так живо вспомнилось

все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.

«В самом деле, поеду к Мещерским», — подумал вдруг Митя.

Но тут он поднял глаза — и в двадцати шагах от себя увидел как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья.

Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо.

XXII

Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму — Аня и Костя извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.

После обеда он навзничь лежал на плете-

ном диване на балконе, закрыв глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух. Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо: согласна ли она, и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кончено? Что ему вообще теперь делать?

— Барчук! — раздался вдруг негромкий голос возле балкона. — Барчук, вы спите?

Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубаше, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное.

— Барчук, едемте скорей в лес, — зашептал он. — Я барыне сказал, что мне нужно пови-
даться с Трифоном насчет пчел. Едемте ско-
рей, пока они почивают, а то ну-ка проснутся
и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить
Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я
исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выхо-
дите скорей, я уж запряг...

Митя вскочил, пробежал лакейскую, схва-
тил картуз и быстро пошел к каретному са-
раю, где стоял запряженный в беговые дрож-
ки молодой горячий жеребчик.

XXIII

Жеребчик прямо с места вихрем вынес за
ворота. Против церкви на минуту остано-
вились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку
водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выезде, у которой стоя-
ла наряженная и не знавшая, что делать,
Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул
ей что-то и с хмельным, бессмысленным и
злым удальством крепко передернул вожжа-
ми, хлестнул ими по крупу жеребчика. Же-
ребчик еще надал.

Митя, сидя и подскакивая, держался изо

всех сил. В затылок ему приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...

Через четверть часа были уже в лесу и все так же шибко, стучаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от солнечных пятен и несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразил горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.

Слезли, привязали жеребчика к сухому,

опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.

В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь, — утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сели и стали закуривать.

— А где ж Трифон? — спросил староста.

— Отдыхает в клети, — сказала Федосья, — я сейчас пойду его покличу.

— Идет дело! — шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.

Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко, — казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: «Что я делаю? Я с ума схожу!» Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роко-

вой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая мысль: «А где же она спит? Вот на этих нарах или в клетке?» Конечно, в клетке, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клетке без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной шепот, а она спит...

XXIV

Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию, — и немедленно вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой

серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье, — она с удовольствием вытянула чашку до доньшка, — и, наконец, налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.

Трифон довольно быстро захмелел, однако не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжело отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта — рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, — Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.

— Сейчас, сейчас, успеется! — хмуро и нагло отозвался староста. — Мне еще надо вам

словечко по секрету сказать.

— Ну вот дорогой и скажешь, — сказал сдержанно, но еще строже Митя. — Едем.

Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:

— А я вам говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мне на минутку...

И, тяжело поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы.

Митя вышел за ним.

— Ну, в чем дело?

— Молчите! — таинственно прошептал староста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

— Об чем молчать?

— Молчите!

— Я тебя не понимаю.

— Молчите! Наша будет! Верное слово!

Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?

В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое,

погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.

— Ау! — протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами. — Ау!

Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес опускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глядела на него удивленными глазами.

— Что ты тут делаешь? — спросил Митя негромко.

— Маруську нашу с коровой ищу. А что? — ответила она тоже негромко.

— Что ж, придешь, что ли?

— Что ж мне даром ходить? — сказала она.

— Кто ж тебе сказал, что даром? — спросил Митя уже почти шепотом. — Об этом не беспокойся.

— А когда? — спросила Аленка.

— Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

— Я завтра пойду к матери овцу стричь, — сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей. — Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хотите, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите, — даром я не согласна... Это вам не Москва, — сказала она, засмеявшимися глазами глядя на него снизу, — там, говорят, бабы сами плотят...

XXV

Возвращались безобразно.

Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста так напил-ся, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не ускакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядет-ся, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над по-

лями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние, мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло одно: завтра вечером!

Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся, — приедут, побегут вечером в сад, могут побежать к шалашу, в лощину... Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...

— Ты поедешь встречать? — спросила Ольга Петровна.

Он почувствовал, что бледнеет.

— Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...

— Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...

— Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрела на него.

— Ты здоров?

— Совершенно, — сказал Митя почти грубо. — Я только спать очень хочу...

И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.

Ночью он услышал отдаленную, медлительную музыку и увидел себя висящим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистой, все ярче, все многлюднее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело в ней: «Жил, был в Фуле добрый король...» Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул.

XXVI

День казался бесконечным.

Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валившийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный, летний, атласный шум

солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уж бесконечно далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. «К черту! — подумал он с раздражением. — К черту весь этот поэтический трагизм любви!»

Он с возмущением вспомнил свое намерение застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Аленке, весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе, — уже запрягли тарантас на станцию, — все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая,

даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» — послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса... «Ах, да когда же все это кончится!» — пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покотившегося под гору экипажа, стали глоснуть...

Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В зале было пусто и светло от ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет растворенных молчаливых комнат — в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом заглянул в лакейскую, нет ли там Параша. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз, пробежал назад, в свою

комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и сирени.

XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же показалось, что он еще никогда в жизни, — за исключением, может быть, раннего детства, — не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все пахло — кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльник, цветы, трава, земля...

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: «А вдруг она обманет, не придет?» — теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка, — уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то

возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев, высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в лощину, но не к шалашу, — к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь, то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.

Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет. Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но стран-

но — как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно. А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно — это биение. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло — и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу — и увидал, что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение — и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканой шерсти, и он увидал ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку.

Под рубахой стояли ее девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава — округлые руки. И все в ней, от небольшой головки, покрытой желтым платочком, и до маленьких босых ног, женских и вместе с тем детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до сих пор только наряженной, впервые увидавший ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнул.

— Ну, скорее, что ли, — весело и воровски прошептала она и, оглянувшись, нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.

Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук, поспешил запустить руку в карман — ноги его были напряжены, тверды, как железо, — и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял ее за шею, не зная, что делать, — надо ли целовать или нет. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, — все было до головокружения хорошо, и Митя пони-

мал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Он лег рядом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно смеясь, она поймала ее и потянула вниз.

— Никак нельзя, — сказала она не то в шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цепко держала ее своей маленькой рукой, глаза ее смотрели в треугольную раму шалаша на ветви яблонь, на уже потемневшее синее небо за этими ветвями и неподвижную красную точку Антаре-са, еще одиноко стоящую в нем. Что выражали эти глаза? Что надо было делать? Поцеловать в шею, в губы? Вдруг она поспешно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

— Ну, скорей, что ли...

Когда они поднялись, — Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованием, — она, перекрывая платок, поправляя волосы, спросила оживленным шепотом, — уже как близкий человек, как любовница:

— Вы, говорят, в Субботино ездили. Там поп дешево поросят продает. Правда ай нет? Вы не слыхали?

XXVIII

На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра.

Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно.

И весь день Митя без устали ходил по саду и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.

Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать, потом чай пить — он не откликался.

Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетавший от времени до времени ветер свергал с деревьев еще и другой ливень — целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания. Его белый картуз обвис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промок-

ший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был страшен.

Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш, натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в лощину, лежал на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив ногу на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером, — привез землемер, по делу приехавший

в усадьбу на несколько дней, — опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю — вы знаете с кем... Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, — это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты — это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал; бесполезно! Все кончено и кончено навеки!

Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесятеренной силой и с неожиданными ударами грома, погнал его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не попадая зуб на

зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из-под деревьев и, убедившись, что его никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял раму, — рама была старинная, с подъемной половиной, — и, вскочив в комнату, запер дверь на ключ и бросился на кровать.

И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду — и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный, — в саду один, возле дома, под непрерывное журчание и плеск желобов, ливших воду в лужи, — другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то другое предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие чего-то.

Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы, Ани, Кости и зем-

лемера, но вместе с тем уже шел по какому-то чужому дому вслед за уходившей от него молодой нянькой, и его охватывал необъяснимый, все растущий ужас, смешанный, однако, с вожделением, с предчувствием близости кого-то с кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в которой он и сам как-то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел заглянуть ей в лицо, — не Аленка ли это, — но неожиданно очутился в сумрачной гимназической классной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть, — он вдруг стал невидим. Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в туфельках на высоких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что сейчас будет. Она уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув

косу через плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отражалось ее припудренное личико, обнаженные плечи и млечно-голубые, с розовыми сосками, маленькие груди. Дверь распахнулась — и, бодро и жутко оглядываясь, вошел господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, с черными и короткими курчавыми волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на плечо, подняла голые руки... Он снисходительно обнял ее за талию — и она охватила его шею, показывая свои темные подмышки, прильнула к нему, спрятала лицо на его груди...

XXIX

И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от озноба. Всего же

нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее равнодушием, беспощадностью к нему...

— Катя! — сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. — Катя, что же это такое! — сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. — Ах, все равно, Катя, — прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она по-прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, — спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но, прошептав: «Ах, все равно, Катя!» — он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему ко-

гда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.

Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.

14 сентябрь 1924

Приморские Альпы

Солнечный удар

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым, прелестным смехом, — все было прелестно в этой маленькой женщине, — и сказала:

— Я совсем пьяна... Вообще я совсем с ума сошла. Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно, вы милый. Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после

целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы).

Поручик пробормотал:

— Сойдем...

— Куда? — спросила она удивленно.

— На этой пристани.

— Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке.

— Сумасшедший...

— Сойдем, — повторил он тупо. — Умоляю вас...

— Ах, да делайте, как хотите, — сказала она, отворачиваясь.

Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упала друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких

кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по (мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, — и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять часов утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена,

дегтя и опять всего того сложного я пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безыменная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и — уже рассудительна.

— Нет, нет, милый, — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе, — нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...

И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, — как раз к отходу розового Самолета...

та, — при всех поцеловал на палубе и едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею — и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и, хлопая себя по голенищам стеком, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

— Странное приключение! — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. — «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать...» И уже уехала... Нелепая женщина!

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес,

опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому «дорожному приключению»! Уехала — и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор... И прости, и уже навсегда, навеки. — Потому что где же они теперь могут встретиться? — «Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того, ни с сего приехать в этот город, где ее муж, ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!» И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! — И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что

его охватил ужас, отчаяние.

«Что за черт! — подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. — Да что же это такое со мной? Кажется, не в первый раз — и вот... Да что в ней особенного и что собственно случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?»

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство — то страдное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже некому, некому было сказать теперь! — «А главное, подумал он, ведь и никогда уже не скажешь! И что делать,

как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!»

Нужно было спастись, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил цыгарку, очевидно, дожидаясь кого-то. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? «Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе», — подумал он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их доб-

ротность, мужики оглушали его, кричали ему «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он зашел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, и заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосоль-

ными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, провести с ней еще один, нынешний день, — провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее... Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни.

— Совсем разгулялись нервы! — сказал он, наливая пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе я стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться — он это чувствовал слишком живо — было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: «Отныне вея моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти». — Но, дойдя до старого толсто-стенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя

дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила:

— А зачем вам нужно знать, кто я? Я Марья Маревна, заморская царевна... Разве недостаточно с вас этого?

На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами... Как дико, как нелепо, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, — да, поражено, он теперь понимал это, — этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных — молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, — перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень... Потом, то-

мясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы.

— Куда идти? Что делать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным, солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, — только

одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике! Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его, — обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, — имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать, на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел в пространство перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, — и, наконец, заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато-желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи... И вчерашний день и нынешнее утро вспомни-

лись так, точно они были десять лет тому назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, сядя в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей.

— А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! — весело сказал извозчик, берясь за вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода.

— В аккурат доставил! — сказал извозчик заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань... Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода... И необыкновен-

но приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.

Приморские Альпы. 1925

Ида

Однажды на Святках завтракали мы вчетвером, — три старых приятеля и некто Георгий Иванович, — в Большом Московском.

По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любезностью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.

— Господа, — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. — Раскиньте же нам, служающий, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете.

— Как не знать, пора наизусть выучить, — сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. — Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся...

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским... Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился:

— Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?

Георгий Иванович, имевший единственное и престранное занятие, — быть другом известных писателей, художников, артистов, — человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел, — он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, — и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью:

— Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!

И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами: «Дай боже!» — и, дую себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:

— Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день Рождества...

— История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, — сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой.

Композитор покосился на него.

— Амурная? — сказал он холодно и насмешливо. — Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на Страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. «Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»[25] — поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам:

— Друзья мои, вот эта история. В некоторое время, в некотором царстве, ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как полагается, жениха — и больше ничего...

Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она — он к ней — «А-а, Ида, дорогая! Здравствуйтесь, здравствуйтесь, ду-

шевно рад вас видеть!» А она в ответ только улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» — «Дома, дома, милости просим...» — «Можно к ней?» — И спокойно идет через столовую к дверям Маши: «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее: свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза... затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений... Было и лицо у нее редкое, — на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядишься — залюбуешься: тон кожи ровный, теплый, — тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, — цвет фиалковых глаз живой, полный...

Да, приглядишься — залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!» — увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку — и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется какой-нибудь че-

пухой, называемой творчеством, черт бы его побрал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде мало-мальски серьезно — и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она, в одно прекрасное время, исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту — и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой... Как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край...

Дело было на самое Рождество. Но, невзирая на то, ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, надо заметить, со значительным

опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать», — «Как, негодяй? Ты шутишь? Что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на ка-торгу, на плаху!» — «Мой грех; мой грех, — отвечает носильщик, — да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...

На станции же оказалось весьмалюдно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что

мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью», — с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубаху и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щукой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услышал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, «порывисто» обернулся — и, можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду!

От радости и удивления, первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на нее. А она — что значит, друзья мои, женщина! — даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, —

говорит, — какими судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то, главное же... чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистой воде, в каком-нибудь таком хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета: большой скромности большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка... Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо небрежно сказала: «Познакомьтесь кстати с моим мужем», — и тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному, представился студент.

— Ах, наглец! — воскликнул Георгий Иванович. — Обыкновенный студент?

— Да в том-то и дело, дорогой Георгий Ива-

нович, что необыкновенный, — сказал композитор с невеселой усмешкой. — Кажется, за всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромненький тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке, — в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно, — быстро обнажил другую руку, тонкую, бледно-лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» — еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду — и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб, однако, не

простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью. «Очень, очень рад познакомиться! — от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. — И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», — сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит: «Помолчи, Петрик, не конфузь меня, — сказала Ида поспешно и обратилась к господину: Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем, походим по платформе...» И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и — неожиданно изъяснилась там в любви к нему...

— То есть как в любви? — в один голос спросили мы.

Композитор вместо ответа опять набрал

воздуху в грудь, надуваясь и поднимая плечи. Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шуршащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись, стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину: «Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage!»[26] — но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал:

— Да, то есть так в любви... И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но — факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их именье под

Витебском... Господин же только поспешно шел за ней и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое, неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших все и вся вокруг, — все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях... смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос: знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала ге-

роически, торжественно и грозно. Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом негромко произнес:

— Да, вот что сказала она ему... А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинная соболя муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей? Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же мож-

но было ответить на это сногшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признание, на выжидающее выражение этого доверчиво поднятого, побледневшего и исказившегося (от смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:

— Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала — и ушла. И тем вся эта история и кончилась... И вооб-

ще довольно об этом, — вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: — И давайте по сему случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. — Услужай! — закричал он на всю залу. — Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами!

Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра — в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой

уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное красное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

— Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!
Приморские Альпы. 1925

Мордовский сарафан

Зачем иду я к ней, к этой странной и вдобавок беременной женщине? Зачем завязал и поддерживаю это ненужное и даже противное знакомство? Встретились вчера в Леонтьевском, и опять — радостная улыбка, минута несвязного, неловкого разговора, а затем крепкое рукопожатие и просьба:

— Заходите как-нибудь на огонек! Буду сердечно рада. Заходите, когда вздумается, я всегда дома. Заходите завтра, я вам покажу мой новый мордовский сарафан...

И вот опять иду и даже спешу почему-то.

Навстречу дует сырой мартовский ветер. Над Москвой черная весенняя ночь. Впереди чисто блестят фонари. В вышине, в черно-синем небе, белеют пухлые облака, снизу освещенные городом. В них теряются таинственно мерцающие старой позолотой церковные маковки. И отовсюду красновато глядят бесчисленные глаза домов, кажущихся в темноте огромными.

Опять, вероятно, ждала весь день, готовилась, — ходила покупать фрукты и печенье, принарядилась... Она вообще вообразила, кажется, будто жизнь ее вдруг приобрела какой-то радостный интерес, будто нашелся какой-то «чуткий» человек, который наконец оценит ее нецененную мужем душу. — При мысли обо всем этом так стыдно, что хочется повернуть и бежать назад...

Однако вот и подъезд. Вхожу и без отдыха поднимаюсь по узкой лестнице, усталанной затоптанным ковриком. Ух, черт, как высоко и как вообще все это нелепо! Но все равно — уже позвонил. Поспешные шаги за дверь — и дверь открывается, и не горничной, а самой хозяйкой.

Опять радостная и, как всегда, почему-то удивленная улыбка, миг обоюдного смущения — и торопливые, видимо, заранее приготовленные фразы:

— Ах, как мило, что сдержали обещание, забрели на огонек! А я совсем в одиночестве, даже прислугу отпустила, у них ведь, знаете, настоящее помешательство, этот кинематограф... Ну-с, разоблачайтесь и идем чай пить...

Дался ей этот «огонек»! А в придачу «разоблачайтесь» и бестактный поцелуй в висок, когда я поцеловал ее руку, и заявление об отсутствии прислуги. Стыдно уже нестерпимо, однако вхожу в гостиную бодро, как ни в чем не бывало, развязно протирая очки платком. И, протирая, думаю: да, и волосы убраны очень хорошо, видимо, у парикмахера, — значит, я был прав, ждала, готовилась, — и потом это болотно-зеленое бархатное платье, приоткрывающее полные груди, и жемчуг между ними, и чулки из серого шелка, и атласные туфельки...

— Присаживайтесь, милый Петр Петрович, я сию минуту...

И быстро уходит. — Очень возбуждена и, надо правду сказать, очень не плоха. Какая-то особая красота беременности, чудесный расцвет всего тела. Губы уже слегка воспалены, припухшие, но зато великолепно темны и блестящи глаза.

Со вздохом падаю всей своей тушей на диван. Обстановка, конечно, обычная: раскрытое черное пианино, над ним портрет грозного широкоскулого Бетховена, возле большая лампа на высокой подставке под огромным розовым абажуром, перед диваном столик, спиртовка для чайника, пирожные, фрукты, золотые ножички; а на креслах в изломанных и беспомощных позах лежит куклы: баба в желто-красном сарафане, добрый молодец в жаровой рубашке, в плисовой безрукавке и в круглой шляпке с павлиньими перьями, маркиза в белом парике из ваты, арлекин, Колумбина...

— Ну-с, вот и я.

Ставит чайник на спиртовку, зажигает ее, собирает с кресел игрушки и с улыбкой валит их мне на колени:

— Мои новые шедевры. Любуйтесь и кри-

тикуйте.

Любуюсь: для видимости интереса, внимания и беспристрастности выдумываю маленькие придирки, пересыпая их лестью. Она наливает чай, — «ведь вам покрепче, не правда ли?» — и с улыбкой подает мне чашку, оставив мизинец. И начинается беседа, если только это можно назвать беседой, так как говорит, по обыкновению, только она. О чем? О том же, о чем и всегда. Сперва об игрушках, которых я терпеть не могу, но которые я продолжаю рассматривать и среди разговора, так как это «ее страсть, то единственное, на чем она отводит душу, созданную, и сущности, только для искусства», затем о муже, которого я и до сих пор ни разу не видал и о котором она говорит с фальшивой веселостью, — «спит до десяти, едет на службу, обедает, снова спит и снова уезжает!» — и, наконец, о своем первом, умершем ребенке. Говорит она только о себе. Обо мне, хотя бы из приличия, никогда ни единого словечка, — до сих пор не знает и не проявляет ни малейшего намерения узнать, кто я, что я, где служу, женат или холост...

Возбуждена она нынче особенно. И возбуждена, и как будто очень весела. Говорит без умолку, с необыкновенной выразительностью и с такой требовательностью внимания, что я вскоре начинаю шалеть, цепенеть и только бессмысленно и растерянно улыбаюсь. Внезапно она вскакивает, — «ах, главное-то я и забыла!» — на мгновение скрывается в соседней комнате и возвращается с торжествующей улыбкой:

— Voila![27] И все собственноручно! Правда, хорошо?

В руках у нее что-то странное и страшное: длинный балахон из суровой крестьянской холстины с нашивками и вышивками на плечах, на рукавах, на груди и на подоле темно-коричневыми и кубовыми шелками. Она всячески показывает мне его, прикидывает к себе, к своим полным грудям и округляющемуся животу, и вопросительно и радостно смотрит на меня. Я встаю и опять с притворным вниманием осматриваю, восхищаюсь, а меж тем мне уж просто невольно: что-то мрачное, древнее и как будто гробовое есть в этом балахоне, что-то жуткое и очень непри-

ятное вызывает он во мне в связи с ее беременностью и тревожной веселостью. Вероятно, умрет родами...

Бросив сарафан на пианино, садится рядом со мною и, не спуская с меня расширенных глаз, начинает говорить о своих чувствах к своему будущему ребенку. Они необыкновенны, невыразимы, эти чувства. Она «с ужасом и восторгом чует в себе новое бытие и уже полна такой любовью, перед которой всякая любовь, и особенно к мужчине, — кощунство, пошлость». Если бог отнимет у нее эту любовь, она покончит с собой, не задумываясь ни на минуту, — это она уже твердо решила... Или же уйдет в монастырь... Мысль о монастыре — ее давняя, заветная мысль. О, если бы не замужество, не дети! Она дня не стала бы медлить! Уже хотя бы по одному тому, что для чего, для кого медлить, для чего и для кого жертвовать собой?

— Скажите, родной, для кого? — горячо спрашивает она, уставясь на меня. — Уж не для него ли, который вряд ли и подозревает, что у меня есть своя личная жизнь, свои личные радости и горести, которыми мне во всем

мире не с кем поделиться?

Не спуская с меня глаз, она пытается смеяться, — ведь, право же, ее муж даже не человек как будто, а нечто дикое в своей приверженности спать при малейшей возможности! Она то откидывается к спинке кресла, то подается вперед, кладя руку на мою, и я слышу все ее запахи — дыхания, волос, тела, платья. Щеки ее теперь пылают, глаза прямо великолепны, движенья резки, и на груди, на пальцах, в ушах сверкают драгоценные камешки. А я все смотрю на ее круглящийся под бархатом живот, на то, как она перекидывает нога на ногу, высоко показывая свой серый не туго натянутый чулок... И вдруг, поняв, что настала наконец именно та минута, тайная надежда на которую и вела меня к ней и не оставляла весь вечер, беру ее руку и, бормоча: «Полно, дорогая, успокойтесь!» — тяну ее к себе. А она вдруг закусывает нижнюю губу, быстро подносит к губам платок, быстро пересаживается ко мне на диван и со слезами падает головой на мою грудь...

Возвращаюсь я во втором часу ночи. На улицах ни души, ветер переменялся, усилил-

ся и пахнет морем, в лицо мне иногда попадают капли дождя. Облака уже не белеют вверху, густая чернота висит над Москвой. И я быстро иду вперед.

— Бежать, бежать, завтра же! — неотступно стоит у меня в голове. — В Киев, в Варшаву, в Крым, — куда глаза глядят!

Приморские Альпы. 1925

Дело корнета Елагина

I

Ужасное дело это — дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой — очень сложно, похоже на бульварный роман, — так все и называли его в нашем городе, — и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения... Вообще справедливо сказал на суде защитник.

— В этом деле, — сказал он в начале своей речи, — нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения: ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто

бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем, в этой зале присутствующим, недостойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так, все это только одна видимость: спорить есть о чем, поводов для спора и размышлений очень много...

И далее:

— Допустим, что моя цель — добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немного. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему, он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину, будил бы в судьях чувства добрые и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке: сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с об-

винителем, определившим преступника не более не менее, как «уголовным волком»? Во всяком деле все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему, на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, кажется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии: «Все так, да не так!» — должен каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнее, так это то, что «все не так» в самой сути дела...

Ужасно и началось оно, это дело.

Было 19 июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более, что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней ком-

нате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошиц, а еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая, но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром 19 июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, в прихожей звякнул звонок, потом слышалось, как осторожно и легко, босиком, пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос:

— Дома?

С тем же намеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо: перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин, человек маленький и щуплый, рыжеватый и веснушчатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутый с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его «глав-

ной» слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул руки за голову.

— Постой, постой, — пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами, — откуда ты, что с тобой?

— Я убил Маню, — сказал Елагин.

— Ты пьян? Какую Маню? — спросил ротмистр.

— Артистку Марию Иосифовну Сосновскую.

Ротмистр спустил ноги с дивана:

— Да ты что, шутишь?

— Увы, к сожалению, а может, и к счастью, ничуть.

— Кто это там? Что случилось? — крикнул граф из гостиной.

Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее.

— Не ори, — сказал он. — Это я, Елагин. Я застрелил Маню.

— Что? — сказал граф и, мгновение помол-

чав, вдруг захохотал. — А, вот оно что! — закричал он весело. — Ну, черт с тобой, на этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали, вчера опять до трех забавлялись.

— Даю тебе слово, что убил, — настойчиво повторил Елагин.

— Врешь, братец, врешь! — закричал и хозяин, берясь за носки. — А я уже было испугался, не случилось ли чего на самом деле... Ефрем, чаю!

Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и, через плечо ловко бросив его на стол, сказал:

— Ступайте, посмотрите сами...

На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил «сверхъестественной», как он выразился, бледности Елагина и чего-то «нечеловеческого» в его глазах, а затем был «просто поражен и тем и другим»...

Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года.

Через полчаса граф Кошиц и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток.

Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил и за дверями была тишина. Потеряв терпение, быстро пошли во двор, стали искать дворника. Дворник побежал с черного хода на кухню и, возвратясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала, — уехала еще с вечера, захватив с собой кокой-то сверток. Граф и корнет опешили: что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позвонили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон:

— Этот идиот, над которым я уже реветь готов, забыл сказать, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон: Староградская, четырнадцать. Слы-

шите? Староградская, четырнадцать. Нечто вроде парижской гарсоньерки, вход прямо с улицы...

Поскакали на Староградскую.

Дворник сидел на козлах, околоточный, со сдержанной независимостью, сел в пролетку, против офицеров. Было жарко, улицы были людны и шумны, и не верилось, что в такое солнечное и оживленное утро кто-то может лежать где-то мертвым, и в тупик ставила мысль, что это сделал двадцатидвухлетний Сашка Елагин. Как он мог на это решиться? За что он ее убил, почему и как убил? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались без всякого ответа.

Когда, наконец, остановились возле старого и неприветливого двухэтажного дома на Староградской, граф и корнет, по их словам, «совсем пали духом». Неужели это здесь и неужели это нужно видеть, хотя и тянет видеть и так неодолимо тянет? Зато околоточный сразу почувствовал себя строгим, бодрым и уверенным.

— Позвольте ключ, — сухо и твердо сказал он, и офицеры заторопились отдать ему ключ

с той же робостью, как сделал бы это дворник.

Посредине дома были ворота, за воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или калилась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворот и находилась та самая таинственная дверь, выходящая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вот околоточный, нахмурившись, всунул ключ, и дверь отворилась, и граф с корнетом увидели что-то вроде совершенно темного коридора. Околоточный, точно чутьем угадав, где надо искать, протянул вперед руку, шаркнул ею по стене и осветил узкое и мрачное помещение, в глубине которого, между двух кресел, стоял столик, а на нем тарелки с остатками дичи и фруктов. Но еще мрачнее было то, что представилось глазам вошедших далее. В правой стене коридора оказался небольшой входе соседнюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под потолком, под громадным зонтом из черного шелка. Чем-то черным были затянуты сверху донизу и все стены этой комнаты, совсем глухой, ли-

шенной окон. Тут, тоже в глубине, стоял большой и низкий турецкий диван, а на нем, в одной сорочке, с полуоткрытыми глазами и губами, с поникшей на грудь головой, с вытянутыми конечностями, с немного раздвинутыми ногами, лежала, белела молоденькая женщина редкой красоты.

И вошедшие остановились и на мгновение оцепенели от страха и удивления.

III

Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хороших женщин. Тут было все, что полагается: прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская, простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы... И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее были в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка ка-

сался груди, что давало ее остановившимся, полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья.

В общем, картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее.

Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитных карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови. Околоточный удержал его от этого незаконного поступка.

— Ах, конечно, — шепотом пробормотал граф, — трогать, конечно, пока ничего нельзя. Но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление?

— Имейте терпение, — наставительно сказал околоточный, — подождем следователя и доктора. Но, несомненно, похоже и на отравление...

И точно, было похоже. Крови нигде не было — ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле, возле дивана, лежали женские панталоны и пеньюар, под ними голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван как попало, но тоже не замарано ни одной каплей крови. Мысль об отравлении подтверждало еще то, что оказалось на выступе стены над диваном: на этом выступе, среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди испианных и изорванных клочков бумаги, стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка, на белом ярлыке которой зловеще чернело: «Op. Pulv».

Но как раз в ту минуту, когда околоточный, граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и

следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду: Сосновская, в самом деле, была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было. Но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посредине пятна круглую, с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка...

Что еще установила врачебная экспертиза? Немногое: то, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза; что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу; что борьбы между убийцей и его жертвой не было; что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое (недостаточное для отравления) количество опия; и, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной...

Но почему, за что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос: потому, что оба они — и он сам, и Сос-

новская — были в «трагическом положении», что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил се приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитных карточки, исписанных ее рукой по-польски (и, кстати сказать, довольно безграмотно). На одной стояло:

— Генералу Коновницыну, председателю правления театра. Приятель мой! Благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет... Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы...

На другой:

— Человек этот поступил справедливо, убивая меня... Мать, бедная, несчастная! Не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле... Мать! Мы увидимся... там, наверху... Чувствую — это последний момент...

На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно

изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее:

— Человек этот требует моей и своей смерти... Живой мне не выйти...

— Итак, настал мой последний час... Боже, не оставь меня... Последняя моя мысль — матери и святому искусству...

— Бездна, бездна! Человек этот мой рок... Боже, спаси, помоги...

И, наконец, самое загадочное:

— *Quand meme pour toujours...*[28]

Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только «как будто». Почему были не изорваны те две визитных карточки, что лежали на груди Сосновской и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам (потому что кто же иной мог это сделать?) положил их на самое видное место. Он не изорвал их впопыхах? Впопыхах он, конечно, мог забыть изорвать их. Но как

же он мог впопыхах положить на грудь покойной столь опасные для него записки? И был ли он вообще впопыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался... Нет, тут прокурор был прав: это делалось не впопыхах.

IV

Прокурор говорил:

— Есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяние которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения, научно называемого «коротким безумием». И, во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают, по злому и преднамеренному умыслу: это прирожденные враги общества и общественного порядка, это — уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он, несомненно, уголовный волк, он совершил преступление потому, что озверел от праздной и разнузданной жизни...

Эта тирада необыкновенно странна (хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина), и странна тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душу раздирающей робостью и печалью. И, однако, был прокурор и прав: на скамье подсудимых сидел преступник никак не обычный и пораженный вовсе не «коротким безумием».

Прокурор поставил два вопроса: во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения, и, во-вторых, было ли оно только невольным пособничеством к убийству, — и ответил на оба вопроса с полной уверенностью: нет и нет.

— Нет, — сказал он, отвечая на первый вопрос, — ни о каком аффекте не может быть и речи, и прежде всего потому, что аффекты не длятся по несколько часов. Да и что могло вызвать аффект Елагина?

Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов и

тотчас же отвергал или даже высмеивал их.

Он говорил:

— Не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил, в этот же день не больше обыкновенного.

— Здоровый ли человек был и есть подсудимый? Присоединяюсь к мнению врачей, его исследовавших: вполне здоровый; но совершенно не привыкший себя обуздывать.

— Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем: подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака.

И далее:

— Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде.

— Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве с Сосновской, о разрыве, который явится следствием отъезда? Опять нет, потому что о разрыве они говори-

ли и до этой ночи тысячу раз. А если так, что же наконец? Разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты, ее, так сказать, наваждение, ее гнет, равно как и вообще гнет всей этой болезненной и жуткой ночи? Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина: эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрерывно и, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими: ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой... Елагин ел, пил, отправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы очинить карандаш...

И прокурор заключил так:

— Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится: у нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама просила убить ее, — и совершенно роковая для него записка Сосновской: «Умираю не по

собственной воле»...

V

Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. «Подсудимый человек вполне здоровый...» Но где граница здоровья и нездоровья, нормальности или ненормальности? «Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака...» Но ведь, во-первых, не предпринимал он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бесцельности их; а во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом, и Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской? Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?

Но все это, повторяю, частности. А в основном прокурор был прав: аффекта не было.

Он говорил:

— Врачебная экспертиза пришла к заключению, что Елагин был «скорее» в спокойном, чем в аффективном состоянии; а я утверждаю, что не только в спокойном, но удивитель-

тельно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление и где Елагин оставался еще долго после него. Затем — показание свидетеля Ярошенко, видевшего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской и как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И, наконец, — поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его «опомниться», вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама? Он сказал: «Нет, брат, я все отлично помню!» — и тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будберга «даже неприятно поразил Елагин — он, после своего признания, хладнокровно пил чай». А свидетель Фохт был поражен еще более: «Господин штаб-ротмистр, — иронически сказал ему Елагин, — я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения. — Это было так страшно, — говорит Фохт, — что корнет Севский не выдержал и зарыдал...» Правда, была минута, когда зарыдал и Елагин: это когда ротмистр вернулся от командира полка, к которому он ходил за приказаниями насчет

Елагина, и когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он, в сущности, больше уже не офицер. Вот в это-то время он и зарыдал, — закончил прокурор, — только в это время!

Конечно, последняя фраза опять очень странна. Кому неизвестно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастьи даже от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения? А ведь Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное. Ведь он как бы и родился офицером, — десять поколений его предков служили. И вот он уже не офицер. И мало того, что не офицер, — не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам, сам сделал это чудовищное дело!

Впрочем, это тоже только подробности. Главное же то, что «короткого безумия» действительно не было. Но тогда что же было?

Прокурор признал, что «в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений». И он твердо заявил:

— Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие...

Так ли это? Вот в этом-то и весь вопрос: так ли это?

VI

О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему двадцать два года: возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни — первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое, сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милою существа: переживают, сами того не ведая жуткий рас-

цвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола. И вот, будь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения и еще на то, что перед нами сидел человек совсем незаурядный в этом смысле. «Молодой гусар, ошалелый прожигатель жизни», — говорил прокурор, повторяя общее мнение и в доказательство правоты своих слов передал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского: о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты сходились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня от него!» Я ее заслонил, рассказывал Лисовский, и этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел — стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая: куда же это делась Сосновская?

Вот именно так: ошалелый человек. Но только от чего ошалелый: ужели от «праздной, разнузданной жизни»?

Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи, матери (которая была, заметьте, натурой весьма экзальтированной) он ли-

шился очень рано, от отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал:

— Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашивает; перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрысыми усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица, в своем черном сюртучке весьма мало напоминающий Отелло, то есть личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне не храбрый в одних случаях, — как, например, в отношении к отцу, — и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами в других, то есть тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность...

Что же, в этой грубой характеристике было много правды. Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться

ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да, рос Елагин в трепете перед отцом. Но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувство всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его натуры: взгляните, сказал бы я прокурору, попристальнее в этого рыжеватого, сутулого и тонконового человека, и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми (избегающими глядеть на вас) глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу: в день убийства он был на учении, — с раннего утра, конечно, — и выпил за завтраком шесть рюмок водки, бутылку шампанского, две рюмки коньяку и остался при этом почти совершенно трезвым!

VII

В большом противоречии с общим низким мнением об Елагине стояли и показания многих его полковых товарищей. Все они отзывались о нем самым лучшим образом. Вот как-то, например, было мнение о нем эскадронного командира:

— Вступив в полк, Елагин замечательно хорошо поставил себя среди офицеров и всегда был чрезвычайно добр, заботлив, справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним: неровностью, которая выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы...

Затем — мнение ротмистра Ллхарева:

— Елагин всегда был добрым и хорошим товарищем, только со странностями: то бывал он скромн и застенчиво скрытен, то впадал как бы в некоторую бесшабашность, браваду... После того, как он пришел ко мне с признанием в убийстве Сосновской, и Сев-

ский с Кошицем поскакали на Староградскую, он то страстно плакал, то едко и буйно смеялся, а когда его арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье...

Затем — графа Кошица:

— Елагин был человек в общем нрава веселого и нежного, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившая его до слез; да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть не на всех инструментах...

Приблизительно то же сказали и все прочие свидетели:

— Человек очень увлекающийся, но как будто всегда ожидавший чего-то настоящего, необыкновенного...

— На товарищеских пирушках чаще всего бывал весел и как-то мило надоедлив, шампанского требовал больше всех и угощал им кого попало... Вступив в связь с Сосновской, чувства к которой он всегда чрезвычайно старался скрыть от всех, очень изменился: часто

бывал задумчив, печален, говорил, что утверждается в намерении покончить с собой...

Таковы сведения об Елагине, исходившие от лиц, живших с ним в наибольшей близости. Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные краски для его портрета? Или у него есть сведения какие-нибудь другие? Нет, у него их нет. И остается предположить, что к этим черным краскам побудили его общие представления о «золотой молодежи» и то, что он узнал из единственного имевшегося в распоряжении суда письма Елагина к одному своему другу в Кишинев. Тут Елагин с большой развязностью говорил о своей жизни:

— Дошел я, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну, и слава богу, а что завтра будет — наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе...

Такая самооценка как будто связывалась с красноречием прокурора, говорившего, что, «во имя животной борьбы за наслаждения, Елагин поставил женщину, все ему отдав-

шую, на суд общества и лишил ее не только жизни, но даже последней чести — христианского погребения...» Но связывалась ли на самом деле? Нет, прокурор взял из этого письма только несколько строк. Полностью же оно было таково:

— Дорогой Сергей. Письмо твое получил и хотя поздно отвечаю, но что ж делать? Наверное, ты, читая мое письмо, будешь думать: «Вот каракули, точно муха, попавшая в чернила, напознала!» Ну, что ж, почерк, как говорят, есть если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и был а если хочешь, даже хуже, так как два года самостоятельной жизни и еще кое-что наложили свою печать. Есть, брат кое-что, чего и сам Соломон премудрый но выразит! А потому не удивляйся, если в один прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнул. Я дошел, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хороши, ну, и слава богу, а что завтра будет, наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе. А, вместе с тем, поверишь ли?

Чувствую иногда в душе такую силу и муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает, к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность: так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный: иногда зимой, ночью, в мотель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городских, которые привыкли ничему по удивляться, — и заметь, вполне трезвый и не с перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, а его все нет и нет! Что ж, тебе-то признаюсь: я влюбился и совсем, совсем не в такую, какими полон весь город... Впрочем, довольно об этом. Пиши мне, пожалуйста, адрес ты мой знаешь. Помнишь, как ты говорил? «Россия, корнету Елагину...»

Поразительно: как можно было после прочтения хотя бы одного этого письма говорить, что «сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие»!

VIII

Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина, — ей было двадцать во-

семь лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего три года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж, и опять за мелкого чиновника, и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка, — откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж, конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и в свободное время много читала. И, читая, порою выписывала из книг мысли и изречения, ей нравившиеся, — конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою, — и вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до которых она не дотрагивалась иногда по целым месяцам и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи и про-

чее в этом роде. Что же именно выписывала она?

— «Не родиться — первое счастье, второе же поскорее возвратиться к небытию». Чудная мысль!

— Свет скучен, смертельно скучен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному...

— «Люди понимают только те страдания, от которых умирают». Мюссе.

— Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в том богом и смертью...

— Только любовь или смерть. — Но где же во вселенной найдется такой, чтобы я любила? Такого нет, не может быть! А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь?

— Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле...

— Мать говорит, например, чтобы я вышла из-за денег. Я, я, из-за денег! Какое неземное слово любовь, сколько ада и прелести в нем, хоть я и никогда не любила!

— Весь мир смотрит на меня миллионами

плотоядных глаз, как когда я бывала маленькая в зверинце...

— «Быть человеком не стоит. Ангелом — тоже. И ангелы возроптали и восстали на бога. Стоит быть богом или ничтожеством». Красинский.

— «Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души?» Мюссе.

Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успела внушить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной.

Восемнадцать лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты: и на сцену попала без всяких затруднений, и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном мире настолько серьезную, что на третий год

службы получила приглашение в наш город. Однако и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше:

— «Об ней все говорят, над ней плачут и смеются, но кто же знает ее?» Мюссе.

— Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание...

— Когда я выеду куда-нибудь за город, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать... полюбить и умереть...

— Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно!

И дальше:

— Все, все требуют моего тела, а не души...

— Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару...

— «Знает ли человек, чего он хочет? Уве-

рен ли в том, что он думает?» Красинский.

И, наконец:

— Негодяй!

Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так не трудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть. «Уже во Львове, — сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновской, — она не одевалась, а скорее раздевалась для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пеньюаре, с голыми ногами. Красота их повергала всех и особенно новичков в восторженное изумление. А она говорила: „Вы не удивляйтесь, это мои собственные“, и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, — часто со слезами, — что нет никого, достойного ее любви, и что ее единственная надежда — смерть»...

И вот явился «негодяй», с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил свидетель Вольский, знавший Сосновскую с

детства:

— Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя, как надо артистке и обывательнице нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому!

Именно об этом «кабане» рассказывала Сосновская Елагину в своей предсмертной беседе. Тут она, роняя слова, жаловалась ему:

— Я росла одиноко, за мной никто не смотрел. Я была в своей семье, да и во всем мире, всем чужая... Одна женщина, — да будет проклято ее потомство! — развращала меня, доверчивую, чистую девочку... А во Львове я искренне полюбила одного человека, как, отца, который оказался такой негодяй, такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса! И он приучил меня к гашишу, к вину, он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем, он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня, подлый, низкий человек...

У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцех.

— Еще во Львове, — говорил свидетель Мешков, — многим предлагала она умереть за одну ночь с ней и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце. А сама постоянно говорила: «Моя главная цель — жить и пользоваться жизнью. Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами». И так она и поступала, — говорил Мешков. — Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. «Деньги, — говорила она, пустяки. Я жадна, порою скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное — слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже только с этой целью: заставить говорить о себе...

То же самое, что и во Львове, продолжа-

лось и в нашем городе. И почти такие же писались заметки:

— Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось!

— Как-то вечером я была на кладбище: там было так прекрасно! Мне казалось... но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда...

И опять:

— Вчера я была на кладбище в десять часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мне было очень хорошо...

А познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее «потрясающе-восторженное впечатление».

Жажда славы, людского внимания пере-

шли у нее в это время просто в исступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была в общем не оригинальна, и все-таки было в ней какое-то особое, редкое, не обычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности с звериным лукавством, а кроме того, смесь постоянной игры с искренностью: посмотрите на ее портреты, обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий, — взгляд всегда немножко исподлобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках, взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями, звуком голоса и живостью движений, смехом или слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных гостей, одну из своих комнат отвела, как она выражалась, специально для самоубий-

ства, — там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами, — а постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того: часто, беседуя о всяческих способах лишиться себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок, приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее, поцелуйте меня или я сию минуту выстрелю!» — а не то брала в рот пилюлю со стрихнином и заявляла, что, если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те, всех волнующие, слухи, которых она так хотела...

— Вообще она сама собой почти никогда не бывала, — говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший. — Играть, дразнить — это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежными загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом

беззащитного ребенка — на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным. Она то распалила его, то обдавала холодной водой... Хотела ли она умереть? Но она плотоядно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно. Вообще было в ее натуре очень много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей. А она всех забыла, — в такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что позавидовал бы любой акробат... Очаровательная была женщина!

Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Серошевский, знавший ее десять лет и лечивший ее еще до ее отъезда во Львов, — у нее начиналась тогда чахотка, — тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством, потерей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От это-

го же расстройства лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью (и у которого она однажды взяла два тома Шопенгауэра, «очень внимательно прочитанных и, что всего удивительней, прекрасно понятых, как оказалось потом»). А врач Недзельский дал такое показание:

— Странная была женщина! Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива; но случалось — вдруг ни с того ни с сего умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол... а не то начнет бросать, бить об пол стаканы, рюмки... В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее: ну, еще, еще, — и она тотчас же прекращала это занятие.

И вот с этой-то «странной и очаровательной женщиной» и встретился наконец корнет Александр Михайлович Елагин.

Х

Как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом дважды рассказал сам Елагин: первый раз, кратко и отрывочно, через несколько часов после

убийства, — следователю; второй раз — на допросах, происходивших три недели спустя после первого допроса.

— Да, — говорил он, — я виновен в лишении жизни Сосновской, но по ее воле...

Я познакомился с ней полтора года тому назад, в кассе театра, через поручика Будберга. Я горячо полюбил ее и думал, что и она разделяет мои чувства. Но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой — наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился жестокой ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение, а что-то другое, чего я не умею выразить... Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности...

Я, говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года, в театре, возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще двух раз в месяц и то всегда днем. В октябре я признался ей в своей любви, и она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ез-

дили ужинать в загородный ресторан, возвращались же оттуда только вдвоем, и, хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетские ночи», сказала: а вы решились бы отдать жизнь за одну ночь с любимой женщиной? И когда я поспешил ответить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви все чаще, говорил, что чувствую, что гибну... уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество никогда не простило бы открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, от ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимно-

СТЬЮ...

Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылал ей букеты в театр, посылал цветы на квартиру, делал подарки... Подарил две мандолины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку, с надписью по-французски: «Quand meme pour toujours!»

Двадцать шестого марта этого года я получил от нее приглашение на ужин. После ужина она впервые отдалась мне... в комнате, которую она называла японской. В этой же комнате происходили и наши дальнейшие свидания; служанку она отсылала после ужина спать. А потом она дала мне ключ от своей спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лестницу... В память двадцать шестого марта мы заказали себе обручальные кольца, на внутренней стороне которых были вырезаны, по ее желанию, наши инициалы и дата нашей близости...

В одну из наших поездок за город мы подо-

шли в деревне к кресту возле костела, и я поклялся ей перед этим крестом в своей вечной любви, сказал, что она моя жена перед богом и что я до могилы не изменю ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потом сказала просто и твердо: «И я люблю тебя. Quand t'eme pour toujours!»

В начале мая, когда однажды я ужинал у нее, она достала опий в порошке и сказала: «Как легко умереть! Стоит только подсыпать немного, и готово!» И, высыпав порошок в бокал с шампанским, поднесла бокал ко рту. Я вырвал его у нее из рук, выплеснул вино в камин, а бокал разбил о шпору. На другой день она сказала мне: «Вместо трагедии вчера вышла комедия!» И прибавила: «Что ж мне делать, сама я не решаюсь, ты тоже не можешь, не смеешь... Какой позор!»

И после этого мы стали видеться реже: она сказала, что принимать меня у себя по вечерам больше не может. Почему? Я сходил с ума, мучился ужасно. Но, кроме того, она изменилась ко мне, стала холодна и насмешлива, принимала меня иногда так, точно мы были едва знакомы, и все издевалась над отсут-

ствием у меня характера... И вдруг опять все изменилось. Она стала заезжать за мной для прогулок, стала заигрывать со мной, — может быть, потому, что и я начал усваивать себе холодную сдержанность в обращении с нею... Наконец, она сказала, чтобы я нанял отдельную квартиру для наших свиданий, но такую, чтобы она была на глухой улице, в каком-нибудь сумрачном, старом доме, была бы совершенно темной и отделана так, как она мне прикажет... Вы знаете, как именно была убрана эта квартира...

И вот, шестнадцатого июня я зашел к ней в четыре часа и сказал, что квартира готова, и передал ей один из ключей. Она улыбнулась и, возвращая мне ключ, ответила: «Поговорим об этом после». В то время раздался звонок, пришел некто Шкляревич. Я поспешно спрятал ключ в карман и заговорил о пустяках. Когда же мы уходили вместе со Шкляревичем, она в прихожей громко сказала ему: «Приходите в понедельник», — мне же шепнула: «Приходи завтра, в четыре», — и шепнула так, что у меня закружилась голова...

На другой день я был у нее ровно в четыре

часа. Каково же было мое удивление, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мне, что Сосновская не может меня принять, и передала мне ее письмо! Она писала, что чувствует себя нездоровой, что она едет к матери на дачу, что «теперь уже поздно». Вне себя, я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и написал ей ужасное письмо, прося объяснить, что значит слово поздно, и отправил это письмо с посыльным. Но посыльный принес мне мое письмо обратно — ее не оказалось дома. Тогда я решил, что она хочет окончательно порвать со мной, и, возвратясь домой, написал ей новое письмо, резко упрекая ее за всю ее игру со мной и прося вернуть мне обручальное кольцо, которое дала ей, вероятно, только шутка, а для меня самое дорогое в жизни, то, что должно лечь со мной в могилу: я хотел этим сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мне остается только смерть. Вместе с этим письмом я возвратил ей ее портрет, все ее письма и вещи хранившиеся у меня: перчатки, шпильки, шляпку... Денщик вернулся и сказал, что ее нет дома и что он оставил письмо и посылку у дворни-

ка...

Вечером я поехал в цирк, встретил там Шкляревича, человека мне мало знакомого, и, боясь быть один, пил с ним шампанское. Вдруг Шкляревич сказал: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Поверьте мне, что она не стоит того. Мы все прошли через это, она всех нас водила за нос...» Мне хотелось выхватить шашку и рубить ему голову, но я был в таком состоянии, что не только не сделал ничего подобного и не прервал этого разговора, а даже был втайне рад ему, рад возможности хоть в ком-нибудь найти сочувствие. И не знаю, что со мной случилось; я, конечно, ни слова не проронил в ответ ему, ни слова не сказал о Сосновской, но повез его на Староградскую и показал ему квартиру, которую я с такой любовью выбирал для наших свиданий. Мне было так горько, так стыдно, что я так одурачен с этой квартирой...

Оттуда я погнал извозчика в ресторан Невяровского; шел небольшой дождь, извозчик летел, и мне даже от этого дождя и от огня впереди было больно и страшно. В час но-

чи я вернулся с Шкляревичем из ресторана домой и уже стал раздеваться, как вдруг денщик подал мне записку: она ждала меня на улице, просила немедленно спуститься. Она приехала с горничной в карете и сказала мне, что она так испугалась за меня, что не могла даже ехать одна, взяла горничную. Я приказал денщику проводить горничную домой, а сам сел к ней в карету, и мы поехали на Староградскую. Дорогой я упрекал ее, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела, — квартира ей очень понравилась, я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил вернуть ее портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры, и я всегда в конце концов чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. В три часа ночи я повез ее домой. А дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой, я не видел ее лица, чувство-

вал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса: «Ты не мужчина, — говорила она, — у тебя нет никакого характера, я могу когда угодно, и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки!» Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо!» — и насильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить, говорила: «Нет, ты придешь, придешь... на Староградскую...» И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя прийти, я скоро уеду за границу, я хочу видеть тебя в последний раз, главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивляюсь — ты говоришь, что ты меня любишь, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь меня видеть в последний раз...» Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда мы расстались у ее подъезда, под дождем, у меня

сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отращением застал у себя спящего Шкляревича...

Утром в понедельник, восемнадцатого июня, я послал ей записку, что я свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской...»

XI

Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка, Ванда Линевиц, показали, что в субботу 16-го Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, сбрасывая, срывая его с себя, — вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила:

— Вот посмотрите, это к большой беде...

Милая, несчастная женщина! Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое,

что мы о ней всегда слышали и чего мы наслушались и в обществе, и на суде со времени ее гибели, а главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал по-настоящему, — равно как и Елагина, — невзирая на весь интерес, который к ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которым конца не было за последний год.

Вообще еще раз скажу: изумительно убожество человеческих суждений! Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в каком-нибудь даже мало-мальски значительном событии: обнаружилось, что люди глядят и не видят, слушают и не слышат. Нужно же было вопреки всякой очевидности, словно нарочито, исказить до такой степени и Елагина, и Сосновскую, и все, что было между ними! Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить: он — гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она — актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни...

— Отдельные кабинеты, вино, кокотки, дебош, — говорили про него. — Бряцание сабли заглушало в нем все высшие чувства...

Высшие чувства, вино! А что такое вино для такой природы, как Елагин? «Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает, к чему, что грудь ломит... Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет...» А вот во хмелю-то дышится легче и шире, во хмелю неуловимый напев звучит явственнее, ближе. И что с того, что и хмель, и музыка, и любовь в конце концов обманчивы, только усугубляют это несказанное в своей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жизни?

— Она не любила его, — говорили про нее. — Она только боялась его, — ведь он постоянно грозил ей, что убьет себя, то есть не только отяготит ее душу своей смертью, но и сделает ее героиней большого скандала. Есть свидетельства, что она испытывала к нему «даже некоторое отвращение». Она все-таки принадлежала ему? Но разве это меняет дело? Мало ли кому она принадлежала! Одна-

ко Елагин захотел превратить в драму одну из тех многочисленных любовных комедий, которые она любила играть...

И еще:

— Она ужаснулась той страшной, безмерной ровности, которую он начал проявлять все более и более. Раз, при нем, был у нее в гостях артист Стракун. Он сидел сперва спокойно, только бледнел от ревности. И вдруг встал и быстро вышел в соседнюю комнату. Она кинулась за ним вслед и, увидев в его руках револьвер, упала перед ним на колени, умоляя его сжалиться над собой и над ней. И таких сцен разыгрывалось, вероятно, немало. Не понятно ли после этого, что она наконец решила избавиться от него, отправиться в заграничную поездку, к которой она была уже совсем готова накануне своей смерти? Он принес ей ключ от квартиры на Староградской, от квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь затем, чтобы иметь предлог не принимать его у себя до отъезда. Она этого ключа не взяла. Он стал ей навязывать его. Она заявила: теперь уже поздно, — то есть теперь мне не к чему брать его, я уезжаю. Но он зака-

тил ей такое письмо, что, получив его, она ночью поскакала к нему, вне себя от страха, что может застать его уже мертвым...

Пусть все это так (хотя все эти рассуждения совершенно противоречат исповеди Елагина). Но почему же все-таки Елагин так «страшно», «безмерно» ревновал и захотел превратить комедию в драму? На что нужно было это ему? Отчего просто не застрелил он ее в один из припадков ревности? Отчего «борьбы между убийцей и его жертвой не было»? И затем: «Она чувствовала к нему порой даже некоторое отвращение... Она при посторонних иногда издевалась над ним, давала ему обидные прозвища, называла его, например, кривоногим щенком...» Но, бог мой, ведь в этом вся Соснонская! Ведь еще в ее львовских заметках есть запись про отвращение к кому-то: «Так он еще любит меня! А я? Что чувствую я к нему? И любовь и отвращение!» Она оскорбляла Елагина? Да, однажды, поссорившись с ним, — у них это бывало весьма часто, — она позвала горничную и, бросив свое обручальное кольцо на пол, крикнула: «Возьми эту гадость себе!» Но что она сделала

перед этим? Перед этим она выбежала в кухню и сказала:

— Я сейчас позову тебя, брошу вот это кольцо на пол и скажу, чтобы ты взяла его себе. Но помни — это будет только комедия, ты должна нынче же возвратить мне его, потому что этим кольцом я с ним, с этим дураком, обручилась, и оно для меня дороже всего на свете...

Ее совсем недаром называли женщиной «легкого поведения», и недаром католическая церковь отказала ей в христианском погребении, «как личности дурной и распутной». Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натуры? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего? И заметьте, что всегда происходит: мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди по существу своему обостренно чув-

ственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам — и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступности таких женщин? Конечно, нет, тысячу раз нет. Нет уже хотя бы потому, что ведь такие мужчины очень хорошо и чувствуют и видят, насколько всегда мучительна, порою истинно страшна и губительна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам, — неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему?

Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертные записочки, внушая себе, будто и впрямь настал ее последний час. И ничуть не убеждают в противном никакие ее дневники, — кстати сказать, весьма банальные и наивные, — и никакие посещения кладбищ...

Наивность ее дневников и театральность

прогулок на кладбища никто не отрицает, равно как и того, что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее: красота, молодость, слава, деньги, сотни поклонников, и всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе. Но отчего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? Оттого, что все это столь обычно среди женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству? Но отчего же это столь обычно? Отчего?

XII

Утром в воскресенье настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в восьмом часу: она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколаду и раздвинула занавески. Она сидела на постели и, по

своему обыкновению, исподлобья, с полукрытыми губками, задумчиво и рассеянно следила за ней. Потом сказала:

— А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же после доктора. Ой, мать божия, как я испугалась! А только он приехал, мне стало так хорошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени па постели и целый час молилась... Ты подумай, какова бы я была, если бы меня всю обожгло! Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть... Все лицо закрыли бы ватой...

До шоколаду она долго не притрагивалась и все сидела, что-то думая. Потом выпила шоколад и, приняв ванну, в купальном халатике и с распущенными волосами, написала за своим маленьким письменным столиком несколько писем на бумаге в траурной рамке: она уже давно заказала себе такую бумагу. Одевшись и позавтракав, она уехала: была на даче у матери, а вернулась только в двенадцатом часу ночи с актером Стракуном, который «всегда был у нее свой человек».

— Они приехали оба веселые, — рассказывала горничная. — Встретив их в прихожей, я

сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствие прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: «Спрячь скорее, чтобы не видал Стракун!» — потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая внимания на то, что Стракун сидел в гостиной: «Ради бога, беги одним духом за каретой!» Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, мать божия, только бы застать его в живых!»

В понедельник она с утра уехала на реку, в купальни. Обедали у нее в этот день Стракун и англичанка (которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала). После обеда англичанка ушла, а Стракун оставался еще часа полтора: курил, лежа на диване, положив голову на колени хозяйки, которая «была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу». Наконец Стракун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его прийти «нынче же в десять часов вечера».

— Не часто ли будет? — сказал Стракун,

смеясь и отыскивая в прихожей палку.

— Ой, нет, пожалуйста! — сказала она. — А если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись...

А затем долго жгла в камине какие-то письма и бумаги. Она напевала, шутила с горничной:

— Все теперь сожгу, раз сама не сгорела! А хорошо, кабы сгорела! Только уж вся, дотла...

Потом сказала:

— Скажи Ванде, чтобы ужин был к десяти вечера. А сейчас я уезжаю...

Она уехала в шестом часу, захватив с собой «что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер».

Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, «была в милом и веселом духе». Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской, среди девушек мастериц, все говорила: «Ой, мать божия, как я опоздала, пора мне уходить, ангелочки!» — и все не уходила. Наконец ре-

шительно поднялась и со вздохом, но весело сказала:

— Прощайте, пани Лещинская. Прощайте, сестрички, ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами да с мужчинами!

И, еще раз с улыбкой покивав с порога головой, вышла...

Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится. «Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу», — сказал прокурор и добавил:

— Так отправилась она на роковое, но не заведомо роковое для нее свидание. В семь часов она была в доме № 14 по Староградской, в квартире № 1, -и вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром 19 июня. Что там происходило ночью? Об этом рассказать нам некому, кроме Елагина. Послушаем же его еще раз...

И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многолюдная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в па-ше-й памяти и которыми кончался рассказ Елагина:

— В понедельник восемнадцатого июня я послал ей записку, что свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской».

В шесть без четверти я был на месте и привез с собой закусок, две бутылки шампанского, две бутылки портеру два стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго: она приехала только в семь...

Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой, на диван. — «Выйди, — сказала она мне по-французски, — я хочу раздеться». — Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствуя, что все кончено, кончается... Впрочем, и обстановка была странная: я сидел при огне, как ночью, а между тем я знал и чувствовал, что на дворе, за сте-

нами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер... Она долго не звала меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец она крикнула: «Иди, теперь можно...»

Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидел свой револьвер. Я спросил: «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу: «Так... Ведь я уезжаю... Ты лучше держи его здесь, а не дома...» У меня мелькнула страшная мысль: «Нет, это неспроста!» — но я ничего не сказал...

И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго, с принуждением, холодно. Я втайне страшно волновался, — все хотел сообразить что-то, все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное, — ведь я понимал, что это, может быть, последнее наше свидание или, во всяком случае, разлука надолго, — и все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала:

«Кури, если хочешь...» — «Но ведь ты не любишь», — ответил я. — «Нет, теперь все равно, — сказала она. — И дай мне шампанского...» Я так этому обрадовался, точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку, я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила: «Да, да... Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой... Все и все против нас, только, может, один бог за нас... Я люблю твою душу, люблю твою фантазию...» Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт и сказал: «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо!» В ответ она только грустно улыбнулась...

Часов в десять она сказала, что ей хочется есть. Мы перешли в переднюю комнату. Но ела она мало, я тоже, — мы больше пили. Вдруг она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, блязень, сколько опять купил! В следующий раз не смей больше этого делать». — «Но когда же будет теперь этот следующий раз?» — спро-

сил я. Она странно посмотрела на меня, потом уронила голову и закатила глаза под лоб. «Иисус, Мария, — прошептала она, — что ж нам делать? Ой, я хочу тебя безумно! Пойдем скорей».

Через некоторое время я взглянул на часы, был уже второй час. «Ой, как поздно, — сказала она. — Надо сию же минуту ехать домой». Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уезжать как можно скорее, а не могу двинуться с места. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, божья воля...» И этого я не мог понять. Вероятно, она хотела сказать что-то общее с тем, что написала потом: «Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою незащищенность передо мной. А по-моему, она хотела сказать другое: что наша несчастная встреча с ней — рок, божья воля, что она умирает не по своей, а по божьей воле. Впрочем, я не придавал тогда особого значения се словам, я давно привык к ее странностям. Потом она внезапно сказала: «Есть у тебя карандаш?» Я опять был удивлен: зачем ей карандаш? Однако поспешил по-

дать, — он был у меня в записной книжечке. Она попросила дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказал: «Но послушай, не надобно на моей визитной карточке писать записки». «Нет, это так, заметки для себя, — ответила она. Оставь меня подумать и подремать». — И, положив исписанную карточку себе на грудь, закрыла глаза. Стало так тихо, что я впал в какое-то оцепенение...

Так прошло, должно быть, не меньше получаса. Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, я пришла возвратить тебе твое кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить». И, приподнявшись, бросила кольцо на выступ стены. «Разве ты меня любишь? — почти крикнула она. — Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить! Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти, — боюсь страданий, но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой». — И тут я еще больше, с страшной ясностью понял весь ужас, безысходность нашего положения, и что оно должно наконец разрешиться чем-нибудь. Но

убить ее — нет, я чувствовал, что этого я не могу. Я чувствовал другое: настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. «Как? Только себя? — воскликнула она, вскакивая. — Нет, клянусь Иисусом, ни за что!» — И выхватила револьвер у меня из рук...

И опять настало это мучительное молчание. Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг невнятно, про себя, сказала что-то по-польски и затем ко мне: «Дай сюда мое кольцо». Я подал. «И свое!» — сказала она. Я поспешил исполнить и это. Она надела на палец свое, а мне приказала надеть мое и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, но уж таков мой характер и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и приноси портеру...» Я подал ей юбку и пошел за портером, а когда вернулся, увидел, что возле нее стоит скляночка с опиумом. «Слушай, — сказала она твердо. — Теперь уже конец комедиям. Ты можешь жить без меня?» Я ответил, что нет. — «Да, — сказала она, — я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не поколеблешься убить себя? А если так, возь-

ми и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И, убивши меня, ты умрешь с сознанием, что я наконец уже вся твоя — и навеки. А теперь слушай мою жизнь...» И она опять легла и, помолчав минуту и успокоившись, не спеша стала мне рассказывать всю свою жизнь с самого детства... Я почти ничего не помню из этого рассказа...

XIV

— Не помню и того, кто из нас стал раньше писать... Я переломил карандашик пополам... Мы стали писать и писали все время молча. Я написал, кажется, прежде всего отцу... Вы спрашиваете, почему я упрекал его, что он «не хотел моего счастья», когда я даже и не пытался ни разу просить его согласия на мой брак с ней? Не знаю... Ведь он все равно не согласился бы... Потом я писал однополчанам, прощался с ними... Потом, кому еще? Командиру полка, о том, чтобы меня прилично похоронили. Вы говорите: значит, у меня была уверенность, что я покончу с собой? Конечно. Но как же все-таки я не сделал этого? Не знаю...

А она, помню, писала медленно, останав-

ливаясь и обдумывая что-то; напишет слово и исподлобья глядит в стену... Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда попало... Мне кажется, что и в могиле не будет так страшно, как когда мы в этот поздний час, в этой тишине, под этим фонарем, писали все эти ненужные записки... Это была ее воля писать их. Я вообще беспрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мне в эту ночь вплоть до самого последнего момента...

Вдруг она сказала: «Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благовослови, мать божия!» — Я налил стакан портеру, и она, приподнявшись, решительно бросила в него щепотку порошку. Выпив больше половины, она остальное велела допить мне. Я выпил. Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей меня! Убей ради нашей любви!»

Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял ее левой рукой, — да, конечно, левой — и прильнул к ее губам. Она говорила: «Прощай, прощай... Или нет: здравствуй, теперь уже навсегда... Если не удалось здесь, то там, навер-

ху...» Я прижался к ней и держал палец на спуске револьвера... Помню, я чувствовал, как дергалось все мое тело... А потом как-то сам собой дернулся палец... Она успела сказать по-польски: «Александр, мой возлюбленный!»

В котором часу это было? Думаю, что в три. Что я делал после того еще два часа? Но я с час шел до Лихарева. А остальное время я сидел возле нее, потом зачем-то приводил все в порядок...

Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире. Я сидел и только смотрел на нее. Потом, в таком же диком бессознании, стал прибирать ее и комнату... Я не мог бы не сдержать слова, которое я дал ей, что после нее я убью себя, но мной овладело полное безразличие... Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, что живу. Но я не могу примириться с тем, что думают, будто я палач. Нет, нет! Может быть, я виноват перед людским законом, виноват перед богом, но не перед ней!

<11 сентября. 1925. Приморские Альпы>

Ночь

На даче темно, — час поздний, — и все окрест струится непрерывным журчанием. Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лег в камышовое кресло на балконе. Я думаю — и слушаю, слушаю: хрустальное: журчание, наваждение!

Ночная бездонность неба переполнена разноцветными висящими в нем звездами, и среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь, двумя неравными дымами склоняющийся к южному горизонту, беззвездному и поэтому почти черному. Балкон выходит в сад, усыпанный галькой, редкий и низкорослый. С балкона открывается ночное море. Бледное, млечно-зеркальное, оно летаргически-недвижно, молчит. Будто молчат и звезды. И однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон стоит во всем этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то звенящему сну.

О чем я думаю?

«Решился я испытать разумом все, что де-

лается под солнцем; но это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя... Бог сотворил людей разумно, но, увы, люди пустились в большую затейливость». И Екклезиаст отечески советует: «Не будь слишком правдив и не умствуй слишком». Но я все «умствую». Я «слишком правдив».

О чем я думаю? Когда я спросил себя об этом, я хотел вспомнить, о чем именно я думал, и тотчас же подумал о своем думанье и о том, что это думанье есть, кажется, самое удивительное, самое непостижимое — и самое роковое в моей жизни. О чем думал я, что было во мне? Какие-то мысли (или подобие мыслей) об окружающем и желание за чем-то запомнить, сохранить, удержать в себе это окружающее... Что еще? Еще чувство великого счастья от этого великого покоя, великой гармонии ночи, рядом же с этим чувство какой-то тоски и какой-то корысти. Откуда тоска? Из тайного чувства, что только во мне одном нет покоя — вечное тайное томление! — и нет бездумности. Откуда корысть? Из жажды как-то использовать это счастье и даже

эту самую тоску и жажду, что-то создать из них... Но и тут тоска, Екклезиаст: «В будущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И любовь их и ненависть, и ревность давно исчезли, и уже нет им участия ни в чем, что делается под солнцем».

О чем я думал? Но не важно, о чем именно думал и — важно мое думанье, действие совершенно для меня непостижимое, а еще важнее и непостижимее — мое думанье об этом думанье и о том, что «я ничего не понимаю ни в себе, ни в мире» и в то же время понимаю мое непонимание, понимаю мою потерянность среди этой ночи и вот этого колдовского журчания, не то живого, не то мертвого, не то бессмысленного, не то говорящего мне что-то самое сокровенное и самое нужное.

Эта мысль о собственной мысли, понимание своего собственного непонимания есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто крат больше меня, и, значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто, очевидно, основное, нераз-

ложимое, — истинно частица бога.

Да, но ведь это частица того не имеющего ни формы, ни времени, ни пространства, что и есть моя гибель. Вкусите и будете как бог. Но «бог на небе, мы же на земле». Вкушая, для земли, для земных форм и законов умираем. Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен. Но эти-то божеские свойства и ужасны для меня. И если они все растут во мне, я для своей человеческой жизни, для этого земного «бывания» и «делания» гибну...

Неподвижно темнеют мелкие деревья в саду.

Между ними сереет галька, белеют белые цветы в Цветнике, а дальше — обрывы — и млечной плащаницей подымается в небо море.

В этой млечности есть зеркальность; но на горизонте сумрачно, зловеще: это от Юпитера и оттого, что там, в южном небосклоне, нет почти звезд.

Юпитер, золотой, огромный, горит в конце Млечного Пути так царственно, что на балконе лежат чуть видные тени от стола, от стульев. Он кажется маленькой луной какого-то

иною мира, и его сияние туманно-золотистым столпом падает в зеркальную млечность моря с великой высоты небес, меж тем как на горизонте, в силу противоположности со светом, мрачно рисуется как бы темный холм.

И непрерывный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, похож то на миллионы текущих и сливающихся ручьев, то на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальной спиралью цветы...

Только человек дивится своему собственному существованию, думает о нем. Это его главное отличие от прочих существ, которые еще в раю, в недумании о себе. Но ведь и люди отличаются друг от друга — степенью, мерой этого удивления. За что же отметил меня бог роковым знаком удивления, думанья, «умствования» так сугубо, зачем все растет и растет во мне оно? Умствуют ли мириады этих ночных, степных цикад, наполняющих вокруг меня как бы всю вселенную своей любовной песнью? Они в раю, в блаженном сне

жизни, а я уже проснулся и бодрствую. Мир в них и они в нем, а я уже как бы со стороны гляжу на него. «Пожирает сердце свое глупец, сидящий праздно. Кто наблюдает ветер, тому не сеять...»

Я слушаю и думаю. И от этого я бесконечно одинок в этом полночном безмолвии, колдовски звенящем мириадами хрустальных источников, неиссякаемо, с великой покорностью и бездумностью льющихся в какое-то бездонное Лоно. Горний свет Юпитера жутко озаряет громадное пространство между небом и морем, великий храм ночи, над царскими вратами которого вознесен он как знак святого духа. И я один в этом храме, я бодрствую в нем.

День есть час делания, час неволи. День во времени, в пространстве. День — исполнение земного долга, служения земному бытию. И закон дня повелевает: будь в делании и не прерывай его для осознания себя, своего места и своей цели, ибо ты раб земного бытия и дано тебе в нем известное назначение, звание, имя. А что есть ночь? И подобает ли человеку быть пред лицом ее в бодрствовании,

В том непостижимом, что есть наше «умствование»! Заповедано было не вкушать от за-претного плода, и вот послушай, послушай их, этих самозабвенных певцов: они не вкушали и не вкушают! И что иное, как не слово-словие им, вынесли Екклезиасты из всей своей мудрости? — это они сказали: «Все суета сует, и нет выгоды человеку при всех трудах его!» Но они же и прибавили — с горькой завистью: «Сладок сон работающего! И нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, и есть с веселием хлеб свой, и пить в радости сердца вино свое!» Что есть ночь? То, что раб времени и пространства на некий срок свободен, что снято с него его земное назначение его земное имя, звание, — и что уготовано ему, если он бодрствует, великое искушение: бесплодное «умствование», бесплодное стремление к пониманию, то есть непонимание сугубое: непонимание ни мира, ни самого себя, окруженного им, ни своего начала, ни своего конца.

У меня их нет, — ни начала, ни конца.

Я знаю, что мне столько-то лет. Но ведь мне сказали это, то, что я родился в таком-то

году, в такой-то день и час: иначе я не знал бы не только дня своего рождения, а следовательно, и счета моих лет, но даже и того, что я существую по причине рождения.

Рождение! Что это такое? Рождение! Мое рождение никак не есть мое начало. Мое начало и в той (совершенно непостижимой для меня) тьме, в которой я был зачат до рождения, и в моем отце, в матери, в дедах, прадедах, ибо ведь они тоже я, только в несколько иной форме, из которой весьма многое повторилось во мне почти тождественно. «Я помню, что когда-то, мириады лет тому назад, я был козленком». И я сам испытал подобное (как раз в стране того, кто сказал это, в индийских тропиках): испытал ужас ощущения, что я уже был когда-то тут, в этом райском тепле.

Самообман? Самовнушение?

Но ведь так вероятно, что мои пращуры обитали именно в индийских тропиках. Как же могли они, столько раз передававшие своим потомкам и наконец передавшие и мне почти точную форму уха, подбородка, бровных дуг, как могли они не передать и более

тонкой, невесомой плоти своей, связанной с Индией? Есть боящиеся змеи, пауков «безумно», то есть вопреки уму, а ведь это и есть чувство какого-то прежнего существования, темная память о том, например, что когда-то древнему пращуру боящегося постоянно грозила смерть от кобры, скорпиона, тарантула. Мой пращур обитал Индии. Почему же, при виде кокосовых пальм, склоненных с океанийского побережья, при виде голых темно-коричневых людей в теплой тропической воде, не мог вспомнить я того, что я чувствовал некогда, будучи синим голым темно-коричневым предком?

Но нет у меня и конца.

Не понимая, не чувствуя своего рождения, я не понимаю, не чувствую и смерти, о которой я тоже не имел бы даже малейшего представления, знания, а может, и ощущения, родись я и живи на каком-нибудь совершенно необитаемом, без единого живого существа, острове. Я всю жизнь живу под знаком смерти — и все-таки всю жизнь чувствую, будто я никогда не умру. Смерть! Но каждые семь лет человек перерождается, то есть незаметно

умирает, незаметно возрождаясь. Значит, не раз перерождался (то есть умирал, возрождаясь) и я. Умирал — и, однако, жил, умер уже многократно — и, однако, в основе все тот же, что и прежде, да в придачу еще весь полон своим прошлым.

Начало, конец. Но страшно зыбки мои представления времени, пространства. И с годами все больше не только чувствую, но и сознаю я это.

Меня выделили из многих прочих. И хотя всю жизнь я мучительно сознаю слабость и недостаточность всех моих способностей, я, по сравнению с некоторыми, и впрямь не совсем обычный человек. Но вот именно поэтому-то (то есть в силу моей некоторой необычайности, в силу моей принадлежности к некоторому особому разряду людей) мои представления и ощущения времени, пространства и самого себя зыбки особенно.

Что это за разряд, что это за люди? Те, которых называют поэтами, художниками. Чем они должны обладать? Способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну,

свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих, — то есть, как принято говорить, способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью. А для того, чтобы быть одним из таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.

Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия. И вот Будда, Соломон, Толстой...

Гориллы в молодости, в зрелости страшны

своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Разительное сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми! И вообще, сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды (и припадки Магомета, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока», то есть вне всяких законов времени и пространства, переносили из Медины в Иерусалим — на Камень Мория, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным).

Все Соломоны и Будды сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, по-

том великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи, — вот она, эта звенящая, колдующая Майя, послушай, послушай ее! — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...

Слабое движение воздуха, запаха цветов из цветника и морской свежести неожиданно доходит до балкона. И через минуту слышится шорох, тихий вздох полусонной волны, медленно накотившейся где-то внизу на берег. Счастливая, дремотная, бездумная, покорная, умирающая, не ведая того! Накатилась, плеснула, озарила пески бледно-голубым сиянием, — сиянием несметных жизней, — и так же медленно потянулась назад, возвращаясь в колыбель и могилу свою. И несметные жизни поют окрест как будто еще иступленнее, и Юпитер, золотым потоком льющийся в великое зеркало вод, блещет в небесах как будто еще страшнее и царственнее...

Разве я уже не безначален, не бесконечен, не вездесущ?

Вот десятки лет отделяют меня от моего младенчества, детства. Бесконечная дан-

ность! Но стоит мне лишь немного подумать, как время начинает таять. Не раз испытал я нечто чудесное. Не раз случалось: вот я возвратился в те поля, где я был некогда ребенком, юношей, — и вдруг, взглянув кругом, чувствую, что долгих и многих лет, прожитых мной с тех пор, точно не было. Это совсем, совсем не воспоминание: нет, просто я опять прежний, совершенно прежний. Я опять в том же самом отношении к этим полям, к этому полевому воздуху, к этому русскому небу, в том же самом восприятии всего мира, какое было у меня вот здесь, на этом проселке, в дни моего детства, отрочества!

В такие минуты не раз думал я: каждый миг того, чем я жил здесь когда-то, оставлял, таинственно отпечатлевал свой след как бы на каких-то несметных, бесконечно-малых, сокровеннейших пластинках моего Я — и вот некоторые из них вдруг ожили, проявились. Секунда — и они опять меркнут во тьме моего существа. Но пусть, я знаю, что они есть, «Ничто не гибнет — только видоизменяется». Но, может, есть нечто, что не подлежит даже и видоизменению, не подвергается ему не толь-

ко в течение моей жизни, но и в течение тысячелетий? Великое множество таких впечатков передано мне моими предками, пращурами. Богатство способностей, гений, талант, — что это, как не богатство этих впечатков (и наследственных, и благоприобретенных), как но та или иная чувствительность их и количество их проявлений в луче того Солнца, что откуда-то падает па них порою?

Недавно, проснувшись случайно на рассвете, я вдруг поразился мыслью о своих годах. Казалось когда-то, что это какое-то особое, почти страшное существо — человек, проживший сорок, пятьдесят лет. И вот таким существом стал наконец и я. Что же я такое, сказал я себе, чем именно счал я теперь? И, сделав маленькое усилие воли, взглянул на себя как на постороннего, — как дивно, что мы это можем! — я, конечно, совершенно живо ощутил, что я и теперь совершенно тот же, кем был и в десять, в двадцать лет.

Я зажег огонь, посмотрел в зеркало: да, есть уже сухость, определенность черт, есть серебристый налет на висках, несколько по-

блек цвет глаз... Но что с того?

И я особенно легко встал, вышел в другие комнаты, еще чуть светлеющие, еще по-ночному спокойные, но уже принимающие новый, медленно рождающийся день, слабо и таинственно разделивший на уровне моей груди их полутьму.

Покой, особый, предрассветный, царил еще и во всем том огромном человеческом гнезде, которое называется городом. Молчаливо и как-то по-иному, чем днем, стояли многооконные дома с их многочисленными обитателями, столь как будто разными и столь одинаково преданными сну, бессознанию, беспомощности. Молчаливые (и еще пустые, еще чистые) лежали подо мной улицы, по уже зелено горели газовые огни в их прозрачном сумраке. И вдруг опять испытал я то непередаваемое чувство, которое испытываю всю жизнь, когда мне случается проснуться на ранней заре, — испытал чувство великого счастья, детски доверчивой, душу умиляющей сладости жизни, чувство начала чего-то совсем нового, доброго, прекрасного — и близости, братства, единства со всеми живущи-

ми на земле вместе со мною. Как я понимаю всегда в такие минуты слезы Петра-апостола, который именно на рассвете так свежо, молодо, нежно ощутил всю силу своей любви к Иисусу и все зло содеянного им, Петром, накануне, ночью, в страхе перед римскими солдатами! Я опять пережил совершенно, как свое собственное, это далекое евангельское утро в Элеонской оливковой роще, это отречение Петра. Время исчезло. Я всем существом своим почувствовал: ох, какой это ничтожный срок — две тысячи лет! Вот я прожил полвека: стоит только увеличить мою жизнь в сорок раз, и будет время Христа, апостолов, «древней» Иудеи, «древнего» человечества. То же самое солнце, что когда-то увидел после своей бессонной ночи бледный, заплаканный Петр, вот-вот опять взойдет и надо мною. И почти те же самые чувства, что наполнили когда-то Петра в Гефсимании, наполняют сейчас меня, вызывая и на мои глаза те же самые слезы, которыми так сладко и больно заплакал Петр у костра. Так где же мое время и где его? Где я и где Петр? Раз мы так слились хотя бы на мгновение, где же оно, это мое Я, утвердить и

выделить которое так страстно хотелось мне всю жизнь? Нет, это совсем, совсем ничего не значит, — то, что я живу на земле не во дни Петра, Иисуса, Тиверия, а в так называемом двадцатом веке! И сколько я жил в воображении чужими и далекими жизнями, чувством, будто я был всегда и всюду! А где грань между моей действительностью и моим воображением, моими чувствами, которые есть ведь тоже действительность, нечто несомненно существующее?

Всю жизнь сознательно и бессознательно, преодолеваю, разрушаю я пространство, время, формы. Неутолима и безмерна моя жажда жизни, и я живу не только своим настоящим, но и всем своим прошлым, не только своей собственной жизнью, но и тысячами чужих, всем, что современно мне, и тем, что там, в тумане самых дальних веков. Зачем же? Затем ли, чтобы на этом пути губить себя, или затем, чтобы, напротив, утверждать себя, обогащаясь и усиливаясь?

Есть два разряда людей. В одном, огромном, — люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди

как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, очень сравнительно малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету дела ним и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди «умствования», уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же — о каждом миге своего настоящего. Эти люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Эти люди райски чувственные в своем мироощущении, но рая уже лишены. Отсюда и великое их раздвоение: мука ухода из Цепи, разлу-

ка с нею, сознание тщеты ее — и сугубого, страшного очарования ею. И каждый из этих людей с полным нравом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды. Ты пребывал в покое, но Ты сам нарушил его: Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: „Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!“ Так, господи, я уже слышу тебя. Но еще горько мне разлучение с обманной и горькой сладостью Бытия. Еще страшит меня твое безначалие и твоя бесконечность...»

Да, если бы запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!

В древнейшие дни мои, тысячи лет тому назад, мерно говорил я о мерном шуме моря, пел о том, что мне радостно и горестно, что синева небес и белизна облаков далеки и прекрасны, что формы женского тела мучительны своей непостижимой прелестью. Тот же я и теперь. Кто и зачем обязал меня без отдыха

нести это бремя — непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать не просто, а с точностью, красотой и силой, которые должны очаровывать, восхищать, давать людям печаль или счастье? Кем и для чего вложена в меня неутолимая потребность заражать их тем, чем я сам живу, передавать им себя и искать в них сочувствования, единения, слияния с ними? С младенчества никогда ничего не чувствую я, не думаю, не вижу, не слышу, не обоняю без этой «корысти», без жажды обогащения, потребного мне для выражения себя в наибольшем богатстве. Вечным желанием одержим я не только стяжать, а потом расточать, но и выделиться из миллионов себе подобных, стать известным им и достойным их зависти, восторга, удивления и вечной жизни. Венец каждой человеческой жизни есть память о ней, — высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой, — зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончания веков себя,

свои чувства, видения, желания, одолеть то, что называется моей смертью, то, что непременно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!» И тем страстнее кричу, что ведь на деле-то я по устроивший, а разоряющий себя — и не могущий быть иным, раз уже дано мне преодолевать их, — время, пространство, формы, — чувствовать свою безначальность и бесконечность, то есть это Всеединое, вновь влекущее меня в себя, как паук паутину свою.

А цикады поют, поют. Им тоже оно дано, это всеединое, но сладка их песнь, лишь для меня горестная, — песнь, полная райской бездумности, блаженного самозабвения.

Юпитер достиг предельной высоты своей. И предельного молчания, предельной неподвижности перед лицом его, предельного часа своей красоты и величия достигла ночь. «Ночь ночи передает знание». Какое? И не в этот ли сокровенный, высший час свой?

Еще царственнее и грознее стал необъятный и бездонный храм полнозвездного

неба, — уже много крупных предутренних звезд взошло на него. И уже совсем отвесно падает туманно-золотистый столп сияния в млечную зеркальность летаргией объятого моря. И как будто еще неподвижнее темнеют мелкие деревья, ставшие как бы еще мельче, в этом скудном южном саду, усыпанном бледною галькой. И непрерывный, ни на секунду не смолкающий звон, наполняющий молчание неба, земли и моря своим как бы сквозным журчанием, стал еще более похож на какие-то дивные, все как будто растущие хрустальными винтами цветы... Чего же наконец достигнет это звенящее молчание?

Но вот он опять, этот вздох, вздох жизни, шорох накатившейся на берег и разлившейся волны, и за ним — опять легкое движение воздуха, морской свежести и запаха цветов. И я точно просыпаюсь. Я оглядываюсь кругом и встаю. Я сбегая с балкона, иду, хрустя галькой, по саду, потом бегу вниз, с обрыва. Я иду по песку и сажусь у самого края воды и с упоением погружаю в нее руки, мгновенно загорающиеся мириадами светящихся капель, несметных жизней... Нет, еще не настал мой

срок! Еще есть нечто, что сильнее всех моих умствований. Еще как женщина вождеденно мне это водное ночное лоно...

Боже, оставь меня!

Приморские Альпы. 17 сентября 1925

Обуза

После ужина пили чай, жадно и торопливо просматривали газеты, только что принесенные с почты. Вес то же, все та же жуткая чепуха! Потом вес постепенно разошлись спать. Остался один и все читал, возмущаясь и волнуясь. Вдруг случайно взглянул на окна: за переплетами старых рам — красота старых сосен и елей, романтическая путаница их хвои, ветвей, сучьев и синее небо апрельской лунной ночи. Быстро встал, прошел в лакейскую, внял картуз и палку, вышел на крыльцо... Ах как прекрасна ночь! что за ночь!

Крыльцо и вся эта сторона дома в лунной прозрачной тени, впереди — просторный светлый двор и озаренные стены и старые крыши подпорных построек. Сбежал с крыльца легко, молодо, повернул к саду: ночь свежая, но сухая, полная луна стоит высоко, небо

совершенно чисто. Вошел в аллею — она еще голая, извилистые короткие тени спокойно лежат на сухой земле, по которой так приятно идти. Далеко насквозь виден голый сад.

Из аллеи повернул на дорожку между кустами сирени и акаций: светлая ночь сияет в уюте сада, над его полянами, на которых стоят низкорослые старые яблони, уже зацветшие. Луна смотрит с высоты прямо в лицо. Вдали направо, во флигеле, уже много лет догнивающим в саду без призора, светится огонек. Иду на него.

Поднявшись на крылечко и отворив дверь из сеней в прихожую, не сразу понимаю, что это такое: ад какой-то! Прихожая вся полна едкого дыму, в дыму багрово коптит на столе лампочка, а из дымной печки красными языками вырывается пламя. Старик, сидя на полу на коленях, топит. Он энергично, с сухим треском, ломает костлявыми руками бурьян, пихает его в печку, и огонь вместе с клубами дыма то и дело вышибает назад.

Я хлопнул дверью, входя, я подхожу к самой печке, но старик или не слышит, или не хочет слышать. Он не оборачивается, ломает,

пихает и глядит с тем странным вниманием, с которым люди всегда глядят на огонь, Он в замызганном, ссохшемся от времени полушубчишке и в моей старой шляпе. Глаза у него от дыму красны, как раны, плачут, но он, не обращая на это внимания, глядит. Лицо морщинистое, китайское, с ошипанной седой бородкой.

— Здравствуй, Ефрем. Что не спишь, один сидишь?

Он точно сразу просыпается и дико взглядывает на меня. Потом крепко, отрывисто:

— Как один?

— Да как же, все давно спят, один ты сидишь.

— Я не один.

— А с кем же?

— С богом.

— А затопил почему?

— Почему! Лег было, да холодно. Застыл весь. Тебе хорошо в теплых хоромах.

— И трубу, верно, не открыл как следует — ишь сколько дыму напустил.

— Не достану я ее открыть, как следует. Открыл как попало, затопил и сажу... Вот так и

живу, ночь в день оборачиваю. Да. Другие померли, а меня земля забыла. Что ж делать! Хочешь, не хочешь — живи!

— Это правда. А у тебя ведь, кажется, и родных никого нету?

— Захотел родных!

— И детей не было?

— Были, да сплыли. А жена — на кой она мне ляд?

— Все вдвоем-то лучше.

— С лучком! По могилам вдвоем не лежат.

— Так. Значит, плохо дело?

— Чужая печка холодна.

— А на свою не хочешь. Кто ж виноват? Ведь у тебя, говорят, свой дом есть?

— Сам же и виноват. Дома во сто раз скучнее. Забота да обуза. Забота да скука, только и всего... А тут я как птица. Встал и ушел, только и всего.

Помолчав:

— Да и дом-то мой — одни чурки. И земли нету.

— Ну вот, теперь лучше, говорят, будет. Теперь революция. Слышал небось?

— Какая еще такая революция?

— Такая, чтобы, значит, всем стало лучше.

— Никогда этого не будет.

— Как не будет? Вот тебе, например, земли дадут.

Он вдруг бросил ломать и пихать, сел, отвалившись назад, на ноги, и, обернувшись ко мне, заговорил уже яростно:

— Знаю. Ну, знаю, слышал. Царя, говорят, сместили?

— Да, сместили. А что ж, разве плохо?

— Я этого не знаю. И знать не хочу. Одно нарушение.

— Нарушенье чего?

— Всего. Черти, дураки! Жили легко, без заботы. А теперь, значит, обо всем сам голову ломай?

— Да ведь земли дадут.

— Обещают! Всего обещают! А мне она, может, без надобности? Спросили разве меня?

И, отвернувшись, опять стал смотреть на прогорающий огонь и, опять начав ломать бурьян, заговорил уже спокойнее, хотя все еще сердито:

— Мне хорошего нечего ждать. Мне те-

перь, слава богу, ничего не надо. А господ нельзя без последствия оставить. Их тоже надо принять к сведению. Разве они умеют работать? И рады бы, да не умеют. А притеснять сдуру нельзя. Говорят — они теперь сами пахать будут! На поле, говорят, всех их будем выгонять! Чего с дурацкой головы не выдумают! Какое это распоряжение? Это что ж — чтоб птица плавала, а рыба летала? Это, значит, притеснять? Нет, тут хорошего никогда не будет. Они, сволочь, измываться хотят. (Повышая голос.) А мне чего ее силком навязывать? Мне ихняя земля не нужна, это одна обуза. Моя земля (стуча пальцем в пол), моя земля вот где! Мне теперь одна дорога. Мне грехи надо отмаливать, на свободе жить. А то что это было? То молодой был, то, в лета вошел, все погоди да успеется, а теперь вот и силы нету, до церкви не дойду! Так-то и с ним, с окаянным, будет.

— С кем?

— Со всяким.

И, нахмурившись, замолчал. Потом вдруг опять повернулся и внезапно, со старческой милой улыбкой, сказал уже совсем другим то-

НОМ:

— И умер бы, может, да умереть-то — попу три рубля, да то да се...

И с улыбкой, еще более задрожавшей:

— А там ну-ка спросят, отчего не пьяный помер, без всякого удовольствия...

— Значит, есть такой указ, чтобы пьяному туда являться?

— А как же? Обязательно! Обязательно, чтоб немножко замолаживало, повеселей да и пооткровеннее, в одних порточках!

И вдруг опять рассердился и опять закричал:

— А про эти дела я ничего не знаю! Не знаю и знать не хочу!

Я долго смотрел на него. Он молчал, глядя в огонь.

— Ну, до свиданья, — сказал я наконец. — Ложись спать, спокойной ночи.

— Налезусь еще в земле, успеется, — отрывисто бросил он, не поворачивая головы. — Иди, иди, прощай...

Я вышел и, опять через сад, пошел на гумно, в поле.

Далеко насквозь виден голый сад.

Низко стоит и мистически-радостно смотрит из-за дальних вековых берез, белеющих стволами возле вала, какая-то крупная звезда.

Приморские Альпы. 1925

Воды многие

*Господь над водами многими...
Псалтирь*

12 февраля 1911 г., ночью, в Порт-Саиде. Первая ночь на «Юнане». Капитан сказал, что пойдём не спеша, на Цейлоне будем не раньше, чем через полмесяца, и я чувствую себя в этой большой и покойной каюте уже как дома, хозяином.

Вышло как раз то, о чем мы мечтали зимой в Египте: попасть на один из тех пароходов, которые, будучи пассажирскими, ходят теперь в качестве грузовых по своей отсталости от современных удобств, по слишком ограниченному числу кают, по долгим стоянкам в портах. «Юнан» довольно велик, прост и стар, но чист, крепок, сидит глубоко, его кают-компания и двенадцать пассажирских помещений расположены не на корме, а на

спардеке. Все каюты, кроме двух наших, пусты, — «вы будете как на собственной яхте», пошутил капитан, принимая нас в виде исключения на «Юнан». Он прибавил: «Только вам придется жить с экипажем совсем по-семейному, довольствоваться тем, что готовят нам, время проводить почти в одиночестве, — ведь мы круглые сутки заняты». Но это-то нам и нравится, сказали мы ему.

Капитан, крепкий, полнеющий француз, по-французски самодоволен и уверен в себе, по-французски предупредителен и вежлив с нами, но и равнодушен по-французски, говорит любезности и остроты, не меняя выражения лица. Два его помощника и младший механик малозаметные фигуры. Механик старший, — большой, грузный, усатый брюнет с несколько как бы яростными и изумленными глазами, я думаю, недалек, горяч и отходчив. Остальные обитатели «Юнана» — повар, два поваренка, подросток-китаец для мелких услуг, красавец лакей, несколько кочегаров и десяток матросов.

Мы перебрались на «Юнан» к обеду. И обед имел совсем домашний характер. По-домаш-

нему приготавливалось и кофе, — не в поварской, а в столовой, собственноручно: молот старший механик, засыпал и варил первый помощник. Это было венцом обеда, некоторым священнодействием. После обеда все разошлись, кто на вахту, кто спать перед вахтой.

На пароходе уже давно тишина. Тихо и на рейде. Вот вторая склянка, — успокаивающий и слегка грустный звон: бам-бам, бам-бам, — десять часов. Я выбрал себе одну из трех кают возле кают-компания, — каюты на верхней палубе меньше и будут в тропиках жарче. У меня просторно и все прочно, на старинный лад. Есть даже настоящий письменный стол, тяжелый, прикрепленный к стене, и на нем электрическая лампа под зеленым колпаком. Как хорош этот мирный свет, как свеж и чист ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню, и как я счастлив этим чистым, скромным счастьем!

Суздальская древняя иконка в почерневшем серебряном окладе, с которой я нигде не расстаюсь, святыня, связующая меня нежной и благоговеющей связью с моим родом, с ми-

ром, где моя колыбель, мое детство, — иконка эта уже висит над моей корабельной койкой. «Путь твой в море и стезя твоя в водах великих и следы твои неведомы...» Сейчас, благодарный и за эту лампу, и за эту тишину, и за то, что я живу, странствую, люблю, радуюсь, поклонюсь тому, кто незримо хранит меня на всех путях моих своей милосердной волей, и лягу, чтобы проснуться уже в пути. Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, боже, сроки мои!

13 февраля, Суэцкий канал.

Не слышал, как снялись, — пошли раньше, чем предполагали, задолго до рассвета, когда крепко спал. Потом стал будить скрежет над головой, — это взад и вперед ползала по верхней палубе рулевая цепь: канал извилист, то и дело надо лавировать. Но этот же скрежет и усыплял, усыпляло его однообразие и ощущение, что ты уже в дороге.

День облачный, мутный, ветер сильный и

мягкий. К полудню мы были уже далеко от Порт-Саида, в совершенно мертвом, от века необитаемом царстве. И долго провожала нас слева, маячила в мути пустыни и неба чуть видная, далекая вершина Синая, и весь день прошел под его величавым и священным знаком, был связан с чувством его близости, его ветхозаветного, но вместе с тем и ночного владычества, ибо это вечно, вечно: «Аз есмь господь бог твой... Помни дни господин... Чти отца и мать твою... Не делай зла ближнему твоему... Но желай достояния его...»

Я ходил по верхней палубе, сидел, читал, думал о многом и разном, но за всем был Синай. Я смотрел в туманную пустыню справа, в сторону Египта, смотрел на пески впереди, но все время чувствовал тот жуткий в своей древности и вечности Образ, что сопровождал нас слева, с аравийской стороны, своей как бы повисшей в неясном небе, над розовым туманом, громадой. И это и страшило, как страшит все великое, и восторгало. Разве эта гора как все горы на земле? Несчетные мириады тех, что рождались на земле в течение этих тысячелетий, узнавали о нем с мла-

денчества, на первом пороге жизни, и до гроба жили (покорно или строптиво, грешно или снято, а все-таки жили) под властью того, что заповедано на нем, на Синае. Вот истинно незыблемый маяк человечества, столп и основание его бытия, престол законов, их же без кары не преступишь!

Мысль об этой незыблемости и о той связи, которую рождает между людьми почитание синайских скрижалей, вмененное в одинаковую священнейшую обязанность миллионам людей, отзывается в сердце великим утешением. Да, уже целые тысячелетия, из века в век, из часа в час, из сердца в сердце передается всех и вся равняющий и единящий завет: чтить скрижали Синая. Сколько раз человечество восставало на них, дерзко требовало пересмотра, отмены их велений, воздвигало кровавые схватки из-за торжества новых заповедей, в кощунственном буйстве плясало вокруг золотых и железных тельцов! И сколько раз, со стыдом и отчаянием, убеждалось в полном бессилии своих попыток заменить своей новой правдой ту старую, как мир, до дикости простую правду, которая некогда, в

громах и молниях, возведена была вот в этой дикой и вечной пустыне со скалистых синайских высот!

Я сидел, смотрел... Сильно дул в лицо летний ветер, тепло солнца, все скрывавшегося за легкими, сливающимися клубами облаков, грело меня, грело белую сухую палубу. Ветер нес незримую, тончайшую песчаную пыль, с места на место пересыпая песчаные бугры и заноса канал все с тем же бесцельным прилежанием и упорством, с которым заносил он и каналы фараонов, давно погибшие, неведомые нам. Канал извивался, вода его зеленела то бледнее, то ярче в зависимости от солнца, порой заходившего в облака, порой озарявшего светом, радостью. Медленно проходили мимо засыпанные песком кустарники, насаженные по песчаным буграм вдоль канала. Мир был безгранично пуст — ни единого живого существа вокруг, ни единого жилья, кроме редких сторожевых мазанок, таких одиноких в этом серо-желтом море и со всех сторон теснимых желтыми сугробами. Но, казалось, душа всего человечества, душа тысячелетий была со мной и во мне. «Не пожелай дома

ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни осла его...» И меня охватывало умиление. Какая пастушеская наивность выражений! Но как это трогает и радует, — то, что человечество и доныне сохранило в полной неприкосновенности эти древние, наивные формы заповедей! Мы и не подозреваем всей силы таинственного влияния этой архаичности, ее неизменности и независимости от преходящих земных условий. Она разрушает преграды времени, места, национальности, она говорит всем языкам людским только одним, только своим, только аравийским языком, и из тысячелетий в тысячелетия мириады самых разноплеменных человеческих душ, начинающих свое земное существование, младенческими голосами внушающих себе и другим для всех равно обязательные синайские законы, хранят только этот язык: ни раба его, ни осла его.

Я сидел и думал: все-таки оно есть в мире — нечто незыблемо-священное. В гигантском человеческом таборе, который стремится, невзирая на все свои блуждания, все-таки вперед, в какую-то обетованную землю, в

пестром и шумном стане, который ютится в низкой земной юдоли, а все-таки у подножия неких горних высот, кипит мелкая, будничная жизнь, царит человеческое ничтожество, человеческая слабость, убогая гордыня, злоба, зависть, и божьи избранники, пророки, мудрецы не раз содрогались в этом таборе от ужаса перед его мерзостью, в отчаянии дробили о камень скрижали синайского завета между человеком и богом — и все-таки снова и снова собирали раздробленное, снова воздвигали веете же самые уставы, ибо снова и снова гремели из мглы и туч омраченных высот все те же страшные, но и утешающие, указующие спасительный путь глаголы:

— Вы видели, что я сделал с египтянами (за зло их) и как носил я вас на орлиных крылах (на крылах вечной мощи моей)... Вот я прихожу к вам в густом облаке и молниях (ибо омрачен престол правды моей и разгневано сердце мое): пусть слышит народ, как я буду говорить, и пусть поверит навсегда...

Там, в вечной Книге Книг, так и сказано: навсегда. Младенчески бедны уставы, навсегда долженствующие быть нашей норой и ве-

рой и нашим правилом, но в этом-то и сила их. Пастушеской простотой звучат они, но в простоте-то и вечность их, подобная вечности вот этого неба (простого синеющего воздуха), вот этой земли (простых песков и камня).

«Чти отца и мать твою» — что, казалось бы, может быть проще и беднее этих слов? А меж тем скорее солнце сойдет с своего пути, чем потеряют они свою повелительную силу и свою святость, ибо во веки веков будет свято чувство рожденного к родившим его, к тем, которые всей силой своей любви сохранили его в пору его слабости и незащитности. Да и так ли уж проста она, эта нежнейшая из заповедей? Она говорит: «Чти отца и мать твою», — и прибавляет: «Дабы продлились дни твои». К чему оно здесь, это добавление о долготе дней? И о чем идет в нем речь? О награде от бога за почтительность? Нет, смысл заповеди гораздо глубже. Она говорит: чувство связи, — а не может быть связи без почитания, — чувство единства с родившими тебя, с жизнью отцов твоих, расширяет твою собственную, личную, краткую жизнь; возвышая их, воздавая сыновнюю дань своим от-

цам, утружденным жизненным бременем, таинством Бытия и любовью к тебе, ты возвышаешь самого себя, то есть существо, во всем подобное им: ты их порождение, их плод; чти же древо, давшее плод, если притязает быть и сам достойным почитания, ибо не может быть плода доброго с недоброго древа; единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши, — стремись же ощущать это единство и благоговей: в нем твое бессмертие (долгота дней) и самоутверждение.

А заповедь о достоянии? «Не пожелай дома ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни осла его, ни всякого достояния его...» Какая опять как будто нехитрая и, главное, спорная истина! Не пожелай! А я вот желаю и желаю с очень достаточными основаниями: «Собственность есть кража, и, уж во всяком случае, ничего священного я в ней не вижу!». Но и тут только видимость простоты и легкой оспоримости. Нет, надо весьма немного подумать, чтобы понять всю вечность и глубину и этого синайского наказа. Нет, сколько бы ни изрекала дерзостей человеческая глупость,

человеческая зависть, оно поистине священно, это достояние ближнего моего, приобретаемое не всегда же случаем, а обычно ценою не только всей его жизни, но и жизни целого рода его. И посему трижды священна пальма, посаженная его отцом и потому никак не могущая быть общей; священ колодец, вырытый его дедом, то есть хранящий некую частицу деда, его труда, его мысли, его души и, значит, как бы даже некое его бессмертие, продолжение, продление его земной жизни; священ старый дом, где мой ближний жил и хочет жить по-своему, во всей сокровенности своей личности, своих особенностей, своего гнезда, и где он то и дело ощущает, вспоминает (то есть воскрешает) себя то ребенком, то отроком, то юношей, то мужем, со всеми своими былыми горестями и радостями, и, кроме того, чувствует себя наследником, продолжателем всех тех традиций, всей той культуры, которая уже создана на месте его дома... Какая кровь может смыть вторжение постороннего в это «достояние», в это святая святых человека!

14 февраля, Красное море.

Вчера, как только стемнело, на баке «Юна-на» подняли большой электрический фонарь, целое солнце, и далеко ударил в темноту впереди белый слепящий свет. Влачась по изгибам канала, точно кит, заплывший в реку, «Юнан» зорко озирал все то, что было на его пути, — мутную воду, пласты бурого ила на побережьях, пересыпанные песком кустарники, лодки возле сторожевых пунктов, женские фигуры босоногих феллахов, на корточках сидевших в своих длинных рубахах на кормах лодок... Этот ил, эти аравийские пески, эти первобытные люди опять напоминали о жизни глухой, ветхозаветной, но впереди то и дело пронизывали темный горизонт прожекторы встречных пароходов. И раз «Юнан» даже совсем притих, неуклюже привалился к берегу, чтобы пропустить чуть не целый плавучий город: встречный великан надвигался на нас, резко и фиолетово, подобно горящему магнию, сияя широкими и нестерпимо блестящими лучами своего солнца, потом совершенно затопил нас как бы дневным светом — и с шумом прошел мимо

всеми своими этажами, высокими мачтами и черными трубами, золотом освещенных иллюминаторов и раскрытых дверей, за которыми трала послеобеденная музыка и переполненных народом залах... Странное для синайских песков зрелище!

Когда нас снова окружила темнота, я посмотрел на небо. Ветер стих, небо было чисто. Небо от большого количества звезд первой величины было мрачно и торжественно.

В двенадцатом часу чуть видные в темноте берега стали расходиться, воздух изменился, стал более влажный, морской; чувствовалось, что кругом только одна вода, впереди были рассыпаны далекие огни на Суэцком рейде...

Проснулся уже в Красном море. Ночью опять поднялся ветер и развел такое волнение, что, выйдя нынче в кают-компанию к кофе, я увидел в ней странный полусвет, — все иллюминаторы, выходящие на бак, были закрыты наглухо: так швыряло волной навстречу.

На палубе слепило. В снастях выло, свистало. В воздухе веяла водяная свежесть, мешалась со зноем высокого, высокого солнца. Все

море ходило долинами, холмами, верхушки этих холмов ярились пеной. Ветер рвал ее, и белые хлопья, залетавшие иногда на палубу и быстро скипавшие с гладких досок, резко горели серебром. «Юнан» медленно кланялся солнечному морю, шедшему на него ухабистой и сияющей равниной. Какие-то странные серые птички с совершенно круглыми крылышками в черной каемке перелетали по снастям, по поручням бортов. Откуда их занесло? Сколько разнообразнейших жизней в мире, о которых мы и не знаем, никогда не думаем!

Я долго не без некоторой хищной хитрости ходил за этими птичками по заваливающемуся то на один, то на другой бок пароходу. Одни подпускают очень близко, эти птички, а все-таки чуют правду — в конце концов пугаются и улетают. Сидит и неподвижно смотрит на тебя черным глазком: кто ты такой, что хочешь со мной сделать? И едва сделаешь лишний шаг — птичка порх и уже где-нибудь высоко, на рее. Нет, никакая жизнь не верит другой! И не без основания...

Сейчас звонят к завтраку. Блеск и зной, мо-

ре успокаивается, ветер слабеет.

15 февраля.

За вчерашний день все чрезвычайно изменилось, — менялось чуть не каждый час. И вот оно уже наступило, то вечное светоносное лето совершенного для меня мира, которое говорит о какой-то давно забытой нами, райской, блаженной жизни. К вечеру всем нам пришлось надеть все белое, и в этом было что-то праздничное. Ветер совсем упал, море совсем улеглось, и вообще все, по словам моряков, пришло в полный порядок, в тот покой, в то радостное и сияющее однообразие, из которого мы теперь не выйдем до самого возвращения в Средиземное море.

А поздно вечером капитан поздравил нас со вступлением в тропики. Итак, заветная черта, о которой столько мечтал я, перейдена. Ночью долго стояли на корме. След от винта горит, в его бушующей пене плавают тысячи синих звезд, то и дело возникают и распускаются в лазурный дым целые блюда пламени.

Спать было уже душно. Мерно жужжит в теплой темноте каюты электрический венти-

лятор, но его веяние только ласкает.

Нынче утро еще жарче. Проснулся в шесть от шума воды-матросы, как всегда в этот час, «скатывали» палубу, затопляли ее из шлангов, терли швабрами, и этот шум, свежий, водяной, был очень сладок в том зное и блеске, присутствие которого в мире я почувствовал еще в постели.

Затем натянули белые тенты над нижней палубой — dokonчили картину. Вот теперь уже все тропическое: и эта легкая жаркая тень под тентами, и резкое серебро белых одежд, белой обуви и белых шлемов на морях, и их страшные черные очки.

Начали и мы тропическую жизнь, — блаженное безделье, лежанье в длинных камышовых креслах на палубе, в прозрачной, полной света, тени. Смотрим на светлую пустоту сияющего неба, видную между бортом и тентом, дивимся на воду, что сквозит в решетке поручней. Это драгоценный прозрачный камень, сплав зеленых самоцветов, в прозрачности которого дымится зеленая муть. Сплав идет, качается, по временам растет острыми хребтами и закипает с сильным и чарующим

шумом. Повар, — он родом откуда-то из Пиренеев, — работает на кухне и поет чудесным, порою очень высоким голосом. И песня со сладкой грустью говорит о счастье жить, любить, мечтать в этом светоносном божьем мире...

После обеда сидели наверху, в большой каюте капитана. Он водил пас в штурманскую рубку, показывал небесный глобус, те новые южные звезды, которые уже открываются нам.

Ночью.

Второй час. Не могу заснуть, — таким счастливым чувствую себя.

Лежа в темноте, вспомнил штурманскую рубку, думал о рулевом. Вот он и сейчас прямо и ровно стоит там, наверху, белеет своей матроской в сумраке, держит за рога рулевое колесо, смотрит на большой медный диск, лежащий перед колесом и таинственно освещенный низко спущенной лампочкой под черным колпаком, а на диске зыбко дрожит и, дрожа, медленно ходит, как живая, магнитная стрелка... Истинно высоким саном обле-

чен теперь этот человек, ведущий нашу морскую стезю, сопряженный с теми непостижимыми, божьими силами, которые колеблют, правят эту стрелку!

Восторженно волнуясь, лежал в темноте и думал, а ветер веял и веял в каюту, в открытое окно, в растворенную дверь, глухо билось где-то внизу как бы некое огромное сердце, и мерно возникал, падал и снова рос шум волн, неустанно летевших вдоль бортов.

16 февраля.

В два часа прошли остров Джебель-Таир. Совсем не похож на Средиземные острова. Те всегда очертаниями волнисты, мягки и всегда в голубоватой или нежно-сиреневой дымке воздуха. Этот же совершенно четкий, голый и со всех сторон точно топором обрублен. И цвет его совсем новый для глаза — верблюжий.

Перед вечером слева шли мелкие острова, довольно далеко друг от друга разбросанные. Ближние в упор, но мягко были освещены солнцем, их известковые откосы сияли желто-розовой белизной, а дальний, самый боль-

шой, цвет имел опять верблюжий. Это Двенадцать Апостолов. И все время нас плавно, медленно качало.

В шесть часов, тотчас же после заката солнца, увидел над самой своей головой, над мачтами, в страшно большом и еще совсем светлом небе, серебристую россыпь Ориона. Орион днем! Как благодарить бога за все, что дает он мне, за всю эту радость, новизну! И неужели в некий день все это, мне уже столь близкое, привычное, дорогое, будет сразу у меня отнято, — сразу и уже навсегда, навеки, сколько бы тысячелетий ни было еще на земле? Как этому поверить, как с этим примириться? Как постигнуть всю потрясающую жестокость и нелепость этого? Ни единая душа, невзирая ни на что, втайне не верит этому. Но откуда же тогда та боль, что неотступно преследует нас всю жизнь, боль за каждый безвозвратно уходящий день, час и миг?

А за обедом — человеческая суета сует. «В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род...» Разговор начался с России. И, конечно, вскоре перешел на «царизм», — ведь это для европейца образ всей

России, нечто особенно загадочное и даже ужасное, — коснулся японской войны и перелома, вызванного ее последствиями, затем тех событий, которыми этот перелом сопровождался, и наконец, общих вопросов: о парламентаризме и абсолютизме, о консерваторах, о социальных неравенствах, о собственности. Тут, как и следовало ожидать, вспыхнули страсти.

Капитан оказался крутым собственником, первый помощник его тихим, но стойким общником, и в то время как второй, маленький, черноглазый, похожий на южного итальянца, злым, огненным социалистом, а старший механик вообще революционером, яростным метателем театрально-напыщенных общих фраз. Он, огромный, черный, уса-тый, свирепо скрежетал ручкой кофейной мельницы и, пожирая глазами капитана, мощно декламировал.

Второй помощник не отставал от механика, говорил вместе с ним в одно и то же время, не громко, однообразно и тоже остановив на нем свои злые, как у змеи, сплошь черные глаза. А капитан смотрел на того и на другого

надменно-презрительно, отлично зная и чувствуя, что, невзирая на свою видимую независимость, на всю свободу, с которой будто бы могут французские граждане иметь какие угодно мнения и суждения, эти социалисты побаиваются его. И он был прав, потому что, как только он раскрывал рот, речи обрывались, и он, не спеша, бросал короткие настоятельные фразы.

Медленно допив последнюю, самую сладкую капельку кофе, капитан аккуратно надел картуз, поднялся с видом сытого, сильного и во всем собой довольного человека, с небрежной вежливостью пробормотал обычное приветствие и пошел из столовой. И старший механик проводил его глазами разъяренного кота и театрально прошипел:

— О, старый реакционер!

17 февраля.

Утром прошли Перим.

Сейчас, после завтрака, идем очень близко возле африканского берега, низменного, пустынного, серого, как слон. Виден Обок. Дальше, в бесконечной дали, даже туманной от

обилия солнечного света, поднимаются в небо смутные, знойные признаки Абиссинских гор. Лежу в камышовом кресле на палубе, в жаркой, светлой и душной тени под тентом. Бежит, вспыхивает блеск воды за бортом, но он тусклый. Гляжу из-под тента: и солнце печет тускло, и эти далекие, таинственные горы, словно тусклые, чуть видные тучи... И какая-то великая тоска во всем. Откуда она? От смутной мысли о тех, которых забросила судьба в этот бесконечно одинокий, маленький форт, на эту пядь дикой земли, затерянную среди от века необитаемых пустынь, светоносных и знойных берегов таинственной Африки?

В четыре стали на рейде против Джибутти, довольно далеко от него. Громадный залив, вода зеленая. Вдалеке налево, за линией рифов, эта зелень резко обрезана синью, — там уже Индийский океан. Впереди, на низком побережье, белеет городок, мавританский дворец французского губернатора. Я стоял на верхней палубе, смотрел на него и вдруг увидел: к пароходу быстро несло несколько уз-

ких и темных, глубоко сидевших в зеленой воде пирог, из которых торчали худые и голые черные торсы и седые волосы. А через несколько минут после этого на баке «Юна-на» уже стояла кучка еще никогда мной не виданных людей, тех самых «диких», о которых читал в детстве: кучка высоких черно-шоколадных тел, одинаково узких в плечах и в бедрах, шелковисто-сухих даже на вид. Это были сомалии, о которых говорят, что они еще и теперь не прочь от людоедства. Зубы у них сверкали, на головах высоко курчавилась желтоватая шерсть, — у них обычай обесцвечивать волосы, — шеи поражали длинной, в тонких профилях было что-то козлиное. Некоторые были с луками в рост человека. А я смотрел на их наготу и испытывал какое-то странное, даже как будто стыдное, райское (да, истинно райское) чувство.

До заката сомалии работали, — из Джибути пришла баржа с углем, и они перекидывали уголь из баржи в нутро нашего парохода. К закату баржа опустела. Сомалиям выдали по булке и по бумажному фунтику фиников. И, отдыхая, они сидели на барже и ужинали, а

один стоял на корме Барки и по-мусульмански молился. Никогда, кажется, не видал я такой молитвы, — такой горячей благодарности богу за жизнь, за день труда, за эту булку и горсточку фиников!

18 февраля.

Ездили в Джибутти. Гребцы голые, голые и те, что встречаются в пирогах, то есть, по-нашему, дубках. Глубоко, почти с краями, сидит этот дубок в теплой воде, и из него по пояс торчит тело, работающее одним веслом. И опять сильное, живое чувство первобытного, теплого, райского.

Город маленький, новый, но какой-то забытый богом, захолустный. Магазины как у нас в уездных городах. Ходили на окраину; там лачуги, мухи на мусоре и нечистотах, жара, базар. Дальше — пески, полная пустыня, табор сомалиек, живущих уже совсем по-своему, с первобытной дикостью. Шатры, козы, голые черные дети и, конечно, опять нечистоты... Мерзко? Нет, страшно по первобытности, по древности, а раз так, чувства пробуждаются совсем иные, высокого, почти жуткого

порядка. Тысячелетиями идет эта полуживотная жизнь. Но над нею — нам неведомые божьи цели. В этом грязном человеческом гнезде, среди этой первозданной пустыни, тысячелетиями делятся рождения и смерти, страсти, радости, страдания... Зачем? Без некоего смысла быть и длиться это не может.

Все же какая-то великая тоска, великая безнадежность царит над этим глухим и скудным человеческим жильем.

19 февраля.

Уже в Океане. Совсем особое чувство — безграничной свободы.

Прохладнее от муссона, весь день боковая качка.

Поздно вечером опять были в штурманской рубке, смотрели карту нашего пути: путь наш прямо на восток. Потом был на верхней палубе. Четверть месяца стоит очень высоко и светит очень ярко, — с правой стороны настоящая лунная ночь. Россыпь Ориона в зените. Южный Крест на юге, в большом пространстве почти пустого неба. Смотрел на него и вдруг вспомнил, что у Данте сказано:

«Южный Крест освещает преддверие рая». Слева низко лежала серебром раскинутая по темно-синему небосклону Большая Медведица, под нею, почти на горизонте, печально белела Полярная звезда. А на востоке точно ветром раздувало какую-то огромную и великолепную звезду, ровно и сильно пылавшую красным огнем. И ход наш был прямо на нее.

20 февраля.

Легкий, веселый день, ветер.

В полдень встреча: далеко вдали, в крупной и блестящей волне, плавно и мягко пыряющая барка. Капитан сказал, что это арабы из Персидского залива: путешествуют по-древнему, совершают в таких утлых ладьях огромные переходы, в дорогу с собой беря только рис и пресную воду. И мысль об этих арабах восхитила: люди иных, далеких и блаженных в своей бедной простоте времен, к нашему великому счастью еще существующие на земле!

Долго ходил по палубе с необыкновенной легкостью, наслаждаясь бьющим в лицо ветром. Потом решительно пошел в каюту, развязал набитый книгами чемодан, который

мы с ненавистью таскали всю зиму по отелям в Египте, и торопливо стал отбирать прочитанное и не стоящее чтения. А отобрав, стал бросать за борт и с большим облегчением смотреть, как развернувшаяся на лету книга плашмя надает на волну, качается, мокнет и уносится назад, в океан — навеки. Думала ли она, в свое время мирно лежавшая в орловской деревне, побывать в Каире, у порогов Нила, в Красном море, а потом кончить свои дни в Индийском океане! Поразительная полная неизвестность и случайность всякой земной судьбы. Разве я, например, могу быть уверен, что увижу Цейлон, возвращусь в Россию? Может быть, завтра, послезавтра сбросят мое тело вот в эти же самые волны... И вообще с немалым основанием преследуют меня всю жизнь подобные мысли. Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле. Поминутно думаю: что за странная и страшная вещь наше существование — каждую секунду висишь на волоске! Вот я жив, здоров, а кто знает, что будет через секунду с моим сердцем, которое, как и всякое человеческое сердце, есть нечто такое, чему

нет равного во всем творении по таинственности и тонкости? И на таком же волоске висит и мое счастье, спокойствие, то есть жизнь, здоровье всех тех, кого я люблю, кем я дорожу даже гораздо больше, чем самим собою... За что и зачем все это?

Выбросив несколько книг и успокоившись, будто сделал что-то очень нужное, после чего все должно пойти гораздо лучше, глядел с палубы в пустой простор этих «вод многих», со всех сторон безответно объемлющих нас, все с тем же вопросом в душе: за что и зачем? — и в этой же самой божьей безответности, — непостижимой, но никак не могущей быть без смысла, — обретая какую-то святую беззаботность. Прошел капитан и, так как на коленях у меня лежало «На воде» Мопассана, я спросил его, — знает ли ад эту книгу и нравится ли она ему.

— О да, — ответил он, — это очень мило.

Вероятно, в другое время такой ответ показался бы мне возмутительно глупым. Но тут я подумал, что, пожалуй, он совершенно прав в своей снисходительной небрежности. Как смешно преувеличивают люди, принадлежа-

щие к крохотному литературному миру, его значение для той обыденной жизни, которой живет огромный человеческий мир, справедливо знающий только Библию, Коран, Веды!

«За что, зачем?» Вот для тех арабов, которых мы встретили давеча, не существует этого вопроса. Они знают одно — древнюю «покорность Вожатому», тому, кто говорит о себе в Коране: «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила».

Ночью.

Зажег настольную лампу, — как успокоительно освещает она сквозь свой зеленый колпак каюту! — сел за стол и чувствую: медленно уходит, ползет стол из-под руки, оседает, погружается пол в бездонную силу, волнующуюся подо мною, косо клонятся стены, размахивается дверная занавеска...

В девять часов был на носу. Очень сильный и необыкновенно приятный ветер навстречу, такой сильный, что рябит в глазах, когда смотришь вперед. Море впереди совсем черно, небо очень чисто и совсем пусто, и опять низко стоит па нем и кровью перелива-

ется большая жуткая звезда. Далеко сзади, за кормой — бесконечно разлит по зыби розоватый блеск луны, золотой ломоть которой почти лежит на воде.

В десять с половиной опять ходил туда же и опять глядел назад. Ломоть луны меркнет, умирает, картина приобретает трагический характер. Мимо бортов горами несутся маслянисто-черные волны, взвиваются гребнями светящейся зеленой пены. А там, далеко вдали за кормой, красно-золотой и уже густой и тусклый блеск, разлитый по морю, весь изрыт черными ухабами и весь движется, как бы кишит какими-то живыми существами, ночными морскими чудовищами...

Сейчас качает так, что писать уже трудно. Лягу, и будет всю ночь баюкать меня, как в колыбели. «Мы к человеку ближе, чем его сонная жила».

22 февраля.

И вчера и нынче ослепительно солнечно, но такой ветер, такой свист в снастях и такая крупная зыбь, что ни стоять, ни ходить... Завтракали, обедали не без труда, хотя особенно

весело. Наш кривоногий бой проявил чудеса китайской ловкости, вприсядку носясь из кухни в столовую и обратно с кушаньями и с посудой.

Нынче уже тише. К ночи, говорят, все придет в полный порядок.

23 февраля.

Да, опять все как следует.

Опять радостное и жаркое солнце, тишина, корабельная чистота, все двери, окна раскрыты, — и все пусто, — все на работе, по своим местам, — и мы совсем одни, точно и впрямь на своей собственной яхте. И все утро поют матросы. Какая грусть! И какое сладкое счастье — это солнечное утро, это наше одиночество, этот от века и до скончания времени светоносный океан и эта песня, то есть жизнь, душа какой-то далекой, нам неведомой страны, — Бретани, Вандеи, Прованса? — со всей своей французской стариной, историей, со всеми преданиями и особенностями быта, нравов, то есть со всем тем своим особенным, в чем священная поэзия каждого народа...

Все утро идем мимо Гвардафуя: далекий берег коричневого цвета, полосы желтеющих у моря песков. Страшное место, славное в летописях кораблекрушений. Но такой прекрасный день, что этому как-то не верится.

Впереди били какие-то фонтаны. Капитан сказал, что это кит. Потом прибавил:

— А кораблекрушения возле Гвардафуя и теперь не редкость. Тогда сбегаются туземцы, грабят гибнущее судно, добивают тонущих и едят их.

Бог меня прости, — во мне шевельнулось что-то похожее на радость. Ведь это опять то далекое, старинное, из тех путешествий, которые с таким восхищением читал в детстве.

24 февраля.

Все та же прелесть однообразия.

Все последние дни солнце садилось совершенно чисто. Небо перед закатом было неизменно золотое, сияющее; потом оно краснело, вместе с краснеющим солнечным шаром, который, коснувшись горизонта, слегка вытягивался, становился огненно-багряной митрой.

Нынче весь день ходили облака, солнце

припекало, как перед грозой, — близится земля, Индия. В пять часов красота этих легчайших, истинно эдемских облаков, раскинувшихся в небосклоне над предзакатным солнцем, была ни с чем не сравнима.

Сейчас уже ночь, девять часов. Был на корме. Там пахнет сеном, стоят в загородке быки. Завтра утром одного из них убьют. Последняя его ночь! Это невозможно, этому не верится, но это так. Впрочем, так ли? Может быть, последняя только на земле? Даже в смерть быка отказывается верить сердце...

А ночь прелестная, с мирной луной и белыми облаками, с редкими и тем более прелестными звездами среди них. Совсем бы одна из наших орловских ночей, если бы не дивная игра Конопуса, этого двойника Сириуса, только ярче отливающего красным блеском. Южный Крест не высоко, склонен вправо. И все заходят облака на востоке, величавыми и грозными горами. Так заходили они весь день, и опять весь день росла качка вместе с ровно растущим муссоном. Теперь валит уже совсем хорошо, хотя все с той же медлительной плавностью и не мешая мирной пре-

лести ночи (той, что над нами, а не на восточном горизонте, где те белые грозные тучи).

С кормы я долго смотрел вправо, на юг. Там, в светлом и совсем пустом небе, под Южным Крестом, все мерцает одинокая низкая звезда. Какая? Надо завтра спросить моряков. Может быть, Альфа Центавра? — Как пленительно, загадочно звучали для меня всю жизнь подобные слова! И вот бог дал мне великое счастье видеть все это...

Последняя ночь быка все-таки не выходит из головы. Он должен умереть, чтобы я мог жить, продолжать видеть прекрасные ночи — и думать о его судьбе, дивиться ей... Всю жизнь суждено мне дивиться чуть не каждую минуту, ничего не понимать и смирять себя: значит, так надо.

25 февраля.

Вчера, потушив огонь, долго лежал, мысленно видя те облачные горы па восточном горизонте. В открытое окно, за тенью от навеса палубы, белела лунная ночь, в открытую дверь доходило сладкое веяние ветра. Думал о тех грезах, которые, по рассказам моряков,

начинаются здесь с апреля и бывают так страшны. В полусне стало представляться, что облака эти становятся все величавее, темное, ужаснее и уже блещут зарницами... Потом очнулся и, не зажигая огня, записал:

*Океан под ясною луной,
Теплой и высокой, бледнолицей,
Льется гладкой, медленной вол-
ной,
Озаряясь жаркою зарницей.*

*Всходят горы облачных громад:
Гавриил, кадя небесным Силам,
В темном фимиаме царских врат
Блещет огнедышащим кадилом.*

Нынче все так же медленно и плавно поднимает, слегка валит на одну сторону, потом на другую, еще медленнее опускает и опять начинает все сначала. И спокойно стоят весь день далекие облака на северо-востоке, над этой таинственной Индией. В пустой столовой жужжит и дует из угла электрический вентилятор. Все читаю, читаю, бросая прочитанное за борт. — Жить бы так без конца!

Я даже к консервированному молоку, ко-

торое подают к утреннему кофе, привык; освеженный после жаркой постели душем, надевши все белоснежное, чувствую себя двадцатилетним, сажусь за стол с юношеской жадностью. А в одиннадцать другое острое удовольствие — запахи из кухни, завтрак. Подают вздор — омлет, что-то вроде зеленого лука, какое-то подобие рагу, часто улиток... Но блещут стаканы, рюмки, скатерть, радуется здоровый загар и пикейная одежда моряков, красавец лакей, тоже весь в белом, и сонная улыбка очень подвижного, когда надо, но вечно безмолвного кривоногого нашего китайчонка; радуется порядок корабельной жизни. А там чай среди дня, а там и обед, завершение правильного трудового дня... За обедом моряки часто что-нибудь рассказывают.

Как это ни странно, капитан рассказывает отлично, лучше всех. И вообще, несмотря на свои многие неприятные черты, — какое, например, презрение ко всему, что не французское! — он мне очень нравится: очень цельный человек. Нравится и то, что сидит он во главе стола, как высший между нами, с сознанием, что он высший, имеющий над нами

неограниченную власть. Да, конечно, неограниченную, — разве может быть иначе в море, на корабле? В море, в пустыне, непрестанно чужая над собой высшие Силы и Власти и всю эту строгую иерархию, которая царит в мире, особенно ощущаешь, какое высокое чувство заключается в подчинении, в возведении в некий сан себе подобного (то есть самого же себя).

Нынче весь день летели летучие рыбки. Мы идем, а они, как молодые воробьи, поднимаются целыми стаями, несутся плоско, прямо и опять сыплются в воду, разбрасывая брызги вокруг себя, и опять врываются целым ливнем и опять летят...

Ночь похожа на вчерашнюю.

Та звезда, что по ночам переливается кровью на горизонте перед нами, мигает, цветет и как будто манит, завлекает все дальше в глубь своей таинственной тропической страны, есть Спика.

Быка уже нет на свете. Все тот же плеск, шум воды за кормой, все тот же мирный запах сена и все та же сладость ночного ветра, а его уже нет. Непостижимо!

В каюте все жарче. Сплю совсем Адамом. Качает и качает то угловое, что хранит и несет нас среди этих бесконечных хлябей, веет во все окна и двери нежный воздух, жужжит из угла вентилятор... Иногда представляю себе самого себя, спящего, — беспомощно, без мысли и сознания лежащего в этой каюте, затерянного в океане. Как страшно и как хорошо! Я сплю, мы все спим, кроме тех двух-трех бессонных, безмолвных, недвижимых, что бдят за нас там, наверху, на вахте, мы спим, а ночь, вечная, неизменная, — все такая же, как и тысячелетия тому назад! — ночь, несказанно-прекрасная и неизвестно зачем суцая, сияет над океаном и ведет свои светила, играющие самоцветными огнями, а ветер, истинно божие дыхание всего этого прелестного и непостижимого мира, веет во все наши окна и двери, во все наши души, так доверчиво открытые ей, этой ночи, и всей той неземной чистоте, которой полно это веяние.

26 февраля.

Спал в каюте на верхней палубе, думал, что в ней, более доступной ветру, все-таки не

такое знойное тепло, не такая горячая духота, как в нижней. Но нет, там еще жарче, за день она, вся открытая солнцу, накаляется, как духовая печь.

Проснулся, по обыкновению, в шесть, — зашуршали швабры, зашумела вода из шлангов, — и тотчас же вскочил. Спать в этих солнечных странах можно очень мало, и сон, чуть откроешь глаза, отлетает мгновенно. Всегда есть надежда на что-то новое, счастливое в начинающейся утренней жизни, тут же, среди этого вечно юного божьего лона, в первозданности океана особенно. Отдернул дверную занавеску, — уже всходит жаркое солнце, сладок шум воды, дающий обманчивое чувство прохлады, приятен вид молодых и здоровых людей за работой, их босых ног, крепких икр и до пояса обнаженных бурых тел. Еще раз здравствуй, утро! Еще раз выкатилось могучее тропическое светило, как выкатывалось оно в эту минуту уже сотни тысяч лет и снова будет выкатываться миллионы, когда от меня не останется даже пылинки.

За день муссон ослабел. Но качает еще шире и глубже, — как на качелях весь день кача-

ешься.

Дочитал «На воде». — «J'ai vu de l'eau, du soleil, des nuages, je ne puis raconter autre chose...»[29] Дочитав, бросил книгу за борт. Поднялся на верхнюю палубу, потом еще выше, на крышу капитанской рубки, стоял и качался вместе со всем пароходом, который был весь подо мною и весь виден, от бугшприта до кормы, со всеми своими мачтами, снастями и тяжелой черной трубой, ее круглотой и тяжестью, ее чуть дымящей пастью. Все это поднималось, опускалось, косо валилось то туда, то сюда... Куда забросило меня! Я под экватором!

Сейчас пять. Океан все штилеет и принимает нежно-синий тон, — та зыбь, что качает нас, мертвая. И уже есть кое-где вдали поля светло-стальной глади.

Ночью.

Солнце нынче опускалось в слепящее золото. Океан все штилел. Всюду вокруг нас, по матово-стальным медленно перекатывающимся волнам, тоже текло, переливалось, блистало золото.

Мы поднялись с верхней палубы еще выше, на мостик. Океан за это мгновение стал уже весь млечно-стальной с голубым налетом, и по этой безграничной млечности пошла от заката (ставшего менее слепящим, оранжево-золотым) оранжевые глянца, между тем как небо на востоке стало гелиотроповым, а вдоль бортов медленно изгибалась, как лилово-синие удавы, мертвая волна.

Мы поспешили на самую высшую точку, на капитанскую рубку: солнце успело уже скрыться, восточное небо стало фиолетовым, а западное позеленело и пошло по зеленому огненно-оранжевыми полосами, над нами же, в бездонной глубине, тени облаков, легчайшие, как дамасский газ, окрасились в нежно-малиновый цвет.

А через мгновение все опять изменилось: восточный небосклон стал сине-лиловый, море под ним — густо-фиолетовое. И все огненной разгорались полосы на небосклоне закатном. Когда же, с быстро набегаящим вечером, превратилось в фиолетовое и западное море, эти полосы раскалились, как темно-рдяное железо в горне. Темнело все быстрее, над за-

катом сверкнула первая звезда. Неприметная и маленькая луна, все белевшая очень высоко над нами, стала оживать. Мы простояли еще несколько минут и побежали вниз на звонок к обеду: она уже сияла! Вдоль бортов потекло блестящее серебро, на палубе обозначились в лунном свете тени от снастей... И потянуло с востока бризом.

За обедом все говорили, что видели при закате знаменитый зеленый луч. Как когда-то пленял он мое воображение! Увы, я его не видел.

Потом без конца ходил по верхней палубе, наслаждаясь даже хрустением под ногами угольной пыли, невидимо сыплющейся из жерла трубы. Луна над самой головой, так высоко, что нигде в море нет от нее отблеска. И такая яркая бледность чехлов на шлюпках, точно они серебряно-меловые. Опять ветер с востока, звезды чисты. Мерно и крепко бьется стальное сердце «Юнана», мерно шагают в лад ему, и, мерно взвиваясь и падая, несутся назад, мимо бортов, холмистые волны. И качаются и дрожат, дрожат ярко-бледные виндзейли (холщовые трубы вентиляторов из ко-

чегарной), привязанные за боковые треугольные полотнища к палубным стопкам возле трубы: будто какие-то дьяволы в саванах с треугольными врозь растянутыми рукавами.

27 февраля.

Просыпался в пять, — спал опять в верхней каюте, — выглянул, подняв дверную занавеску: солнца еще нет, но уже совсем день; впереди, за океаном, много красивых облаков, крупных, нежно-лиловых; среди них нежно алеет восток.

Полдень. Сильный ветер навстречу, — все от близости земли, как говорят моряки. Белые круглые облака покрыли все небо, такие наши, орловские, летние! Океан совсем синий, в мелкой зыби. Матросы уже готовятся «к берегу», усиленно стирают свое белье, — на баке все увешено рубахами, рукавами вниз. Ветер их треплет, надувает, — туловища с отрубленными головами.

Закат, звонят к обеду. Океан стал бронзовый, а по бронзе текут зелено-металлические,

с красным оттенком переливы. Облака легкие, страшно высокие, розово-рыжие. И все мягко, мягко, дивно-нежно: ветер, воздух и все краски, все оттенки.

Опять на самом верху, пишу при лунном свете. Все огромно: и океан, и небо, и все пространство между ними, и все так высоко, высоко: и небо, и луна, и эти кучевые облака. Ох, как сладок и силен ветер и как носит, качает! Ветер, шум, плеск — и я среди всего этого в истинном блаженстве!

Проснулся, чтобы записать:

Звезда пылала на горизонте впереди целым золотым костром. Я стоял на мостике, я был капитан и командовал, отрывисто бросал назад, в рулевую рубку, радуясь быстрому ходу:

— Так держать!

А в рубке были, кроме рулевого, отец и мать, давно, как я хорошо понимал, умершие, но живые все-таки, — я никогда не вижу их во сне мертвыми и никогда не дивлюсь во сне, видя их живыми. И я чувствовал к ним

необыкновенную нежность в ответ на те ласковые, милые улыбки, с которыми они смотрели на меня, гордясь мной, моей отвагой. И было в их улыбках и еще что-то, смутный смысл его был, кажется, таков: да благословит тебя бог, живи, радуйся, пользуйся тем кратким земным сроком, что и ты получил в свой черед от него!

28 февраля.

Все ближе земля-день облачный, с горячим, припекающим солнцем, с тем, что называется «парит». Под тентом на верхней палубе было жарче и душнее всех дней. И все больше чувствуется ненужность одежды, хотя мы и так уже почти раздеты.

Шесть часов, пишу на корме. Закат страшно далек, равнина океана видна к западу без конца. Закат, среди великолепных сиреневых облаков, весь огненно-красный, захватывает весь небосклон.

Возвращаясь с кормы к обеду, ахнул: луна — зеленая! Посмотрел из столовой в окно, выходящее на бак: да, зеленая! Нежно-зеле-

ная, на гелиотроповом небе, среди пепельных облаков, над зеленым блеском океана! И так качает, что нос «Юнана» лезет в небо, а в окно бьет блаженно проникающий до самой глубины души ветер, И опять все так нежно, так ласково, так веет раем, истинно раем!

1 марта ночью.

Земля, рай все ближе — всю ночь облака, всю ночь луна сияет между ними, серебром озаряя их края.

Последняя ночь в океане, завтра Цейлон, Коломбо.

«Путь твой в море и стезя твоя в водах великих и следы твои неведомы...» И я был в страшной и сладкой близости твоей, и безгранична моя любовь к тебе, и крепка вера в родимое, отчее лоно твое!

Вот я, — как бы один во всем мире, — в последний раз мысленно преклоняю колени на этой светлой от луны палубе. Словно нарочно разошлись облака, и радостно и мирно сияет лунный лик в высоте передо мной, а ниже, в светлой и прозрачной бездонности южного небосклона, тихо теплются алмазы Южного

Креста. Спокойным и предвечным веселием
веселится светлая ночь твоя. — Как мне бла-
годарить тебя?

<1925–1926>

Страшный рассказ

В голом, обезображенном зимней смертью
парке, черневшем перед домом, была тем-
нота и пустынность мартовской ночи, и на
старый, серый снег порошил молодой, белый,
нежный, как лебяжий пух.

Они, — известно только то, что их было
двое, — сидели в парке с вечера, выжидали
самого глухого часа.

И дом зорко глядел в темный парк множе-
ством освещенных окон: она, эта старая фран-
цузенка в каштановом парике и с выпуклы-
ми рачьими глазами, за отъездом хозяев в го-
род жившая в доме совсем одна, чувствовала
зловещее присутствие тех, что стерегли ее:
она осветила все комнаты, — а их было мно-
го, и все они были большие, — она решила не
спать всю ночь и все ходила из комнаты в
комнату, по всему пустому и блистающему
лампами и канделябрами дому.

Страшнее всего то, что вместо того, чтобы пойти в подвальный этаж, где спали горничная и прачка, или в людскую, где ночевала дворня, вместо того, чтобы позвать кого-нибудь к себе, она, уже твердо зная свою обреченность, только ходила из комнаты в комнату и даже вздумала писать записочки.

Она писала:

«Двенадцать с четвертью. Все хожу и хожу! Чувствую, что я погибла. В саду кто-то есть. Я даже знаю, что их двое...»

«Только что пробило час — внизу, на больших часах в вестибюле. Пробило страшно и торжественно... Один из них — маленький, с кривыми, как у таксы, ногами. Но я не буду спать всю ночь, я буду защищаться...»

Она играла на рояли кекуок, — много раз принималась играть, играла бурно, с отчаянным весельем, и все обрывала:

«Как сумасшедшая, играю кекуок, — писала она. — Ужас мой доходит до экстаза...»

Потом она перебирала книги в шкапу в кабинете, смотрела и бросала их на пол. Она искала что-нибудь почитать и взяла наконец том географии Реклю.

На хозяйском письменном столе она оставила еще одну записку:

«Боже мой! Но почему же должна быть этой жертвой я? Я буду защищаться, живой я не сдамся!»

С Реклю в руках она прилегла на кабинетный диван и, развернув книгу, почитала некоторое время и даже сделала карандашом несколько отметок.

На этом же диване и нашли ее утром — с перерезанным горлом, без парика, с голым черепом, с дикими, рачьими глазами, стоячими, изумленными.

Стекла в двойных гостиных дверях, выходящих в сад на балкон, были выдавлены, вынуты. Ветер дул в гостиную, нес из белесого парка холодный пар, туман. И весь дом пылал огнями, желтевшими в бледном свете сырого и белого, мглистого дня.

Кто зарезал? И зачем?

Зарезали они, те двое, что сидели в саду. А зачем — непостижимо: они не унесли, не тронули ни единой вещички.

Да, их было двое. Это доказывали мокрые, грязные следы, оставленные ими на паркете.

И следы одного были не совсем обычны, широко расставлены друг от друга, кривы... Несомненно, он был криволап.

Их было двое. Но кто были они? Их не нашли, не поймали.

Все-таки самое страшное на земле — человек, его душа.

И особенно та, что, совершив свое страшное дело, утолив свою дьявольскую похоть, остается навсегда неведомой, непойманной, неразгаданной.

Где они теперь, эти двое? А ведь может быть, что они до сих пор живы, где-то что-то делают, ходят, едят, пьют, разговаривают, смеются, курят...

Париж. 1926

Поруганный Спас

— Нет, господин, не всяк бога славит, а бог — себя явит. А когда и за что — одному ему известно. Сколько именитых икон и соборов, сколько мощей по нашей местности! А вот было же так: заболела смертной болезнью дочка одного нашего купца, девочка, и, господи, царица небесная, чего только этот купец для своего чада не делал! И докторов-то из Москвы выписывал, и молебны самые дорогие служил, и к мощам в Москву и к Троице возил, и все наши местные святости подымал — ничего не помогает! А девочка все свое твердит: буду здоровая непременно, исцелюсь, мол, обязательно, только не от этого ото всего, а от Поруганного Спаса. «Ну, прекрасно, — говорят ей отец, мать, — верим и надемся, только что это за Поруганный Спас и где он находится?» — «А это, говорит, я во сне видела, бог мне такое видение дал». — «И того лучше, — отвечают ей, — но какой же он и где?» — «А вы, говорит, ищите, везде ходите и ищите. Я и сама не знаю, где он. Знаю только, что поруганный и в большой хуле и бедности,

брошен куда-то как попало и уж давно, еще при царице Василисе». — «При какой такой царице Василисе? Такой, мол, и царицы никогда не было». — «Ну уж этого я ничего не знаю, говорит. Знаю только, что он совсем маленький, в одну пядь и вроде простой дощечки черной, с богохульной надписью, — только и всего. Главное то, что надо через всякую силу искать и обязательно найти...» И что ж вы думаете, господин? Все чердаки по всем домам и по всем церквам облазили, под всеми крышами колокольными ходили, все мусоры голубиные разрыли, и нашли же наконец того. И нашли-то где? Видели часовеньку пониже базара? Лет тысячу небось стоит, гниет, и всякое непотребство в ней бессовестным народом делается, а в ней, в мусоре, и нашли. И как только маленько, значит, обчистили, промыли, протерли и принесли в этот несчастный дом, дали девочке помолиться хорошенько на него, приложиться к нему и на грудь к себе взять, сразу же девочка заплакала, зарыдала, затряслась от великой радости — и на ноги поднялась. Вскочила, бросилась к отцу-матери и кричит не своим голо-

сом: «Милые мои родители, я теперь совсем здоровая! Зовите священников, давайте молебен служить! Это он самый и есть — Спас Поруганный. Гляньте, что на нем написано!» — И что ж вы думаете? Ведь и тут правда оказалась. Обернули и прочли: «Не годится на него молиться, годится горшки накрывать...»

Едем шагом, извозчик, рассказывая, сидит боком и вертит сигарку, глядя в развернутый кисет. Кончив рассказ, бормочет: «Прости, господи, мое согрешение, какие слова повторяю!» Летние долгие сумерки, Ростов Великий давно спит. Вдали все еще брезжит свет зари, и город давно пуст, безлюден, — один караульщик с колотушкой в руке медленно бредет по длинной пыльной улице. Тепло, тихо, грустно...

И несказанно прекрасны очертания церкви над сумраком земли, на чуть зеленоватом далеком закатном небе.

Париж. 1926

В саду

Вечером приехал Иван Василич Чеботарев, Липецкий мещанин, снявший в усадьбе сад.

Это небольшой старичок в теплом глубоком картузе и в голубой, слинявшей от времени чуйке («двадцать осьмой год с плеч не спускаю!»). Всегда горбится — наиграл себе эту манеру в каком-то большом соответствии со всем своим характером. Сколь стар, определить невозможно: «Я его таким спокон веку помню», — говорят про него в Липецке, но вынослив, неутомим на редкость и горбится притворно, играя роль старика, а не от старости, хотя и любит пожаловаться на нее и вообще на свои недуги. Наблюдателен поразительно, жизненный опыт имеет громадный. Курчавится серая жесткая борода, курчавы черно-серые брови и волосы на носу. Смотрит чаще всего в землю, взглядывает исподлобья. В живых черных глазах ив губах постоянная снисходительная усмешка.

Мужик, привезший его на барский двор со станции, неловко, нелепо остановил телегу

как раз посреди двора. Иван Василич легонько покрутил головой на его глупость, не без труда (или притворяясь, что ему трудно) слез, откинул полу чуйки, отвернулся и, еще больше сгорбившись, вытащил из кармана, шаровар очень большой и очень засаленный кошелек. Мужик тупо глядел на серые волосы, курчавившиеся на его шее. Он же не спеша отсчитал медяками восемь гривен и, подумав, прибавил еще две копейки, на магарыч:

— Держи, любезный. С прибавочкой за старанье.

Потом, запахнувшись, пошел, слегка шаркая, в сад, прошел по аллее к шалашу, к караульщикам, которых он прислал из-под Липецка еще в конце мая:

— Здорово, братушки. Ради, не ради, принимайте хозяина.

Караульщики, умиленно улыбаясь, низко, подобострастно раскланялись:

— Милости просим, доброго здоровьица, Иван Василич. В акурат к самоварчику!

Самоварчик дымил по всей аллее густым дымом и уже кипел. Иван Василич сел на лавку возле шалаша, снял картуз, положил его

возле себя, предварительно сдунув с лавки, пригладил серые курчавые волосы, оглянулся.

— Ну, как? Все в порядке?

— Пока плохого нету, Иван Василич. Каратулим, стараемся...

Чай подали ему (тоже осторожно, почти-тельно) в толстой чашке с синими разводами, сахар в жестянке из-под килек. Он выпил две чашки и стал вертеть сигарку, усмехаясь и глядя в землю.

— Ну, и слава богу, что пока все хорошо, — сказал он, закуривая и распространяя сладкий запах «отборной» махорки. — Ну, и слава создателю... А я, братушки, к вам денька на два вырвался. Приехал с большим удовольствием на душе. У вас тут рай. А у меня — избавь бог. В доме ремонт, со штукатурками скандал бесконечный... несродного я характеру с нынешним народом! Ни совести, ни чести, хоть плюй в глаза, все божья роса. В голове один обман да орлений штоф. А сами живем, как цыгане, сбились всей семьей в одной горнице, а я этого не могу. На столе весь день русская картина: самовар не убран, возле са-

мовара тарелка с заваренной горчицей. Бабушка трет ее щербатой ложкой и, понятно, в три ручья плачет от ней. Ух, говорит, и крепка же будет! А на кой ляд мне эта крепость, с похмелья я, что ли, позвольте спросить? А под ногами, на полу, внуки, куча поганных игрушек. А жена наседкой квохчет, все больна чем-то, а дочь скучает, божий свет не мил, а почему — неизвестно: горе от ума Грибоедова, видимое дело. А я этого не могу, я человек эластичный, у меня от этого шум в ушах делается.

— Уж чего хуже! — сочувственно подтвердили караульчики. — От этого шуму, говорят, вошь на человека кидается.

Иван Василич помолчал; потом поднялся и пошел за шалаш.

— Вошь, не вошь, а не радость, — сказал он, возвращаясь оттуда, застегивая штаны, поплеывая на кончики пальцев и опять садясь. — За весь день ни покоя тебе, ни удовольствия. А ночью сны одолевают, и, что ни увидишь, все будто, по бабушке, не к добру выходит: я, мол, нынче во сне лисицу видел, а она и привяжется: ох, не хорошо, ох, это к об-

ману, к неприятности. А позвольте спросить, что у нее к приятности? Я, говорит, в соннике читала: видеть во сне автомата к неблагоприятию. Но позвольте, бабушка, при чем тут автомат? А вот при том-то, говорит. Да, но никакого автомата я не видал, да и где они, эти автоматы, у нас в Липецке? Все равно, говорит. И пойдет строчить: видеть во сне ельник — к неприятности, очки надевать — к неприятности, сидеть под балдахином — к горести, пить теплую воду — к печали, пить деревянное масло — к смерти, есть блины — к смерти, есть воронье мясо — к пожару, есть драчену — к разлуке, брить бороду — к убытку, петь томным голосом — к зубной боли, еврея видеть — к вредному знакомству... Одно слово, гадай моя голова!

И он даже легонько рукой махнул.

— Выходит, по ее, что одно хорошо: видеть во сне, что декохт пьешь, — это будто к успеху! А с прислугой какая мука? Нанял девку: так не то что стготовить, — свиньям дерьма с хоботьем не замесит и опять же как профан глупа. Морда сиськой, сама как мясопотам какой. А тут еще сосед тронулся — лавочник

Шуринов, знаете небось?

— Как не знать, — сказали караульщики. — С чего ж это он? По его достатку только жить бы да жить!

— А вот подите ж, — сказал Иван Василич. — В отделку спятил. Как ни заглянешь — сидит за прилавком в жилетке, голову на руку пристроил и читает. На стене картину прибил: лес зеленый, дремучий, ели лохматые, избушка под ними, а на лавочке под ней угодник, а перед угодником — медведь, ручку ему лижет. «Ой, говорю, Николай Иваныч, зачитаешься — в кармане недосчитаешься, печалиться — хвост замочалится». А он в ответ на это чуть не в слезы: «Эх, Иван Василич, не об кармане, говорит, нам с вами думать надобно». — «А об чем же, мол?» — «А об том, говорит, что нонче ты с дружьями, а завтра с червями, нынче в лорфине, а завтра в могиле: жизнь наша яко цвет травный мимо идет. Что такое, к примеру, вампир впивающий? А между тем это есть смерть. Вот, говорит, гляньте, что тут написано: „Горе тебе, человеке, прошли дни твоей юности в неразумии, а также и лета мужества протек ты в нераде-

нии. Видишь ли, какой я есть страшный могильный скелет? Но я был некогда, как ты теперь, и, подобно тебе же, расширял свои владения, пока непреклонная смерть не заключила меня в свои железные объятия. Зри место вечного покоя, жилище тихое мертвецов, для гражданина и героя, для всех адамовых сынов!“»

— Понимаете, — сказал Иван Василич, поднимая голову, — любому скорбному старичку не уступит, а глянешь на него — даже жуть берет: ну, прямо буйвол дикий, — а не человек, Миклуха Маклай! Ах, не ладна наша земля, братушки, — сказал он, крутя головой. — Сумасходный мы народ, с жиру бесимся. Теперь, говорят, его уж под опеку хотят взять да в Тамбов в желтый дом наладить. Да и что ж с ним иначе делать? Теперь, говорят, одно твердит: амигдал да онагрь, велбуд да тля, скимен да вретнице... А чего ему недоставало, чем он недоволен? И все мы вот так-то: все не по-нашему, все не хорошо да недостаточно. Амигдал! Еду давеча по селу со станции, а впереди — здо-оровый болван: рубаха распояской, голова взлохмачена, разодрал гармо-

ню на три версты и орет на всю округу: «Ох, разорю усе именье, сам зарююсь у каменья!» — Шутки шутками, а думаю, что неспроста мы так-то шутим: дошутимся!

— Ну, а что ж в городе говорят? — спросил один из караульщиков. — Когда же эта война кончится? Правда, будто и французский царь на нашего колебается?

— Этого не слыхал, — сказал Иван Василич. — Врать не хочу. Этого не слыхал. Да там, говорят, и царя-то никакого нету. Опять же они и союзники наши, эти самые французы. Правда, поумнее нас чуточку будут, — все норовят под немца не свою, а нашу дурацкую башку подставить, мол, помри ты нынче, а я завтра, ну, а все-таки союзники.

— Колебайся не колебайся, — с притворной развязностью и, видимо, желая угодить Ивану Василичу, сказал другой караульщик, — колебайся не колебайся, все равно им, этим царям, теперь шабаш. Куда ж им против нашего, против нашей державы? Вон вчера приходил один какой-то сволочь со станции, — я говорит, по своим делам мимо вас в Ростов пробираюсь... А после того и зачал ме-

ня настрачивать: будто царица у нас очень больна, а больна потому, что ей Вильгельма очень жалко, и будто завелся там какой-то мужик, страшный распутный будто бы... Ну, завелся и завелся, говорю, — на здоровье. Да народ, говорит, из-за этого очень волнуется. Опять брешешь, говорю, это, может, господа волнуются, а мне чего волноваться? Нам это даже лестно очень. Да и послал его куда подале, где он у матери был, и балакать с ним больше не стал. Не может того быть, чтобы наша не взяла!

— Не знаю, не знаю, — сказал Иван Васильич, глядя в землю. — Не знаю, а верить не верю. Верю, как говорится, только зверю, собаке да ежу, а прочему погожу. Думаю, что навряд, братушки, навряд наше возьмет. Победит один тот, у кого невры хорошие. А наш брат что? Спервоначалу ух как горячо берем, а потом и в кусты, ну его, мол, к черту, надоело. Это как горшок базарный из паршивой глины: нагревается в один секунд, да в один секунд и стынет. Нет, ихний солдат с соображением, со смекалкой. У него в ранце карты, планы всякие, прейскурранты, какие надо, и

фляжка с ромом, — он знает, по какой местности идет! А главное, он обо всем рассудить может и про отечество понимает, а у нашего что в голове? У нашего в голове мухи кипят, и настрочить его на всякий скандал трынки не стоит. Нет, мы не можем, — решительно сказал Иван Василич. — И никакого согласия у нас нет и отроду не было. Я вон нынче приехал на вокзал, а там безобразие. Станции начальник кричит, и пассажир кричит. Тот ему: «Да вы кто такой, позвольте спросить? Можете вы тут кричать?» А пассажир на него: «А я вас в свою очередь прошу не кричать! Я — грузоотправитель!» — Ну, думаю, и вышел дурак. Подумаешь, чин какой: я грузоотправитель, я вас в свою очередь прошу! А какая такая очередь? Спроси его, что это значит, а он и сам не понимает. Нет, — сказал Иван Василич, поднимаясь, — быть у нас большому черту в стуле!

— Это обязательно, — подтвердили карульщики в один голос. — Такая пойдет, что праху не останется!

— Ну, значит, и давайте пока что на боковую, — сказал Иван Василич. — Сбегайте-ка

на барское гумно, украдьте соломки да постелите мне в салашу помягче, пожалейте хозяйскую старость...

Приморские Альпы. 1926

Божье древо

14 июня.

Сад в нынешнем году снял у нас мещанин Богомоллов. Стеречь его прислал своего земляка, однодворца из-под Козлова.

Явился этот однодворец в усадьбу и поселился в шалаше в главной аллее как-то совсем незаметно. Мы узнали о его существовании только вчера. Пошли гулять, вошли в аллею и видим, что под липой против шалаша дымится костерчик, а на него стоит смотрит какой-то мужик. Подходим ближе — мужик шутливо, с усмешкой опускает руки по швам, вытягивается:

— Господам дворянам почтение!

Мы приостановились:

— Доброго здоровья. Караульщик?

Он снял шапку и уже без всякой шутливости, низко, истово поклонился:

— Так точно. Буду караулить, вам и хозяи-

ну угрожать.

— Так... Надевай шапку-то.

— Ничаго, и без шапки постоим. Вы господа, я мужик. Бог лесу, и то не сравнял.

— А откуда ты и как величать тебя?

— Козловский однодворец, Знаменской волости, сельца Прилепы. А звали Яковом. Яков Демидыч Нечаев.

И все так ладно, бодро. Что однодворец, сразу заметно — поговору. Возраста неопределенного, — лет под пятьдесят, должно быть, хотя можно дать и меньше, — наружности довольно обычной, но чем-то очень приятной. Посконная рубаха, такие же портки, на ногах лапти, — все не новое, поношенное, но опрятное. Глаза живые, немного насмешливые и прищуренные, умудренные наблюдательностью и житейским опытом, в соответствии с небольшой кое-где седеющей бородой, которая еще курчавится и, видно, была когда-то черной. Но в звуке грудного голоса и во всей повадке есть в то же время что-то молодое, простодушное. Представившись, надел шапку и опять усмехнулся:

— Вот чаек себе налаживаю. Самоварчика,

признаться, нету, да эта одна баловство, и из чугуничья попьем...

Мы заглянули в шалаш, — там, конечно, все как полагается: красная подушка и затертый, ссохшийся от старости полушубок на соломе, ржавая одностволка в уголке, обрубок широкого пня при входе, а на нем горбушка черного хлеба, толстая чайная чашка, самодельный ножичек...

— Домок, как у зайца тяремок, — еще раз пошутил он. — Милости просим гостями быть...

В саду было сумрачно от туч, с поля дул мягкий ветер. Мы взглянули сквозь листву на небо:

— А как думаешь, будет дождь?

Он, прищуриваясь, тоже поднял лицо кверху:

— Кабыть так. Маяго кобелькя нынче что-й-то весь день не видать, весь день на гумне мышкуя. А это уж обязательно к дожджу, она, мышь-крыса усякая, перед дождем сильнее пахня. Ну, що ж, и помоча маленько, авось не сахарные, не растаем...

Говор старинный, косолапый, крупный. Он

говорит: що, каго, яго, маяго, табе, сабе, те-
перь, но все как-то так, что слушать его боль-
шое удовольствие. Иногда, конечно, сбивает-
ся на обычный народный язык наших мест.

Когда мы отошли и пошли по аллее даль-
ше, он стал собирать в траве сухую листву и
сучки и, подбрасывая их в огонь, стал негром-
ко напевать (вернее, приговаривать):

*Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка,
Где ж ты бывала,
Где ж ты лятала?*

Мы невольно засмеялись — так ловко у
него это выходило — и опять приостанови-
лись:

— Как, как?

— А вы разве ня знаятя? — ответил он, то-
же засмеявшись. И тотчас же без всякого сму-
щения, с видимой охотой, слегка поднял свой
грудной голос:

*Где ж ты бывала?
Где ж ты лятала?*

И стал пошевеливать плечами, покачи-
вать головой:

*Нихто совушку ня знал,
Нихто ее не сползал,
Спознали два луня,
Спознали два друга:
— Ты приветь мене, луня,
Поди замуж за мене!*

— А она, значит, не жалае, не хоча, — сказал он, смеясь, и опять запел шутливо и жалостно:

*А она не хоча
Ды как захохоча!
Назад сторонилась,
У лес завалилась —
Кверху ногою,
Об пень головою...
Ах, що ж это в лесе?
Каго это беся?*

15 июня.

Погода все хмурится, от скуки ездили в Осиновые Дворы, за коновалом. Перед вечером опять пошли в аллею, к шалашу. Посидели, поговорили с Яковом. Спрашиваем:

— А ты, значит, куришь, Яков Демидыч?

— Я-то? — сказал он. — А я все могу. Могу курить, могу и цельный год так ходить. Мая

душа прямая, все прямая, и мед, и тот прет. На гулянках и покурить ни плохо.

— А насчет водочки как?

— А я человек мирской. Що Илья, то и я, що Евсей, то и все. Кто ж от нее откажется? Не пьют на небеси, а тут кому ни поднеси. Зашел так-то праздник престольный — отчего ж нямножко не погулять, не потратиться? Я ня жадный, я добродушный. Их, денег, жалеть нечево. Понурая голова и с рублем пропадае!

Потом поговорили о том, что и как, надо полагать, уродится нынешним летом в саду, в поле. Он с удовольствием поддерживает всякий разговор. Очень словоохотлив, однако не болтлив. Главная черта его, кажется, заключается в неизменно ровном и отличном расположении духа. То и дело с неподражаемой легкостью и приятностью надо всем подшучивает, подтрунивает.

Между прочим, спросил:

— А вы що ж, господа, только лето тут, а то все в Москве?

И стал трунить над Москвой, над воображаемыми московскими белоручками, щеголями — и рассказал целую историю о том, как

будто бы приехал однажды в деревню некий московский «обуватель», то есть обыватель, как он ничего не ел, не пил, брезгуя всем деревенским, и как неудачно сходил он за нуждой за избу: сел там да так замечтался о московских кушаньях, что собаки ему «причинное место» оторвали.

— Он как вскоча: ах, що ж мне, мол, таперь делать, да за ними, — не успел и штанов подхватить, — а оне по деревне да прямо в народ, на улицу, а там девок цельный карогод...

Начал рассказ шутя, отрывисто, но тотчас стал увлекаться, глаза, брови заиграли, быстро меняя выражение, изображая то мужиков, то чванного москвича, то подкрадывающихся к нему собак, а потом вдруг вскрикнул, как бы от внезапной боли, подскочил, ударил себя по ляжкам, затопал лаптями, — бросился, значит, бежать, — и согнулся, повалился вперед, хохоча вместе с воображаемыми девками.

— Ах, батюшки, да що ж эта такое, вот срам-то, девки!

— А ты был когда-нибудь в Москве? — спросили мы.

— А на що она мне? — сказал он с веселой небрежностью. — Мы люди простые, черные. Там, говорят, нажива одна, людодерство, усе норовят друг над другом поверхность одержать, друг у друга что ни есть ухамить... А вы, я слышал, на степь ездили?

— Да, — ответили мы. — Да это только так говорится степь, а это просто ровная местность. У нас настоящих степей нету.

— Эта правда, у вас тут буераков много, — сказал он. — А вот как выедешь за Елец, за Задонск, прямо душа радуется, конца-краю этой степи не видать, до самого синя-моря идет, до Нагая. И чаво только нету там! И овсы, и ячменя, и твяты (цветы) усякие, и ковыль белый, седатый... Я так полагаю, лучше нашей державы во всем свете нету!

Потом рассказал, где, в каких «странах» он бывал — «за самый Царицын подавался», — какие «народности» видел, и я все дивился, сколько употребляет он слов старинных, Древних даже, почти всеми забытых: изнуряться вместо издеваться, ухамить вместо урвать, варяжить вместо торговать, огонь взгнетать вместо зажигать... Нагайцев он на-

звал кумане, — древнее название половцев, — конину маханиной. Формы у него тоже свои: «Он неладно думал об мужиков», сказал он, например, про москвича. А про своего кобелька так:

— Он любит воять в темные ночи.

16 июня.

Нынче жарко, парит, на дворе тепло пахнет разогретой муравой, из-за ярко-зеленых вершин сада ослепительно белеют великолепно круглящиеся облака.

Перед завтраком вышел пройтись, иду по аллее, слушая птиц, на все лады заливающихся в солнечном саду, а впереди Яков: тащит к шалашу тяжелое ведро, из которого точно серебряными рыбами выплескивается порой вода, и вниз по его рубахе и порткам течет пестрая, радостная сеть света и тени. Голова опущена, шапка с затылка сдвинута на лоб. Догнал, шутя спрашиваю:

— Что, Яков Демидыч, не весел?

Живо поднял голову, глаза тотчас заиграли:

— Чем не весел?

— Да как же, — шапка на лоб, идешь груст-

ный.

— Чем грузный?

— Да не грузный, а грустный, скучный.

— Скушный? Никак нет. По чем мне скучать? Скучать не годится. День меркнет ночью, человек печалью. А мне скучать не по чем, я завсегда довольный. Вот добыл водицы в людской избе, сейчас кашку сабе совою стожу... Я люблю по садам сидеть, люблю, когда ветвей много, а у вас этого вволю, сад отменный. У вас тут благодать, мне тут скучать нечего. Кобель, как говорится, жрет месиво, а и то живет весело. А я хрещеный человек. Я, господа хорошие, — сказал он уже совсем твердо, сдвинув свободной рукой шапку солба назад и взглянув прямо в лицо мне своими прищуренными бодрыми глазами, — я живу, как бог вялит, я, как говорится, божья древо: куды ветер, туда и она...

Я свернул за шалашом в солнечную аллею из акатника. Облака белоснежными зевсоподобными главами вставали из-за столетних берез на валу, за лощиной все великолепнее. На припеке горячо и сладко пахли травы, цветы, крапива. В фруктовом саду, с блаженной

беззаботностью, игриво и томно выводила свои флейтовые переливы иволга... Отчего так особенно прекрасно все старинные, старые березы, например? И я стал думать о жизни наших дедушек, бабушек, которая кажется мне всегда такой счастливой. Пройдя аллею, я пошел назад и опять вернулся к шалашу. И что же, как нарочно, услышал? Яков, спиной ко мне, сидел на корячках перед земляной печуркой, которую он уже вырыл под липой против шалаша, ставил в ярко-оранжевый огонь, распаленный в ней, чугуничик с водой и опять пел, — вполголоса, нежно и жалобно:

*Мой стон и грусти люты
Вообрази сабе
И вспомни те минуты,
Как был я люб тебе...*

И, приподнявшись, разогнулся и ладно топнул лаптями:

*Ах, сыпья, горох,
На двенадцать дорог,
Кода буду помирать,
Тода буду подбирать!*

— Яков Демидыч, — сказал я, подходя, —

где ты мог эту песню слышать?

— Какую? — спросил он, оборачиваясь.

— А вот эту, про стон и грусти люты? Теперь таких песен не поют, эта песня старинная и к тому же господская.

— Это правда, — ответил он, — эта песня томная. Но только я таких много знаю. Могу эту сыграть: «Я не помню в оный час твоя досады», а еще «От несклонности твоей дух во мне метется», а еще «Мне припятства ни по чем, не спасусь любви». Могу и про девок: «Есть-ли девки все метрессы, бросим мудрости и мы...» Ведь мы, однодворцы, в старые времена тоже, бают, господа были. Над нами барские и теперь еще смеются: ты, мол, галман, чьих господ барин?

— Кстати, — сказал я, — что ж ты до сих пор ничего не рассказал нам про себя? Есть ли у тебя семья, двор, свое хозяйство, что ты зимой делаешь?

— Да ведь вы мне про то не спрашивали, — ответил он. — А сам я не насмелился. А ну-ка вам это безо всякой надобности? А семьи у mine нету, первая жана померла давно, а другая ушла, не пожелала со мной жить, со-

скучилась, значит. А сыновья, какие остались, один в солдатах, а другой во двор пошел, сапожничают, пьяница и дурак, по совести сказать, каких мало... Пойдите-ка, вас, никак, к столу кличут?

— Ну, видно, до вечера, — сказал я и пошел в дом. Божье древо — это очень неплохо сказано.

17 июня.

Жить, говорит Яков, надо так, как жили деды, прадеды. Новшество, однако, не отвергает:

— Вот, скажем, теперь молотилки пошли. Що ж, эта не беда. Бывалыча, как станем гужом, в двадцать цепов, да как вдарим враз — заслушаешься, до чего ладно выговаривая! Ну, а в сырую погоду, знамо дело, молотилка куда удобней.

Царя ни в чем дурном не винит:

— Министры виноваты. Вроде как господские бурмистры в прежнее время...

Богатым он не желал бы быть: объешься, обопьешься, будешь по перинам валяться, а пух человеку вреден, имеет будто бы свойство «притягивать». Но жить в достатке, ко-

нечно, не прочь бы.

Смерти не боится, — по крайней мере, утверждает так. Сказал с нарочитой развязностью:

— Вона, чаго ее бояться! Все равно, никто жалеть не будя. Лес по дереву не тужит!

Беседуя, он все время пристально работал: делал себе лозниковую дудку, я, говорит, люблю эти дудки и жилейки, буду вам играть «Во лузях», лучше этой песни во всем свете нету: «Расцвяли твяты лазоревые, понеслись духи малиновые...»

Пишу в библиотеке. Окна в сад открыты, подоконники горят на солнце. На подоконниках насыпаны и сохнут, сладко пахнут лепестки роз. В саду — радость, зелень, птицы, прекрасное летнее утро. И все время с удовольствием вспоминается присутствие в усадьбе этого милого человека.

18 июня.

Едем в Субботино, на станцию, встречать городских гостей.

Собираться запрягать стали тотчас после завтрака, хотя поезд приходит четверть пято-

го. Впрочем, запрягали, как всегда, часа два: покуда тарантас выкатили из каретного, покуда его подмазали, покуда сбрую собрали, покуда лошадей вычистили и напоили...

Я, принарядившись, вышел из дому и пошел посмотреть, исправно ли переднее колесо, которое уже два раза посылали к кузнецу. Опять чудесный, праздничный какой-то день. Зной, блеск, потом это детское удовольствие при мысли о поездке. Тарантас уже весь такой горячий, что прикоснуться нельзя, лакированные крылья зеркально сияют, нагретая кожа фартука пихнет необыкновенно приятно... Яков с узелком под мышкой и с вальком в руке шел через двор к воротам.

— Ай в город? — спросил он, с усмешкой щурясь от солнца и приостанавливаясь. — Вот иду на речку по своему вдовьему делу, постирушечка есть кое-какая... А вы в город? Що ж вы в такой вар, в самую жару средидневную? — сказал он, испытывая, видимо, большое удовольствие от этой жары и обилия света.

Я ответил, что едем гостей встречать, на станцию.

Он засмеялся:

— Ну, эта еще вволю на станции насидитесь! Она беспременно опоздает, машина-то. Ведь она как идет? Я так-то, кода еду по ней, захочу соскочу, земляники наемся и опять ее догоню... А гостечки, это ничаго, хорошо. Я, прежнее время, эта любил, — погостевать, попить у хорошего соседа. У нас в старину село богатая была, сходка, бывало, соберется — все тузья, бояре, угошшали радушно, на полный рот. Бывало, не выдерешься с этого пиру, беседы: только поднялся, — ну, мол, спасибо, соседушка, сладок мед, да не по две ложки в рот, ко двору пора! — опять силком на лавку валят: стой, сват, давай еще по единой, по стремянной выпьем!

— Это что же за стремянная такая? — насмешливо спросил Илюшка, подходя к тарантасу с дугой.

— Вот и вышел Иван, — сказал Яков. — Как же ты не знаешь? Эта, значит, по самой последней, когда уж в стремя становишься, ко двору едешь. Это ведь у вас, у барских, бедного на пиру обносят, ложкой кормят, стеблом глаза колят, каждый стаканчик считают...

19 июня.

Погоду сглазили, нынче весь день льет.

Началось еще со вчерашнего вечера. Мы, по счастью, вернулись вовремя, к ужину (проездивши даром, гости обманули). Но едва вошли в дом, как понесло таким вихрем, что свету божьего не стало видно. Весь вечер бушевал настоящий ураган, молнии, удары, ливень ужасные. Я любовался грозой, сидя в темной библиотеке, поминутно оглушаемый громом и ослепляемый каким-то жестяным зелено-белым пламенем, до неправдоподобия светло озарявшим комнату, вслед за которым мелькал фиолетовый отблеск, а потом заливало чернильным мраком. К десяти стало понемногу стихать, гром стал отходить, раскатываться все дальше, небо над садом расчистилось, в комнате посветлело от месяца, показавшегося из-за сада, из-за его мокрых мотающихся ветвей. Месяц был странный совсем оранжевый. В небо над ним быстро неслись лиловатым дымом остатки туч. Я заснул при открытых окнах, с надеждой на чудесную погоду, — так сладко успокоилось все к пол-

ночи и так мирно, счастливо щелкал соловей в таинственно-тихом саду. Однако нынче опять льет, шумит по крыше с самого утра.

После вечернего чаю надели высокие сапоги, накинули резиновые плащи и пошли в шалаш. Это у нас уже входит в привычку, да и некуда больше пойти. Аллея размыта, закидана оборванной листвой, сучьями, всюду все пересыщено водой, — трава, земля, зелень деревьев, черная солома шалаша. Дождь теплый, но все же не настолько, чтобы сидеть в одной рубахе. Однако Яков сидел на сыром ветру, дувшем в шалаш, без полушубка и без шапки. Пристроившись на своем пне, положив нога на ногу и приподняв правое колено, он чинил себе рубаху, неловко, но смело действуя огромной, так называемой, цыганской иглой. Увидев нас, поднял голову:

— Бона, как нарядились! Жидки вы, господа дворяне, на расправу! А дожжок, правда, словно нанялся, прости господи. Мой кобелек и тот не вытерпел: забился в салас, весь день почивает. То, бывало, не докличешься, а нонче и Аниска не мила.

— Какая Аниска?

— А ваша, стряпухина. Он с ней так сдружился, часу не может без ней быть. Набегают, накатаются по двору — и под водовозку, либо под крыльцо: обнимутся и спят, как брат с сестрой, даже глядеть умильно.

— Умильно-то умильно, — сказали мы, — а вот как ты ухитрился ночевать тут прошлую ночь? Смотри-ка, что у тебя в шалаше, — во все дыры течет. Надо сказать работникам перекрыть его, как опогодится.

— Нет, я ночевал смирно, — ответил Яков. — Она протекать-то как следует стало только нонче. А дожжок, это для хлебов теперь первое дело. Я люблю всякую погоду. Все хорошо, все слава богу. Вы вчера поехали, а я думаю: ой, прихватит моих господ к вечеру! Ну, и правда, и грозу же разыграл господь! Как полыхнет, полыхнет — хоть деньги считай. На селе, говорят, избу зажгло, у сотского двух ребят убило, у князя в саду самое толсто-летнее древо повалило...

— Ну, вот, а ты говоришь, все хорошо, — сказали мы.

— А как же быть-то? — возразил он. — Убило — значит, не подвертывайся. Що, значит,

кому назначено, всякому свой жребий, на это обижаться нельзя. Бог и колосьев не сравнял. Один дурак, другой умный, один богатый, другой побирушка, он помер нонче, а я завтра...

Потом, пристально и с удовольствием следя за своей работой, поднимая рубаху на свет и оглядывая, не протерто ли еще где, стал рассказывать про себя, про свой жребий:

— У нас двор в старину знаменитый был. Да знамо дело — стали делиться, ну и изничтожились. Мне земли пришлось всего полторы десятины. Да що ж я, я не жадный. Я своей скудости не стыжусь: чем девчонка виновата, что юпчонка маловата? Одна беда — детей много было. Жанили рано, а она и наваляла мне их — баба, правда, отменная была. Я с ней осемнадцать годов отжил и девять человек наплодил.

— Значит, любишь это дело? — пошутили мы.

Он тотчас же, в угоду нам, подхватил шутку.

— Баб-то? А кто ж их не любит? Да я и теперь не откажусь, подавай какую хочешь.

При старости при такой не требуют никакой, у чужом у краю и с рябой как в раю. Вон, бают, господа какие-то ярусные капли пьют, чтоб, значит, яровитей быть, а я и без них, как дорвусь, в рукавицах не оттащишь: старая кобыла борозды не испортит! А детей, говорю, правда, много нарожал. Ну, только их почти всех бог по одному прибрал, мне и стало посвободнее. А как и жана померла, я семь годов вдовцом ходил. Думал, так и свекую. Ан суседки зачали сбивать, что ж ты, мол, как обсевок какой в поле, рубахи некому постирать... Жанись да жанись, я и послухался. Тут как раз брата моего старшого убили, я и думаю себе...

— Постой, как убили? Кто убил?

Он мотнул головой и засмеялся:

— Казаки убили, пропади они пропадом. Они ведь страшные жадные, аредные, черти. Брат, правда, чуточку неладно сделал — приловчился у них в отарах овечек поворовывать, а они и поймай его. Схоронились так-то в яруге, в балке, а как завидели, что он ярку по полю в сумерках на себе прет, выскочили и давай его нагайками парить, по ушам да по

чем попадая глушить... Так до смерти и засекали. Ну, а я в тую пору и жанился. Думал, думал, за кого бы, дескать, посвататься? Кто, думаю, за меня за такого пойдет, за старого и вдового? Ан все случай. Зашел раз к невестке, ко вдове братниной, а там нищенка, дурочка сидит, хлебушка зашла попросить. Я ее и спрашиваю, смеху ради: «Что ж ты, дескать, шатаешься, побирушкой ходишь? Ты бы замуж шла, ты еще здоровая. Авось, мол, ума большого там с тебя не спросят». — «Да что ж, говорит, за хорошую голову пошла бы». Ишь ты, мол, какая шустрая! За хорошую! При твоей дурости и бедности тебе нечего разбирать. Да вот тебе, к примру, хорошая голова, — дескать, я — пойдешь за меня? Ты, мол, не гляди на мою старость: стар пестрец, да уха сладка. Ну, а она, понятно, рада-радехонька. Кто ж ее такую-то опричь вдовца возьмет? Дундук, бестолковая, побирушка, а красотой так даже я перед ней король. Повенчались на ране Успенья, а она пожила осень да зиму, а на Фоминой и пятки салом подмазала: ушла. Меня, говорит, любовники жамками кормили, а ты кобель, у тебя нету ничего... Понятно, обыкла

шататься, работой скучает, ну и ушла, слава богу...

— Так ты теперь и живешь один? — спросили мы.

— Так вот и живу, — подтвердил он, вставая и складывая рубаху с видимым удовольствием от доделанного дела. — Так и живу, бояре хорошие, — сказал он, легонько вздыхая. — Когда будем помирать, тогда будем горевать. А пока вот по садам сижу, а зиму хожу, волну бью по соседским дворам. Дома я долго не люблю сидеть, к дому у меня охоты нету.

— Ну, а дети твои? Они дома живут?

— Дети у меня никуда, — сказал он. — Один сын, слава богу, на казенных харчах, в солдатах, другой хромой, пьяница, сапожник... Сапожник, сапожник, а родному отцу без пятака латки на сапог не положит! А как у самого нужда — сейчас к отцу. «Батя, помоги!» Ну, и помогаю по силе-мочи...

21 июня.

И вчера весь день лил дождь. Нынче очень свежо, сильный северо-западный ветер, все

небо движется сумрачными и величественными облаками, купоросно ярка зелень сада.

Яков вчера отсыпался на печке в людской, — «прозяб маленько»! Нынче с необыкновенной бодростью помогает Николке таскать с гумна старновку, покрывать шалаш, выгребать из него старую, гнилую, пахучую солому. Шалаш стал теперь желтый, виден в аллее издалека. Аллея вся завалена обломанными бурей ветвями с зеленой листвой... Яков, конечно, не унывает:

— Ничего! Авось не первая волку зима! Мы этих бурей не боимся!

И опять умиляется, художественно восхищается на кухаркину девочку, которая, в одной грязной рубашонке, опять весь день катается с его кобельком по холодной и мокрой траве на дворе.

— Он все будто грызет ее, а она будто боится, отбивается... А вчерась что сделала? Видела, как работники в каретном себе сапоги дегтем мажут, забежала туда и давай помазком себе голые ноги холить! Явилась в избу — мать так и ахнула...

Перед вечером проглянуло с запада солн-

це. По низу аллеи, между стволами, стоят золотистые столпы чистого и холодного вечернего света. Шалаш кончили, — теперь все ново, сухо, в порядке. Яков благодушествует за «чайкём».

— А ты, Яков Демидыч, сказки разные, стихи, былины знаешь?

— Это как побирушки-то на ярмарках кричат? Это я много знаю. Я три лета при свечной лавке жил, ездил торговал с прикащиками по селам, по престольным праздникам, — нас семь подвод было. Они страсть как кричат, эти калеки перехожие. Как поднимут, поднимут «разжалкие папашечки...»

— А ты можешь по-ихнему кричать?

— Вона, еще бы тебе!

И в ту же минуту, поставив чашку с чаем на землю и закрыв глаза, откинув голову назад, стал в нос, на разные голоса вопить:

— Разжалкие папашечки, разжалкие мамашечки, подайте Лазарю убогому, безногому! Ваши ножки ходят, ваши ручки служат, а он того не можа, смальства страдая! Ваша подающая рука, которая подавает, та вовек не оскудевает! Ваша подаянья на огне не горит и

в воде не тонет, ее моль не ест, ни ржа не точа! Вы подайте не ради нашего прошения, а ради своей души спасения! Как вы, разжалкие воспитатели, нам подадите, вы своей души спасенью угодите! Разжалкие сестрицы, братцы, мы, как помрем, ничего с собой не возьмем — ни злата, ни серебра, ни богатства, ни имения! Смальства он, Лазарь, не ходил, не служил, согласен он вам за корку служить, каменные горы бить, чем таким несчастным быть! Небесная птица, не можа ее без крыла по воздуху носить, так бедный калека не можа на своих ножках ходить! Разжалкие наши питатели, вы полайте свое верное подаянье ни другу, ни брату, — подайте самому господу богу святу!

Кончив, он открыл глаза, засмеялся и, опять взявшись за чашку и откусывая от кусочка сахара, назидательно прибавил:

— Вот они как кричат, народ обманывают. Их всех надо по тюрьмам рассажать, они там сытые и на всем готовом будут.

— Ну, а какие ты сказки знаешь? — спросили мы. Он подумал, весело глядя в землю:

— Сказки? Про Конья-горбунья знаю,

про молодого Ивана Царевича, как он на охоту ходил, свою царевну добывал, а еще про этого Алексея Божьи человеки...

И, опять прикрыв глаза, начал скороговоркой, мешая сказочный лад речи с обыденным:

— У главном городе у Рыме, при первом царю при Онории, при великом князе Претемьяну, жил, значит, князь со княгинею. Он усердно молился, трудился, просил себе детища у матери госпожи пресвятой богородице. Создай мне, дескать, господи, единую чаду, при младых лет на посмотрение, при старости на призрение. И вскорости, значит, так по его молитве и вышло дело. Алексей Божьи человеки скитался и спасался, а мать с отцом его не узнали, за побирушку почитали. И возговорит он тут отцу-матери, состройте мне, дескать, отхожую келью у красном зяленом саду, где всякий мусор мечут и помои свиньям льют. Зачал он в келье трудиться со всеми своими образами, иконами, с пресвятой госпожой богородицей и тут, значит, и век свой молодой скончил. Отворил служка двери, взошел на порог и гроб открыл, а он как жи-

вой лежит. И вскричали тут отец с матерью промежду себя: «Сын наш, дескать, возлюбленный, что ж ты над собою сделал? Мы бы тебе в лучшем виде келью отстроили, твою молодость успокоили!»

Когда он кончил и это и, убирая в шалаш чугуничик, хлеб, чашку, сказал, что теперь хорошо бы водочки стаканчик выпить да какой-нибудь закусочки закусить, мы спросили:

— А что ты из закусок больше всего любишь?

— Из закусок-то? — отозвался он. — Да что ж, вот селедочки не плохо закусить, бараинки жареной, пирожка с сомовинкой... ну, еще какой-нибудь там хвостик ветчинки, хунтик колбаски вареной... Да я, по совести сказать, за весь век только один раз сытый был, когда на бойнях у купца в Ельце служил. Там и насчет этого самого щепоточного, насчет баб то есть, было вольно. Ну, только я на это не льстился. Дома дело другое. Там иной раз займешься с какой-нибудь пожилой старушкой, сделаешь ей за работу безделицу какую, ножницы, скажем, поточишь али вялёк, каким на речке белье колотят, вырубешь, вот и расход

весь. И самому лестно, и ей удовольствие...

24 июня.

Дождь, дождь и дождь.

С Яковом не видались давно, только немножко поболтали вчера вечером.

Сидит на соломе, ест кулеш из чугуника. На пне горит свечка, забитая в какую-то жестянку, на стене шалаша чернеет его большая тень. Снаружи, по шалашу, шуршит ветер с дождем, кругом, в саду, непроглядная чернота... Между прочим, опять попробовали попытать его насчет смерти:

— Вот ты говоришь, тебе пятьдесят седьмой, значит, лет через десять, может, и помирать придется. Думаешь когда-либо об этом, боишься?

— Нет, не думаю. Двум смертям не быть, одним не миновать. Чаго же ее бояться!

— Да как же не бояться, ты только представь себе: вот в такую вот ночь да в гробу, в могиле, на кладбище...

Но он опять стал отделяваться шутками, — видно, что разговор этот ему пока (то есть пока он здоров) совершенно неинтересе-

сен:

— Да авось туда, в могилу-то, не протечет, мелко не положат...

Разговор о боге тоже перевел на шутку, на сказку о солдате, который попал в рай и остался очень им недоволен: «А, вот оно что, этот рай! Да какой же это рай? Ни трубочки, ни водочки! Кабы трубочки, да водочки, да кисет с табачкём, вот это иная была бы статья!»

— А нам думается, — сказали мы, пытая его, — ничего на том свете не будет, ни этого рая, ни ада.

Но тут он не согласился:

— А как же святые-то в раю живут, если его нету? Нет, это вы глупо говорите. Это выходит, что и бога нету? Кабы его не было, вся бы земля пропала. Не дал бы, к примеру сказать, бог травы, кормов, вся бы скотина поколела...

Потом рассказал, как Христос с дьяволом насчет людей делились — «вот как братья на селе делятся»:

— Тебе, говорит Христос, пущай мертвые достанутся, — тебе же лучше будет, мерт-

вых-то ведь больше, а мне, значит, живые... А потом обдумолся да и на попятный: ведь как же, ведь все они, живые-то, тоже когда-нибудь мертвые будут? И, значит, сошлись на том, что которые упасутся — ему, богу, а которые нет — дьяволу...

26 июня.

Дождь. Разговор о цели жизни:

— Яков Демидыч, для чего ты на свете живешь?

— Как для чего? Вот ваш сад караулю.

— Да нет, я не про то. Для чего ты на свет родился, для чего на земле существуешь?

— А господь его знает.

— Значит, не знаешь?

— А кто ж это знает?

— Да ведь надо знать. Надо думать, додумываться.

— Я и думаю.

— Ну, и что ж ты надумал?

— Надумал-то? По совести сказать, не знаю.

— А может, ты живешь только для того, чтобы есть, пить, спать, потомство плодить и

жить в свое удовольствие?

— Нет, это я бы заскучал.

— Значит, ты живешь не для этого? Но тогда для чего же?

— А чтоб радость была.

— Радость! А это разве не радость, — сладко есть, сладко пить, с женой красивой спать, богатым и почетным быть?

— Это сама собой.

— Значит, не в этом одно дело?

— Стало быть, что нет.

— А в чем же?

Думает. Потом смеется:

— В чем да в чем! Мы вот так-то возили раз с покойником родителем хлеб с поля, а я и пристань к нему, — что, да как, да зачем, — я тогда еще совсем коростовый был, — а он молчал, молчал, да и говорит, наконец: «Вот как пуцу тебе, малый, по ушам кнутом, тогда узнаешь зачем!»

28 июня.

Завтра уезжаю на юг, хотя ехать уже не хочется: опять наступили прекрасные дни. Нынче Яков сказал мне:

— А народ у вас тут глупый, господа хорошие. Я вчера пошел на деревню серничков купить, иду задворками, а на гумне мужик стоит, а по меже ко ржам во весь дух бежит девочка лет семи али восьми... Бежит и навзрыд плача, спешит изо ржей телушку выгнать, а он стоит и орет на все поле. Длинный, долговязый, морда злая, скучная — и орет безо всякой совести: «Опять телушка во ржи, так-то твою так? Ты так-то за ней глядишь, распротак твою так?» — Я просто диву дался, до чаго свинья, невежа! Можно разве так-то на свое дитя кричать?

— Ну вот, а ты говоришь, что лучше нашей державы и лучше нашего народа во всем свете нету, — сказал я.

— А що ж? — поспешно и бодро ответил он. — Конечно, нету. Только, конечно, нас учить надо. Кабы подойтить к этому самому дураку да дать яму, щоб красные сопли потекли, небось в другой раз не горланил бы так-то! А еще и то сказать: не все ж и у вас подобные. Я вот нынче утром пастуха у вас за гумном видел: ну, до чаго хорош! — сказал он, вдруг засмеявшись и засияв от восхище-

ния. — Сядит на меже и портки себе жжет! Скотина по всему полю разбрелась, а ему и горюшки мало! — Вынул это стекло жгучее и наводит на портки: как солнце из-за облака выйдет — от порток дым столбом! Що ж, ты, говорю, дурак, делаешь, ай маленький? Ведь тебя жанить давно пора! А у него рот до ушей от радости: да уж больно, говорит, чудно, дяденька! — А где ж ты ее взял, это самое стекло? — А мне брат солдат принес... Нет, — сказал он с удовольствием, — наш народ хороший, обоюдный!

Я сообщил ему, что завтра уезжаю.

— Ну, що ж, — сказал он весело и равнодушно. — Дай бог час. Живы будем, еще, можа, повидаемся... А далеко едете-то?

Я ответил, что на юг, к морю, купаться.

Он весело изумился:

— Как купаться? Да вы бы дома-то, в речке? А какие же там жители? Наши ай немцы?

— Там больше татары, — ответил я.

— А! — сказал он, немножко насмешливо улыбаясь. — Этих я люблю. Они, слух есть, нами сто лет владали. А известно — конь ездока любит. Опять же смирный народ, ласковый.

Скажешь ему: здорово, мол, князь, есть платки? — он так и вскинется весь: «Есть, бачка, есть!» — «А магометовы портки?» — «Тьфу, не хорошо, грех так-то говорить!» И больше ничего. Не то что жида — те страшные обидчивые... А скучать вы не скучайте, — прибавил он неожиданно, уже давно, видимо, угадав, что мне не хочется и немного грустно уезжать, — это всегда так перед отъездом, все будет жалко чего-то, а в дороге, глядь, и разгулялся и забыл всех...

И, поднявшись, бодро пошел к огню, который, как всегда, пылал в земляной печурке против шалаша под липой, и на ходу легонько притопнул лаптями:

*Сова ль моя, совка,
Сова ль моя, вдовка!*

Приморские Альпы. 1927

Алексей Алексеич

Нелепая, неправдоподобная весть: Алексей Алексеич умер!

Всего нелепее то, до чего неожиданно умер он. Ведь еще только вчера, вернее, прошлой ночью, он был с нами, сидел, ужинал и, как всегда, говорил, говорил — то, что он говорил повсюду, за всеми ужинами.

— Как Чацкий, с корабля на бал, — сказал он вчера, входя в столовую.

Он сказал то, что неизменно говорил, приезжая на вечера к знакомым. Вчера откуда именно приехал он? Но, по совести сказать, разве мы знали когда-нибудь, откуда он приезжает? Да и знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним? Знала, может быть, немного больше прочих его старинный друг, княгиня. А все прочие знали только то, что днем у Алексея Алексеича служба, дела, деловые завтраки, заседания, что по вечерам он не пропускает ни одной те-

атральной премьеры, ни одного порядочного концерта, — музыку он действительно любил и понимал, — а ночью непременно где-нибудь ужинает — у Кюба, на Островах, у знакомых, — так что все, бывало, дивятся на него: и когда только успевает он спать?

— Как Чацкий, с корабля на бал, — сказал он вчера, входя в людную и светлую столовую, со своим обычным слегка насмешливым выражением лица.

И, как всегда, едва только он показался и сказал это, все встретили его хором радостных восклицаний:

— А! Наконец-то!

И, с безразличной улыбкой пожимая руки, раскланиваясь, он прошел к своему месту за столом, безразлично поцеловал большую и жилистую руку своей соседки княгини, засунул угол салфетки за открытый жилет, взялся за бутылку и, как всегда, спросил:

— А вам, княгиня, позволите?

Княгиня ответила:

— Пожалуйста. Только немножко.

И он возразил опять-таки так, как всегда возражал в подобных случаях:

— Э, княгиня, что за счеты. Пить умереть и не пить умереть. Уподобимся, государыня моя, стрекочущу кузнецу, в зленом злаке сущу. В меру и во благовремении питье вредить не может. Лишь бы не упиваться до от-вратности, — сказал он, не думая ни единой секунды о том, что говорит. — Лишь бы не сравняться с пьяницей богомерзким. Ибо что есть пьяница, по учению мужей мудрых? Онный пьяница аки болван, аки мертвец валяется, многожды бо осквернився, мокр и на-льясь, яко мех, до горла, не могий главы своей возвести, смрадом отрыгая от многого локания.

— Не говорите гадостей, я есть не могу, — сказала княгиня.

— Как, это поучения-то святых отцов гадость? — сказал Алексей Алексеич. — А еще в Лавру, княгиня, каждый божий день ездите!

— Нет таких поучений, это вы всё сами выдумываете.

— Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже слушать страшно. Истинно, жена прелестная. А ведь что такое жена прелестная?

— Какая еще такая жена?

— А вообще жена. Что есть жена, сиречь женщина?

— Ох, Алексей Алексеич, и про жену уже тысячу раз слышала.

— Слышали, а каждый раз забываете. Жена, милая княгиня, есть святым обложница, змиино покоище, цвет дьявола, купница бевская, сковорода подпечающая. И далее: что есть жена? Сеть утворена прельщаючи человеки, светлым лицом и высокими очима намизаючи, ногами играючи.

— Боже, какой вздор. И что это значит — наммзающн?

— А черт его знает, я и сом не знаю, милая княгиня. Вот «ногами играючи» — это я понимаю.

— Перестаньте говорить глупости.

— А это не я говорю, это бес в человеке говорит. Ибо что есть человек? В человеке, как всем сие ведомо, есть восемь составов...

— И это знаю, и не трудитесь, пожалуйста, перечислять ваши составы.

— Нельзя, милая княгиня, и рад бы не перечислять, да не могу. От земли у человека тело, и тот человек темен; от моря — кровь, и

тот человек прохладен; от огня жар, и тот человек скуп...

— И откуда только берется все это у вас?

— От прилежания, государыня моя, оно же неистощимый, неупиваемый кладезь мудрости. Но позвольте кончить. От солнца у человека очи, и тот человек богатыреват...

— Ничего не понимаю. Что ото значит — богатыреват? Дайте-ка мне лучше спичку.

— А вы думаете, я понимаю? — ответил Алексей Алексеич, зажигая спичку и помогая княгине закурить. — От ветра у человека дыхание, и тот человек легкоумен, подобно вашему покорному слуге. От облака мысль, и тот человек похотлив. И наконец: от света — свет, и тот человек не мыслит земного, а лишь небесная.

— Вы, конечно, от облака?

— Сиречь, похотлив? Грех вам, княгиня, говорить так, будучи единственной причиной оной похоти. Вы же отлично знаете, что по отношению ко всем прочим прелестницам я мыслю лишь небесная.

Княгиня легонько ударила его по руке. Он вынул маленький портсигар, плетенный из

китового уса.

— Разрешите, раз уж вы сами курите? И куренье, конечно, не благо, дорогая моя, ибо который человек начнет дерзати табаку, то у того человека мозг крутится...

Так и в таком роде, без конца и без умолку, говорил Алексей Алексеич за ужином. А за кофе, которое мы пили с ликерами в четвергом часу ночи, он уже слегка осовел, сидел с вялой усмешкой на устах и опять приставал к княгине с тем, что она уже тысячу раз слышала и что, однако, ей ничуть не докучало, хотя она и делала вид, что сердится.

— Дитя! — говорил он. — Али не разумеешь, яко вся сия внешняя б... ничто же суть, но токмо прелесть и тма и пагуба?

— Ох, боюсь, Алексей Алексеич, что хозяйка прикажет вас вывести, — сказала княгиня.

— А за что же, позвольте спросить, она прикажет меня вывести? — слегка жалобно возразил Алексей Алексеич. Ведь это же прекрасное старинное русское слово, коим наши отцы и деды не токмо в самом высшем свете, по даже и при дворе не гнушались. Ничего-то вы, княгиня, не знаете, даже страшно. Ведь

это слово у самого протопопа Аввакума в его житии пишется, а уж на что сурьезный был мужик этот протопоп. Мм, сказано там...

— Довольно, довольно, Алексей Алексеич, — сказала княгиня. — Верю и без дальнейших примеров. И перестаньте пить и едем, смотрите, какие у вас мешки под глазами.

— Слушаюсь и повинуюсь, — ответил Алексей Алексеич. — Но повинуюсь не мгновенно, а лишь через четверть часа. Ровно через четверть часа, государыня моя. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, поспешай не торопясь, как советует Кузьма Прутков...

Кончилось тем, что, по обыкновению, вернулся домой и заснул Алексей Алексеич только в семь часов, когда в его кабинете на Конюшенной уже синел грязный утренний сумрак. А проснулся после полудня, часу во втором, и проснулся, по свидетельству его слуги, как-то внезапно, сразу, раскрыв глаза с испугом. Некоторое время после этого он лежал без всякого движения, глядя в стену перед собою, потом позвонил и приказал подать себе сельтерской воды. А выпив воды, попросил по-

мочь ему одеться, а потом — позвать извозчика и, когда доложили, что извозчик готов, вышел из дому и поехал к Потехину...

Потехин! Потехин-то, конечно, и виноват во всем. Вообще, что такое эти визиты к докторам, сидение у них в приемной, ожидание их расспросов, исследований, решения, рецептов, советов! Какой это вообще ужас быть больным! Вот человек вдруг почувствовал, что дело его что-то не ладно, подозрительно... Он перемогаётся, тщится уверить себя, что это неладное есть нечто случайное, временное, что не стоит думать о нем, не надо поддаваться ему, а сам меж тем думает все чаще, поддается все больше — и наконец не выдерживает, решает воззвать о помощи к этому волхву, именуемому доктором, и либо с трепетом ждет его у себя на дому или томится у него в приемной... Последнее, по-моему, особенно ужасно!

Да, на дом к вам доктор приезжает всегда с большим опозданием, а если вы едете к нему сами, всегда-то он как нарочно занят с другим больным, требующим долгого и серьезного осмотра, или где-то задержался. И

вот вы сидите в этой проклятой приемной, в ее напряженной тишине, где всякий почему-то боится вздохнуть, а если говорит, то шепотом, где так дьявольски медленно, важно, спокойно, дремотно отсчитывают время дорогие мраморные часы на камине, так бесстрастно блещут картины на стенах и черная рояль у стены, возле высокой таинственной двери в докторское святилище, и так безжизненно стоит, каменеет мебель в чехлах вокруг круглого стола посреди комнаты. Вы сидите, измученный нетерпением, вы ждете, подавленный вас окружающим, ждущим молчанием. Вы пытаетесь заняться истрепанными книгами, иллюстрированными журналами и проспектами, картинками санаторий, лежащими на круглом столе. Вы заставляете себя читать, осторожно перелистывая эти журналы и проспекты, разглядывая отели в сосновых и снежных горах, виды из салонов, столовых, каких-то стеклянных веранд, уставленных лонгшезами... Но, в сущности, вы ровным счетом ничего не видите и не понимаете, читая, перелистывая и разглядывая: вас погружает в транс, в идиотизм, в какое-то по-

добие улыбки летаргии эта тишина, этот сложный и смутный шум обычной, будничной жизни города, которой нет ровно никакого дела до вас, до ваших мук, болезней, смертей, которая течет себе и течет никогда не прерывающимся потоком где-то там, за этими двойными, никогда, верно, не открывающимися окнами...

Бедный Алексей Алексеич тоже должен был пережить не менее часа подобного томления, дожидаясь Потехина, который будто бы был вызван куда-то на консультацию, а на самом деле, вероятно, дрых после завтрака в своих дальних, семейных покоях.

Пожилая и аккуратная, точно какая-нибудь классная дама, горничная бесшумно отворила ему дверь, помогла раздеться и очень сдержанно сказала:

— Пожалуйста обождать в приемной. Доктор экстренно вызван на консилиум...

И Алексей Алексеич вошел в пустую приемную и покорно сел в кресло возле круглого стола ждать решения своей участи.

Что он чувствовал, что он думал, сидя в этом роковом кресле?

Конечно, то же самое, что и все мы, грешные, чувствуем и думаем в подобных случаях. Сидел, цепенел, тупо глядел перед собою, задавал разные глупые вопросы... Вот рояль и на ней груды нот, — все, что полагается: и Моцарт, и Бетховен, и Глинка... Но когда и кто играет на этой рояли? Очень возможно, что никто и никогда. Вот люстра в кисейном конконе, подвески которой тихо звенят от продвигающихся по улице ломовых телег, нагруженных чем-то очень тяжким... Зажигается ли когда-нибудь эта люстра? Бывают ли в этой гостиной обыкновенные, а не больные люди, то есть друзья, знакомые доктора, и вообще живет ли доктор когда-нибудь не докторской, а своей личной, простой жизнью? Вот огромная картина в десятипудовой золотой раме, возвышающаяся над роялью: грозно и великолепно синее дикое ущелье, с шумом клубится, несется пенно-зеленый горный поток, сумрачно и величаво дымятся облаками скалистые и снежные вершины гор... Чья это картина, как и зачем она попала к доктору, что общего у него с этим ущельем? Ущелье синее и синее, поток, нагоняя дремоту,

шумит и шумит — неужели это так и будет изо дня в день, из году в год, пока будет жить и принимать доктор? Доктор отдыхает от своих вечных приемов и забот о чужих болезнях, верно, только в августе... Где же именно? На Кавказе, в Швейцарии, то есть опять-таки где-то там, где синие ущелья и пенно-зеленые потоки? Но на кой черт ему они?

И потехинская горничная говорит, что слышала, как Алексей Алексеич будто бы вдруг громко сказал:

— Нам, государь мой, уже давным-давно наплевать на все эти красоты с высокого дерева!

Он, конечно, стучал пальцами по столу, с мукой глядел на часовую стрелку, приближавшуюся к трем, иногда нарочно кашлял, в надежде, что в кабинете что-нибудь скрипнет в ответ на этот кашель, — в консультацию он ни минуты не верил, но высокая дверь кабинета была все так же неподвижна и заповедна, и, конечно, ему уже начинало казаться, что он и вовеки не дождетя той желанной минуты, когда эта дверь внезапно приоткроется и Потехин с нарочитой сухостью и, разу-

меется, не глядя па пациента, скажет: «Пожалуйте!»

Однако дверь эта (и как раз в ту минуту, когда у Алексея Алексеича лопнуло уже всякое терпение) вдруг приотворилась, — и судьба Алексея Алексеича была решена...

Потехин! Боже, как смалодушествовал Алексей Алексеич, допустив себя так по-детски уверовать в эту тупицу! Ибо что такое Потехин? Человек неуклюжий, сутулый, нарочито грубый; с грубыми, простонародными чертами лица, с крупными свинцовыми волосами, с тяжелым и недружелюбным взглядом маленьких глаз; неизменно медлительный и до наглости самоуверенный, хотя вместе с тем никогда не могущий взглянуть вам в лицо прямо, то и дело густо краснеющий от угрюмой семинарской застенчивости... А потом эта манера защищать себя от своего простого происхождения частым и резким упоминанием о нем!

Это убеждение, что вследствие такого происхождения он будто бы имеет перед вами какие-то преимущества, какое-то право на высокомерие! Это бахвальство, когда разговор

заходит, например, о музыке, о стихах, о живописи, особенно новой!

— Ну, здесь я умываю руки, — грубо говорит он в таких случаях. — Я в этом сущий профан. По-моему, это не картина, а яичница с луком, не стихи, а рубленая проза, которую с одинаковым удобством можно читать и с конца. Но что ж, вам и книги в руки: весьма охотно допускаю, что это гениально, замечательно...

И вот перед таким-то мудрецом и смалодушествовал наш бедный Алексей Алексеич.

Разговор в кабинете Потехина был короткий:

— Здравствуйте, Алексей Алексеич. Садитесь, пожалуйста. На что изволите жаловаться?

— Да как вам сказать, — начал Алексей Алексеич, тщетно пытаясь быть тем самым собою, которым он был всю жизнь и который в этот день вдруг почему-то точно сквозь землю провалился. — Уже давно замечаю, что как будто не совсем в порядке мои, так сказать, сердечные делишки, а вот нынче утром и совсем сдрейфил: схватило, понимаете ли,

так, что душа в пятки ушла. Пустяки, конечно, но все же почел за благо явиться перед ваши пресветлые очи...

— Прекрасно. Годочков-то вам сколько?

Алексей Алексеич ответил, все еще стараясь шутить, что, во всяком случае, больше, чем «тлидцать тли», потом сказал серьезно, и дело пошло обычным порядком. Наклонив свою свинцово-густоволосую голову и не глядя на Алексея Алексеича, начал Потехин сухо спрашивать, не спеша записывать, потом сказал еще суше и неприязненней:

— Разденьтесь, пожалуйста...

И Алексей Алексеич покорно, даже как-то угодливо, униженно, торопливо и очень неловко стал трясущимися руками стаскивать с себя пиджак, жилет, развязывать галстук, отстегивать запонки... Потом он то сидел, то стоял, то глубоко дышал, то совсем не дышал, чувствуя, что вот-вот упадет от головокружения, лежал во всяческих позах на скользкой простыне на холодном клеенчатом диванчике... Наконец Потехин и сам измаялся. Помолчал, глядя в потолок, еще немного помял белый живот Алексея Алексеича свои-

ми большими мягкими пальцами уже неизвестно зачем, очевидно, только в силу привычки мять животы, потом встал и, еще больше нахмураясь, сел за стол и в мертвой тишине стал писать рецепт, меж тем как Алексей Алексеич, раздавленный столь неожиданно-зловещим поведением Потехина, с постыдной неряшливостью и поспешностью приводил себя в порядок.

— Ну, что же, доктор, что скажете? — спросил он наконец с усмешкой. — Дрянь дело?

И Потехин ответил, не поднимая головы:

— Дрянь, не дрянь, но не скрою — неважно.

— Сердце?

— Оно самое.

— Ну, годик-то еще попрыгаю? — опять сделал попытку пошутить Алексей Алексеич. — Я, откровенно говоря, этой самой любви к жизни, сладкой привычке бытия не весьма привержен, поелику почитаю оное сплошным свиным корытом... Не обуреваем равным образом и гамлетовскими терзаниями насчет того, что ждет нас там, на противоположных берегах реки, Стиксом именуемой.

Но все же, знаете, как-то не того... не хочется спешить выправлять подорожную в место злочно и блаженно, иде же несть ни печали, ни воздыхания, а скука зеленая да шесть пород червей, кои будут трапезовать новопреставленным рабом их. Так уж вы скажите мне, дорогой мой, участь мою без лицепрития, а то я просто на извозчике околею от неизвестности...

И Потехин, дописав и расчеркнувшись, ответил с истинно хамской беспощадностью:

— Я пророчествами не занимаюсь...

Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге домой, и, конечно, вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот. Вот тебе и «стрекочущу кузнецу», и Кюба, и Острова, и ужины у друзей-приятелей! И ни одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о нем. Даже и на похоронах-то будут думать только об одном: как бы покурить поскорей!

1927

Подснежник

Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица — и был гимназистик Саша, которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником.

Была оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было уже много, много в этом старом степном городишке, и приехал к Саше отец из деревни.

Отец приехал из глухой, внесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворье, в грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и седеющий, сильный и молодежавый. Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущем овчиной и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами.

А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный,

особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не каждому дает бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?

На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он еще во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот картуз, эти веточки идут к нему, — к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне и свежести всего его существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда, еще так недавно раскрывшегося на мир божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного!

Живет Саша «на хлебах», в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские, набитые соломой сани, пара запряженных впротяжку лохматых деревенских лошадей! С этого дня Саша переселяется на Елецкое подворье.

Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит, а Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будит его, шутя стаскивает с него одеяло. Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то на голубятне.

Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять кусочков сахара, съедет целый калач и опять шаркает ножкой:

— Мерси, папочка!

Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: пора идти на базар, в трактир, — завтракать. И, одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер раскрытым на-

стежь. Ах, как хорош после комнаты зимний сырой воздух, пахнувший праздничным чадом из труб! И какой долгий прекрасный день впереди!

В трактире «чистая» половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и донельзя затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций, — селянку на сковородке, лецца в сметане, жареной наваги, — требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к себе знакомых: каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках...

Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой лиц, потных лбов, лохма-

тых голов, густых бород, чуек, армяков, полупшубков, тулупов, громадных сапог и тающих валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и зорким командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и широко раскрыты лазурные детские глаза!

А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный и будничный вид, пустеет даже базарная площадь — и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает.

Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост, тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается. А там, во дворе, уже запрягают лошадей. Последний, самый горький час! Вот сию минуту вдруг войдет коридорный:

— Подано, Николай Николаич!

И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных, выше колен, валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет;

— Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой.

И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам...

А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто — боже, какой родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани, набитые соломой! И работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и длинным кнутом в руках... Еще минута — и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из города, в серые снежные поля — и прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя!

— До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.

К роду отцов своих

*Дивны дела твои, и душа моя вполне
понимает это.*

Псалтирь

I

На раннем рассвете, почти в темноте и в густом тумане, привезли из города пожилую черничку и огромный гроб, черный с белыми крестами, который полулежал возле нее в тарантасе, упираясь узким концом в козлы, а широким в полуоткиннутый верх. Пустой, по-осеннему мертвый двор усадьбы, по которому туман шел из сада сонным, мрачным дымом, весь серел крупной сизой изморозью. Дом за туманом рисовался темно и смутно, казался нежилым, угрюмым. И злое еще краснели в его дальнем, крайнем окне огни трех свечей. От бессонной ночи черничка и кучер промерзли до костей, похудели, были бледны, безжизненны. Кучер поехал от крыльца к каретному сараю — отпрягать отупевших от долгой дороги, обросших туманом лошадей. Черничка прошла через темные се-

ни и вошла в сумрак, в сонное тепло дома, Девка, спавшая на конике в прихожей, испуганно вскочила и села, ничего не понимая. Но через минуту она уже говорила оживленным и дружественным шепотом, помогая черничке раздеваться и расспрашивая, очень ли та озябла, когда выехали из города и сколько дали за гроб. Она зажгла и отнесла в зал, где со всех сторон были заперты двери, керосиновую лампу, запалила на окне в прихожей зашумевшую спиртовку... И когда тепло и душисто запахло кофе, черничка, крестясь и садясь за стол, почувствовала несказанную сладость жизни.

Все в доме спали, измученные горем и тем беспорядком, что внезапно воцарился в нем с роковой прошлой ночи.

— И барыня, слава богу, заснули, — шепотом говорила девка, подавая хлеб и масло. — Не приведи бог, как плачут, убиваются!

Черничка, намазывая хлеб маслом, спросила:

— А он где лежит-то?

Девка неопределенно и боязливо кивнула на запертые двери:

— За маленькой гостиной.

— Один?

— Один. Сперва при нем старик был с пашей деревин, да у них молотилка сломалась, он и бросил читать, ушел ее чинить.

Черничка неодобрительно качнула головой:

— Нехорошо. Одному покойнику нельзя лежать...

И она жадно стала пить горячий кофе, поглядывал на эти высокие, таинственно закрытые двери. Он был где-то там, за ними, в глубине дома. Он лежал и ждал се, и в уме уже привычно звучало:

— Как овец, заключает их в преисподнюю... Смерть будет пасти их... Могила жилище их... Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света...

Огонь в лампе пожелтел, в зале светлело, туман за окнами стал голубой, прозрачный. Вновь наступающий день сулил живым только привычную сладость земных дел и забот. Дня него, для того, кто еще позавчера сидел вот за этим столом, а теперь лежал и ждал черничку, это был последний, самый послед-

ний день на земле. Могут потом проходить века, тысячелетия — все равно: его, бывшего хозяина этого дома, уже никогда не будет. Нынче, даже сейчас, как только все проснутся, его навеки, до скончания времен, положат в то, ни на что в мире не похожее, всему миру чуждое и враждебное, что всю ночь тряслось рядом с черничкой в тарантасе, покачиваясь и постукивая в тумане и мраке по осенней промерзлой дороге. Но черничка не думала об этом, — с радостью отогревалась, с наслаждением пила и ела, с удовольствием соображала, что сейчас надо приказать внести гроб в дом, позвать работников и заставить их сделать все, что полагается, не как попало, а под своим наблюдением.

II

Утро наступило ясное, тихое. Часам к девяти все нужное было сделано. Теперь всем оставалось только ждать следующего утра. И вот он течет, длится, этот последний, самый последний день.

С позапрошлой ночи усадьба вдруг стала доступна для всякого. Смерть широко распахнула двери пораженного ею и лишившегося

своей обычной сокровенности человеческого гнезда. И вчера весь день шли и шли в усадьбу все те, что почему-то желали взглянуть на покойника, — всякие проезжие и прохожие, калеки и нищие, мужики и бабы (не только свои, но и чужие, заречные). Идут они и нынче. Без спросу, без стеснения подходят они к парадному крыльцу, возле которого стоймя стоит и так и бьет в глаза своими страшными очертаниями и своей высотой черная с белым крестом крышка, заглядывают внутрь настезь растворенного дома, в пролет его больших горниц, входят, идут и доходят до той, самой последней, которая превратилась теперь в некое подобие часовни: там пугливо и любопытно толпится и смотрит народ, певуче и немолчно звучит горестный и покорный голос — «ибо ты возвращаешь человека в тление... ибо ты говоришь: возвратитесь, сыны человеческие... ибо перед очами твоими тысяча лет как день один», — там, среди белого дня, при солнце, которое косо заглядывает в окно, выходящее в сад, оранжевым прозрачным пламенем горят толстые свечи, тонко синеет литургически-пахучий дым ла-

дана, еще не рассеявшийся после панихиды, а весь угол занят огромным смертным одром: составленными столами и пышным в своей мрачной и великолепной новизне, до половины покрытым парчовой ризой гробом, возглавие которого поражает чудовищно и безобразно распухшим фиолетовым ликом в крупных и сквозных серых усах, круто поднятой и закаменевшей под выпирающей крахмальной манишкой грудью с высоко и неуклюже лежащими на ней в вылезших манжетах руками, толсто налитыми лиловым воском, и сиреневыми ногтями их.

А вокруг дома, в усадьбе, все полно осенней прелести. В розовом саду квохчут сытые дрозды, стоит блаженная тишина, тепло, кротость, медленно падают легкие листья. На дворе сладко дремлют борзые. На желтом соломенном скате крыши сидят, хохлятся против солнца белоснежные голуби. Над людской избой буднично и спокойно тянется к бледно-голубому небу серый дымок, из ее раскрытых окон приятно пахнет кухонным чадом, слышны голоса и смех праздных работников, своим куреньем и бездельем раздра-

жающих кухарку, обремененную большой и сложной стряпней на завтра.

А на деревне, на гумнах ладно выбивают дробь цепы, мерно и однообразно стучат вельки, ровно гудят молотилки, обещающая жизнь долгую, мирную, благоденственную. Все дрожат и наслаждаются каждой минутой чудесной погоды и дружной, спорой работы. С веселым ревом, неустанно и густо засыпая гумно дымящейся соломой, беспощадно сокрушаемой и извергаемой мощным зубастым барабаном, снова гудит новая рязанка Семена: он богат и горяч, — в один миг добыл мастера и поправил ее, и теперь сам подает и думает, что уж нет, шалишь, больше не доверит он дуракам сыновьям машину.

— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род... Но человек в чести не будет: он уподобится животным, которые погибают...

Семен знает это лучше всякого... и, весь серый от пыли, от мякины, с кровавыми, воспаленными глазами, с хоботом в бороде, отклоня потное, засыпанное и разъедаемое сором лицо от зерна, остро бьющего из-под бешено

рвущего и ревущего барабана, только успева-
ет покрикивать:

— Бабы, подавай! Бабы, веселей!

III

Ночью светит молодая туманная луна. Легкая дымка стоит в светлом, мертвом, беззвучном саду. На гумне, не нарушая тишины, а только еще больше давая ее почувствовать, жалобно тявкает совка.

Тишина, пустота и на дворе усадьбы, одиноко краснеет окно в людской избе. Работники за ужином, по случаю покойника, выпили. После ужина они сидели и курили, уже вялые, позевывая.

А там, в доме, в этой страшной горнице, похожей на часовню, стояла благоговейная тишина. Только дрожал, дрожал сонный сумрак в углах, чуть потрескивали, нагорая и оплывая горячим воском, свечи, и то блистал, то темнел под их ярким, но неровным пламенем сизый чудовищный лик с розовой ватой в ноздрях. И однообразно, кротко и укоризненно звучал певучий женский голос:

— И мудрые умирают, равно как невежды, и бессмысленные погибают и оставляют иму-

щество другим...

— В мыслях у них, что дома их вечны и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами...

— Но человек в чести не будет; он уподобится животным, которые погибают... Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света...

— Обратись, господи! Научи, как исчислять дни паши, дабы нам приобрести сердце мудрое...

IV

Наутро все проснулись с одной мыслью: нынче!

И колокол уже звал, звал.

Утро было особенно прекрасно. Особенно тих и счастлив был розовый сад, медленно выходявший из голубого тумана, таявшего от солнца.

Но колокол звал, звал. И опять шли и шли через двор. Какая-то длинная женщина в серой шали зачем-то вела с собой двух своих девочек, шедших покорно, с любопытно расширенными глазами.

Последним пришел лесник, старый друг

покойного по молодости и по охоте.

Он шел через сад, по сухой земле липовой аллеи, где было так тихо, что слышен был каждый падающий листик, и тонко пахло и сладким ароматом листвы, поджаренной солнцем, и свежестью тумана, теперь уже сиявшего в саду лазурным газом. Он шел спокойно. Спокойно прошел и по дому. Но, войдя к покойнику, беззащитно возвышающемуся в гробу во всем смертном позоре среди толпы, наполнявшей комнату, увидав блеск свечей, столь странный среди солнечного света, и безобразное лицо, синевшее в дыму ладана, вдруг побледнел, упал на колени, торопливо закрестился, а потом кинулся к гробу так неистово, стал так страстно впиваться в ледяные и зловонные губы своего господина и друга, что и все вокруг побледнели...

V

В полдень все кончилось.

Мирную жизнь живых уже ничто более не нарушало. Его, этого страшного существа, потерявшего облик и подобие божие, уже не было. И все возвратилось на обычную стезю свою.

За церковью, против алтаря, в блеске спокойного и кроткого солнца, лежал длинный глиняный бугор. Но он уже никому не был ни нужен, ни страшен.

<21 ноября. 1927>

Старый порт

Отель «Бретань» еще пуст, деревня Старый Порт, близ которой странно высится на голлом холме это новое многоэтажное здание, живет пока своей простой рыбацкой жизнью.

Стоит та прекрасная погода, когда солнечный зной, припекающий где-нибудь на склоне холма, обращенного к югу, еще мешается с морской свежестью, которой тянет с севера, как только поднимешься повыше и увидишь вокруг другие холмы, а впереди — голубое море. Стоит та радостная пора, когда еще поют жаворонки и всюду цветут цветы, — не только в полях, но даже на окраинах шоссе и на самых кремнистых косогорах, когда вьются мириады мотыльков над этими цветами и над жесткими кустарниками, тоже цветущими мелким цветом в какой-нибудь бесплодной лощине или вдоль заглохшего проселка с

высоким крестом из почерневшего камня на перекрестке... Край пустынный, скудный; но теперь на суглинистые поля и холмы его, покрытые молодой, чистой зеленью хлебов, на меловые прибрежные скалы и спокойные лазоревые заливы не нагладишься.

И вот появляются в деревне первые иностранцы: старик-шотландец с женой и дочерью и какой-то одинокий норвежец. Он приехал с тем же поездом и остановился в той же «Бретани», что и шотландцы; однако он не знаком и даже не ищет знакомства с ними, хотя они заметили, что он преследует их с самого Лондона, где он оказался их случайным сожителем тоже по отелю. Человек он вообще необщительный. На вопрос портье, сколько он думает пробыть в отеле, он ответил неопределенно:

— Не знаю. Может быть, сутки, двое суток...

Но проходит три, четыре дня, потом неделя — он все живет и все той же одинокой жизнью.

Он рано ложится и рано встает. Раньше всех пьет кофе в большой пустой столовой,

освещенной утренним солнцем, и, пока пьет, пристально читает какую-нибудь книгу, наугад взятую из библиотеки отеля. Потом, сунув ее в карман, захватив плед и палку, спускается на берег. Тут он бросает плед на мелкий белый песок под меловым обрывом прибрежного холма, высоко поднимающегося на западной стороне залива, и до самого завтрака лежит, облокотясь на руку и глядя то на широкий пляж и на изгиб моря, в эти часы еще синего, то на солнечную белую дорогу от отеля, по которой он спустился.

Он глядит, слушает. Вот в деревне бьет восемь часов; вот половина девятого; вот девять... В девять двадцать приходит, шумит на маленькой станции за деревней утренний поезд. А как только он свистнет и тронется дальше, на дороге от отеля показывается дочь тех шотландцев, за которыми он приехал. И тогда он тотчас развертывает книгу и притворяется, что читает, искоса следя за тем, как она подходит, — за развевающимися полами ее купального халата.

Это высокая, худощавая девушка. У нее длинные, стройные ноги и удивительно ми-

лое в своей ласковой простосердечности и даже наивности выражение веснушчатого, немного бледного лица. И он жадно смотрит на нее исподлобья, — на то, как она быстро спускается с пригорка, идет к нему вдоль пляжа, затем, шагах в ста от него, сбрасывает с себя халат, остается в одном черном трико и бежит к воде. Тело у нее тоже бледное, голубоватое, но не слабое. Она далеко уплывает в море, сидит на камне, торчащем вдали среди залива, потом, возвратясь на берег, долго лежит на песке навзничь, закрыв глаза от солнца. Однажды она неожиданно крикнула ему на смешном французском языке:

— Почему вы не купаетесь?

Он густо покраснел и неловко крикнул в ответ, что холодно, что еще никто не купается.

В двенадцать она уходит домой, к завтраку. Он тоже поднимается и в отдаленье идет следом за ней.

Мать с отцом, в свободное от завтрака время, гуляют, пишут письма, читают, сидя в креслах-будках на дорожках большого цветника, разбитого перед отелем и радующего

глаз необыкновенно свежим, зеленым, как медянка, газоном. А что делает она? Он видит ее только на берегу, утром, и в столовой, в час и в семь с половиной. Проходя в эти часы мимо их стола, он сдержанно кланяется. Ему отвечают тем же. Девушка даже глядит ему прямо в глаза — долгим и вопросительным взглядом, в котором можно уловить расположение, готовность к знакомству. Но он, поклонившись, краснеет и, нахмурясь, быстро проходит мимо.

После завтрака он бродит по деревне, — она очень стара, черна, первобытна, — иногда заходит в пустую церковь, снаружи имеющую вид очень дикий. Там он подолгу сидит на соломенном стуле и слушает ту великую тишину, которая бывает только в пустых церквях. Впереди, за рядами темных дубовых скамеек, блестит и высится все то церковно-сложное, что составляет престол, алтарь, украшенный бумажными розами и такими же кружевами, трогательный в своем деревенском, бедном убранстве. Над ним, в полукруглой стене, остро зеленеет, гранатно краснеет и густо синее узкое окно, новое, доволь-

но грубое. Новы, дешевы и все эти сусально позолоченные или малярно раскрашенные в голубое и розовое гипсовые статуэтки Мадонны, Орлеанской Девы, Христа в терновом венце, святых монахов с четками в руках. Однако и в этом есть некая деревенско-католическая прелесть. А как прекрасны в своей простоте, дикости древние, каменные своды, ухаби-стый каменный пол, толстые стены со следами сырости, долгих зимних дождей, свирепых ветров с севера, с моря, при мысли о которых сладко и уютно замирает сердце! Всего же лучше — эта глубокая, как бы чего-то с неземным бесстрашием ждущая тишина.

Часто ходит он и в маленькую гавань деревни, полную неуклюжих лодок и парусных барок, делает прогулки в поля, в соседние поселки... Зеленеет волнистая равнина, мирно синее море, поют жаворонки... Очень странно видеть в этой кроткой, слегка грустной, безлюдной глуши безобразные деревянные щиты на столбах-ножках, с которых смотрит и сладострастно жметя, хохочет от приятной зябкости, от предвкушенья ванны, голый большеголовый ребенок, рядом с древними

каменными крестами, простирающими в простор полей свои скорбные объятия.

Возвратись в отель за полчаса до обеда, он бреется, подстригает рыжие усы, надевает смокинг и бальные туфли. За обедом он много пьет. Лицо его багровеет, полнеет, синие глаза наливаются блеском. Потом он идет в курильню, берет газету и тонет в густом пахучем дыму жарко раскаленной сигары...

И так проходит дней десять. А затем он внезапно требует однажды перед обедом счет. Прямой поезд на Париж отходит в пять часов утра из ближайшего прибрежного города. Он заявляет портье, что отправляется туда на парусной лодке, и просит разбудить его в три часа.

До часу он не спит, лежит при огне и пристально смотрит перед собою. Потом, при огне же, крепко засыпает — и вдруг слышит: кто-то стучит, сперва осторожно, точно заговорщик, потом все громче и громче... Он вскакивает и поспешно начинает одеваться, в последний раз оглядывая свой тесный номер с широкой ясеновой кроватью, с яркой и уютной лампой под желтым шелковым колпа-

ком, с зеркальным шкафом, с большим умывальником из палевого мрамора, где свежая вода, налитая в большую фаянсовую чашу, кажется хрустальной. Но вот опять стук в дверь — это уже за вещами. Он поспешно надевает пальто, шляпу, на прощанье оглядывается еще раз...

В слабо освещенном коридоре, устланном толстым ковром, у одной двери стоят две пары больших башмаков, мужских и женских, у другой — пара маленьких, имеющих какое-то особое выражение, возбуждающих восхищение, нежность. Он останавливается, быстро пишет в записной книжке: «Good night!»[30], вырывает листок, сует его под дверь и бежит по широкой лестнице вслед за носильщиком, быстро идущим впереди с одним чемоданом на левом плече и с другим в правой руке.

Хрустя в темноте по гравии, они обходят цветник, легким бегом спускаются по белеющей в звездном свете дороге к заливу и направляются к деревне, в гавань. Навстречу тянет сладким ветром летней ночи и моря. Звезд в небе необыкновенно много — крупных, предрассветных, неизвестных. Черной

равниной лежит до прозрачного горизонта море, чернеет и медленно клонится, качается лесок мачт в бухте. Волны с ночной неприветливостью плещут в каменные глыбы, наваленные в воде за узкой и длинной полосой мола. Впереди невысоко висят в небе два крупных огня, мутно-синий и сумрачно-красный.

Торчащая в небе мачта лодки, ожидающей в конце пристани, клонится, шатается, ходит по звездам шире всех, то высоко вырастая, то глубоко падая вниз. Носильщик негромко окликает людей, что-то делающих в лодке, шагающих с валкой кормы на нос и с носа на корму. Они кидают в ответ ему что-то односложное. В этот поздний час они кажутся людьми, тайком затевающими что-то недоброе. Уезжающий доверчиво хватает чью-то жесткую руку и прыгает на качающуюся корму. За ним падают его чемоданы. И тотчас же бледное полотнище паруса, вдруг потянувшееся вверх с шумом и трепетом, закрывает звездное небо, лодка ныряет так глубоко, что с головы до ног обдает холодными брызгами, затем круто валится набок и быстро несется

вперед, остро рубя, рассекая шумно взлетающую и быстро кипящую вдоль бортов воду, широко заворачивая навстречу свежему, тугому ветру, водянисто холодящему лицо, — на какие-то бесконечно далекие, бледные огни...

<25 ноября. 1927>

Пингвины

Началось с того, что мне стало опять тридцать лет, — я увидел и почувствовал себя именно в этой счастливой поре; я опять был в России того времени и во всем, что было приуще тому времени, и сидел в вагоне, ехал почему-то в Гурзуф... Затем я почувствовал, что меня что-то тревожит. Все, казалось бы, хорошо было, — еду на юг, сижу покойно и свободно, в маленьком отделении первого класса, в курьерском поезде... Но ведь Пушкин давно умер, и в Гурзуфе теперь мертво, пусто, вдруг сказал я себе — и увидел, понял, что не только в Гурзуфе, но и везде страшно мертво и пусто. Какая-то особенно грустная осень, — тут, на юге, была еще осень, — и какой-то удивительно тихий, молчаливый день. Поезд идет

быстро и полон, но полон как будто неживыми. И в тех необыкновенно ровных степях, где идет он, тоже так безжизненно, скучно, словно не осталось ни малейшего смысла их существования. Это и наяву бывает: страшно безжизненно, ничтожно кажется иногда все на свете...

— Нет, — подумал я, — что-то неблагополучно. Нужно бросить поезд...

Я вдруг вспомнил, что очень люблю Бахчисарай, — ведь Пушкин жил и в нем когда-то, был в нем даже ханом в пятнадцатом веке, — и решил выйти в Бахчисарае, ехать дальше на лошадях, через горы, и так немедля и сделал. Однако Бахчисарая я как-то не заметил, а в горах было жутко. Глушь, пустыня, и уже вечерет. Все какие-то каменистые теснины и провалы, и все лес, лес, корявый, низкорослый и уже почти совсем голый, засыпанный мелкой желтой листвой: все карагач, подумал я, вкладывая в это слово какое-то таинственное и зловещее значение. И лошади бегут как-то не в меру ровно, и ямщик на облучке так неподвижен и безличен, что я его даже плохо вижу, — только чувствую и опасуюсь,

потому что бог его знает, что у него на уме... Одна надежда на ужин в Ялте, подумал я. Спрошу себе отварную кефаль и белого Абрау...

И тотчас я увидел Ялту, ее кладбищенски белеющие среди кипарисов дачи, набережную и зеленоватое море в бухте. Но тут стало уже совсем страшно. Что случилось с Ялтой? Смеркается, темнеет, но почему-то нигде ни одного огня, на набережной ни одного прохожего, всюду опять тишина, молчание... Я сел в пустой и почти темной зале ресторана и стал ждать лакея. Но никто не шел, — все было пусто и удивительно тихо. В глубине залы совсем почернело, а за большим оконным стеклом, возле которого я сел, поднимался ветер, дымились низкие тучи и то и дело пушечными выстрелами бухали в набережную и высоко взвивались в воздух длинными пеннистыми хвостами волны... Все это было так странно и страшно, что я сделал усилие воли и вскочил с постели: оказалось, что я заснул, не раздевшись, не потушив свечи, которая почти догорела, темным дрожащим светом озаряя мой номер, и что уже второй час ночи.

И я вскочил, ужаснувшись: что же я теперь буду делать? Выспался крепко, а ночи и конца не видно, и за окнами шумит крупный ливень, и я совершенно один во всем мире, где не спит теперь только Давылка! Я поспешно кинулся к Давыдке, в его погребок на Виноградной. Ночь была так непроглядна и дождь лил в ее черноте так бурно, что погребок казался единственным живым местом не только во всем Поти, — теперь я был в Поти, — но и на всем кавказском побережье, даже, больше — во всем мире. Но пока я добежал до него по каким-то узким, грязным и глухим переулкам, Давыдка уже вышел закрывать ставни на своем убогом окошке, собрался тушить свет и запирать двери.

— Но послушай, сказал я ему, чувствуя страх уже смертельный, — если ты запрешь и потушишь, что же мне тогда делать? Куда деваться? Ведь сюда зимой даже пароходы не заходят!

Однако Давыдка только языком пощелкал и неумолимо, с тем спокойным идиотизмом, на который способен лишь кавказец, помотал своей черной стриженной башкой.

— На молу гулять будешь, — сказал он. — Там всю ночь главный маяк гореть будет...

И вот я на каком-то страшном обрыве, горбатом и скалистом, где можно держаться, только прижавшись к необыкновенно высокой и круглой белой башне и упершись ногами в скалы. Вверху, в дымном от дождя и медленно вращающемся свете, с яростным визгом и криком кружатся и дерутся, как чайки, несметные траурные пингвины. Внизу — тьма, смола, пропасть, где гудит, ревет, тяжело ходит что-то безмерное, бугристое, клубящееся, как какой-то допотопный спрут, резко пахнущее устричной свежестью и порой взвивающееся целыми водопадами брызг и пены... А вверху пингвины, пингвины!

1929

Благосклонное участие

В Москве, — ну, скажем, на Молчановке, — живет «бывшая артистка императорских театров». Одинока, очень немолода, широко-скула, жилиста. Дает уроки пения. И вот что происходит с ней каждый год в декабре.

Однажды в воскресенье, — положим, в очень морозное, солнечное утро, — раздается в ее передней звонок.

— Аннушка! Звонят! — испуганно кричит она из спальни кухарке.

Кухарка бежит отворять — и даже отступает: так блестящи, нарядны гости — две барышни в мехах и белых перчатках и франт-студент, их сопровождающий, насквозь промерзший в своей легкой шинельке и тонких ботинках.

Гости долго ждут в холодной гостиной, янтарно озаренной сквозь морозные узоры окон, затем слышат быстрые шаги хозяйки и поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнованна, — знает, в чем дело, — густо напудрила лицо, надушила крупные, костлявые руки...

— Ради бога, простите, господа, я, кажется, заставила вас ждать, — с очаровательной улыбкой и самой светской непринужденностью говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение.

— Это вы нас простите за беспокойство, — с отменной почтительностью перебивает ее студент, кланяясь и целуя ее руку. — Являемся к вам с усердной и покорнейшей просьбой. Комитет по устройству традиционного литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных воспитанников пятой московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников.

— Господа, если можно, увольте! — очаровательно начинает она. — Дело в том...

Но барышни нападают на нее так дружно, горячо и лестно, что она не успевает сделать даже этой слабой попытки отказаться, уклониться...

После того проходит целых три недели.

И целых три недели Москва работает, тор-

гует, веселится, но, среди всех своих разнообразных дел, интересов и развлечений, втайне живет только одним — ожиданием знаменательного вечера двадцать седьмого декабря. Великое множество афиш всех цветов и размеров пестрит на всех ее улицах и перекрестках: «На дне», «Синяя птица», «Три сестры», Шаляпин в «Русалке», Собинов в «Снегурочке», Шор, Крейн и Эрлих, опера Зимина, вечер Игоря Северянина... Но теперь всякому бьет в глаза только та маленькая афиша, на которой крупно напечатаны имя, отчество и фамилия благосклонной участницы литературно-вокально-музыкального вечера в пользу недостаточных учеников пятой московской гимназии. А сама участница безвыходно сидит в это время дома и работает не покладая рук, дабы не обмануть ожиданий Москвы, — без конца выбирает, что петь, с утра до вечера пробует голос, разучивает то то, то другое... Дни идут теперь необыкновенно быстро, и эта быстрота уже приводит ее в ужас: и оглянуться не успеешь, как настанет это страшное двадцать седьмое декабря!

Она прекратила давать уроки, никого не

принимает и сама не выходит из дому, боясь схватить бронхит, насморк. С чем именно выступить? Публика и не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытного артиста! Какое нужно проявить тут чутье, сколько вкуса, такта, опыта! После долгих и мучительных сомнений, колебаний дело, однако, кончается тем, что она останавливается на своем старом, неизменном репертуаре, — снова проходит три вещи: одну французскую, нежную и грустную, чарующую, как колыбельная песня, где, впрочем, скрыта огромная страсть, сила и боль любящей женской души, безумно жаждущей счастья и жертвенно от этого счастья отрекающейся; другую — полную блеска колоратуры и русской удали; и затем — свою коронную: «Я б тебя поцеловала, да боюсь, увидит месяц», которой, как всегда, можно блеснуть особенно, дать се «с огоньком», игриво, молодо и оборвать на таком отчаянно-высоком и ликующем звуке, чтобы весь зал дрогнул от рукоплесканий. Кроме того, она готовит двенадцать вещей на «бис»... Дни мелькают, мелькают, и в душе у нее уже растет такое чув-

ство, точно близится час ее казни. Однако она работает, работает. И вот настает наконец этот последний роковой день!

Утром двадцать седьмого декабря все силы ее доведены до предельного напряжения. Утром еще одна репетиция, но уже последняя, генеральная. Она поет уже как бы на эстраде: полным голосом, со всей выразительностью художественности, проходит с аккомпаниатором всю свою программу — и чувствует: работа не пропала даром! Но кто все-таки знает, что ждет ее вечером? Триумф или гибель? Лицо ее пылает, руки как лед... После репетиции она идет в свою спальню, раздевается и ложится в постель. Аннушка приносит ей нечто совершенно необычное — зернистой икры, холодного цыпленка и портвейну: так, в день выступления, завтракают все большие артисты. Покушав, она велит задернуть шторы, уйти и хранить в доме полнейшую тишину, а сама закрывает глаза и, в темноте, без единого движения, лежит, стараясь ни о чем не думать, ничем не волноваться, час, другой, третий — вплоть до шести часов вечера. В шесть вскакивает: резкий звонок в передней — па-

рикмахер!

С бьющимся сердцем, с пылающими ушами и скулами, накапывает она себе ледяной рукой целых сорок капель эфирно-валерьяновой микстуры и, в халатике, с распущенными волосами, как дева, которую пришли убирать, готовить на заклятие, садится перед зеркалом. Парикмахер входит, предварительно согревши руки над плитой в кухне, и говорит ободряюще:

— Чудная погода! Изрядный морозец, но чудно!

Он работает изысканно и медленно, чувствуя и себя участником предстоящего события, вполне понимая и разделяя ее артистическое волнение, будучи и сам натурой артистической. Он своими небрежно-легкими разговорами, шутками и вообще всей своей опытностью в таких делах, равно и твердой верой в ее предстоящий успех, мало-помалу успокаивает ее, возвращает ей силы, мужество, надежды... Но когда он кончает свое дело и, осмотрев его со всех сторон, убеждается, что лучше уже ничего нельзя сделать из этой великолепной завивки и прически, уходит, а

часы в столовой медленно бьют семь, у нее опять начинает замирать сердце: в восемь с половиной за ней явятся!

Затем бьют восемь, а она все еще не готова. Она опять пила капли, — на этот раз гофманские, — она надевает свое лучшее белье, румянится, пудрится... В восемь же с половиной раздается новый звонок, который поражает ее как громом: приехали! Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, — она тоже сама не своя, — не может сразу отворить дверь...

Они — на этот раз два студента — приехали в огромной старозаветной наемной карете, запряженной двумя исполинскими клячами. Они тоже франты и тоже без калош, и ноги у них тоже окаменели с морозу. В гостиной, как всегда, холод и скучно горят пахнущие керосином лампы. Они терпеливо сидят в одних мундирах, блестя зеркальными головами, благоухая фиксауаром и бриллиантинном, с большими бантами из белого атласа на груди, точно шафера. Они сидят молча, ждут вежливо и стойко, смотрят на запертые со всех сторон двери, на мерзлые стекла, мерца-

ющие синими и красными огоньками, на ро-
яль, на портреты великих певцов и певиц по
стенам, слушают глухой звон и гул трамваев
за окнами, тревожные шаги Аннушки и са-
мой артистки за дверями... И так проходит
четверть часа, полчаса, сорок минут... как
вдруг одна из дверей неожиданно распахивает-
ся. Они, как по команде, вскакивают с мест,
а артистка быстро, с очаровательно-беспеч-
ной улыбкой, идет к ним навстречу:

— Ради бога, простите, господа, я, кажется,
заставила вас ждать... Что, разве уже пора?
Ну, что же, едем, если угодно, я готова...

На скулах ее даже сквозь румяны и пудру
горят багровые пятна, изо рта пахнет ланды-
шевыми каплями, от рук кремом, от воздуш-
ного платья из дымчатого газа духами. Она
похожа на Смерть, собравшуюся на бал. На ее
сложную и высокую прическу, на завитые и
взбитые со всех сторон серые волосы накинута
то что-то черно-кружевное, испанское, на го-
лые плечи с огромными ключицами — шубка
из белой кудрявой козы... И студенты со всех
ног кидаются за ней в прихожую. Тот, что худ-
шее и выше, хватает ее ботинки и, быстро став

на одно колено, ловко надевает их на ее черные атласные туфельки с алмазными пряжками и слышит, как пахнет мышами из-под ее подмышек, когда она наклоняется, чтобы помочь ему, а вместе с тем и скромно одернуть подол на белые круженные зубчики панталон...

Она пела и про тучу, которая с громом повстречалась, и про какое-то убежище, — «в убежище сюда направил нас господь», — и с особенным блеском «Я б тебя поцеловала...». Критикан-старичок, сидевший в первом ряду, едко при этом захихикал, закрутил головой — весьма недвусмысленно: покорно, мол, благодарю, пожалуйста, не целуй... И все-таки остался в дураках: успех артистка имела колоссальный, ее без конца выпивали и заставили бисировать — особенно чуткая молодежь, стоявшая в проходах, кричавшая даже грозно и бившая в сложенные ковшиком ладони с страшной гулкостью.

Ландо

У смерти все свое, особое.

Возле ворот дачи стоит огромное старое ландо, пара черных больших лошадей: приехал из города хозяин дачи. Что-то необычное, чрезмерное в этом ландо и в этих лошадях. Почему? Оказывается, что лошадей и ландо дал хозяину дачи его приятель, содержатель бюро похоронных процессий. Кучер, сидевший на козлах, сказал:

— Это ландо из *погребательной конторы*.

И, в довершение всего, черная борода кучера имеет цвет сухой ваксы: крашеная.

1930

Убийца

Дом с мезонином в Замоскворечье. Деревянный. Чистые стекла, окрашен хорошей синеватой краской. Перед ним толпа и большой автомобиль, казенный. В растворенные двери подъезда виден на лестнице вверх коврик, серый, с красной дорожкой. И все толпа смотрит туда с восхищением, слышен певучий голос:

— Да, милые, убила! Вдова молодая, богатого купеческого роду... Любила его, говорят, до страсти. А он только на ее достаток льстился, гулял с кем попало. Вот она и пригласила его к себе на прощанье, угощала, вином поила, все повторяла: «Дай мне на тебя наглядеться!» А потом и всадила ему, хмельному, нож в душу...

Открылось окно в мезонине, чья-то рука в белой перчатке дала знак автомобилю. Машина зашумела, народ раздался. И вот она показалась — сперва стройные ноги, потом полы собольей накидки, а потом и вся, во всем своем наряде — плавно, точно к венцу, в церковь, стала спускаться вниз по ступенькам.

Бела и дородна, черные глаза и черные брови, голова открыта, причесана гладко, с прямым пробором, в ушах качаются, блещут длинные серьги. Лицо спокойно, ясно, на губах ласковая улыбка — ко всему народу... Вошла в машину, села, за ней вошли власти, человек в ловкой шинели строго и недовольно глянул на любопытных; хлопнула дверца, машина сразу взяла с места...

И все, глядя вслед, с восхищением:
— И-их, покатили, помчали!

1930

Обреченный дом

Один из тех зимних мокрых дней, ледяных и темных, когда кажется, что нет на свете города отвратительнее Москвы. И уже вечерет. Иду вверх по Большой Никитской и вижу: впереди, возле старого двухэтажного дома, кучками чернеет на тротуаре и на мостовой народ. Что такое? Издали заметно что-то особенное в том, как эти люди глядят на дом, подходят к витрине часового магазина в его нижнем этаже и о чем-то переговариваются, не обращая внимания на капли с крыши и

снежные лужи под ногами. Ускоряю шаги и спрашиваю, что случилось? Оказывается, попадаю на убийство: часовщика, одиноко жившего тут над своим магазином, нашли нынче мертвым — лежит на полу с проломленной головой, весь подплыл кровью... Кто убил — никто не знает: будто бы какой-то большой черный мужчина, часов в семь утра пробежавший тут с топором в руке. Зачем и почему — тоже неизвестно: из вещей у часовщика ничего не взято, а денег у него, говорят, не было... С изумлением осматриваю этот давно знакомый мне дом: как же это никогда до сих пор не приходило мне в голову, что в таком доме непременно должно совершиться убийство? Эти линючие стены, эта ржавая вывеска над витриной, это мрачное и загадочное выражение черных окон вверху... Подхожу и себе к витрине: внутри темного магазина видны старинные часы, узкие, высокие, красного дерева, бронзовый маятник которых (в виде двух обнявшихся влюбленных) медленно поблескивает, тихо и мерно ходит из стороны в сторону... Потом смотрю на запертую на замок дверь магазина, под которую натекает

ла с тротуара свинцовая вода, и вспоминаю то, что не раз видел утром, проходя мимо: как этот часовщик, пожилой, невзрачный человек в шубке с вытертым бобровым воротником, отворял свой магазин, и на него тоже капало с крыши и с вывески...

Сумерки, лужи, грязные сугробы, впереди, вдоль пустой улицы, могильно горят редкие фонари...

1930

Идол

Как всегда зимой, в московском Зоологическом саду было и в ту зимулюдно, оживленно: на катке с трех часов играла музыка и туда шло и там толпилось и каталось множество народу. А по дороге на каток все на минуту приостанавливались и любопытно глядели на то, что представлялось их глазам в одном из загонов возле дороги: все прочие загоны, равно как и всякие искусственные гроты, хижины и павильоны, раскинутые на снежных лугах сада, были пусты и, как все пустое, печальны — все странные звери и птицы, населявшие сад, зимовали в теплых поме-

щениях, но этот загон не пустовал, и было в нем нечто еще более необыкновенное, чем всякие пеликаны, газели, утконосы: там стоял эскимосский чум, похаживал и порой бил в снег копытом тонкой ноги, что-то искал под ним большой, бородатый буланый олень, гладкозадый и куцый, коронованный высокими и тяжкими лопастями серых рогов, — зверь мощный и весь какой-то твердый, жесткий, как все северное, полярное, — а возле чума, прямо на снегу, поджав под себя короткие скрещенные ноги в пегих меховых чулках, торчал раскрытой головой из каляного мешка оленьей шкуры не то какой-то живой идол, не то просто женоподобный, безбородый дикий мужик, у которого почти не было шеи, плоский череп которого поражал своей крепостью и густотой крупных и прямых смоляных волос, а медно-желтое лицо, широкоскулое и узкоглазое, своей нечеловеческой тупостью, хотя как будто и смешанной с грустью; и занимался этот идол только тем, что с трех часов до позднего вечера сидел себе на снегу, не обращая внимания на толпящийся перед ним народ, и от времени до времени

давал представление: меж его колен стояли две деревянные миски, — одна с кусками сырой конины, а другая с черной кровью, — и вот он брал кусок конины своей короткой ручкой, макал ее в кровь и совал в свой рыбий рот, глотал и облизывал пальцы, всему прочему совсем не соответственные: небольшие, тонкие и даже красивые...

В эту зиму, в числе прочих, ходивших на каток в московском Зоологическом саду и мимоходом смотревших на такую удивительную разновидность человека, были жених и невеста, студент и курсистка. И так на весь век и запомнились им те счастливые дни: снежно, морозно, деревья в Зоологическом саду кудряво обросли инеем, точно серыми кораллами, с катка долетают такты вальсов, а он сидит и все сует себе в рот куски мокрого и черного от крови мяса, и ничего не выражают его темные узкие глазки, его плоский желтый лик.

1930

Слон

Худенькая, живоглазая девочка, похожая на Хлисенка, необыкновенно милая от голубой ленточки, бантом которой схвачены на темени ее белобрысые волосики, во все глаза смотрит в зверинце на покатуую шершавую громаду слона, тупо и величаво обращенную к ней большой, широколобой головой, лопухами облезлых ушей, голо торчащими клыками и толстой, горбатой трубой низко висящего хобота с черно-резиновой воронкой на конце. Тонким голоском:

— Мама, отчего у него ноги распухли?

Мама смеется. Но смеется и сам слон. Склоня широколобую голову, смотрит и он на девочку, и в его свиных глазках явно блещет что-то хитрое и веселое. Он от удовольствия весь раскачивается, начинает волновать хобот — и вдруг, в трогательной беспомощности, в невозможности иначе выразить свои чувства и мысли, крутым изгибом взвивает его кверху, показывая его исподнюю влажно-телесную мякоть, рога обнаженных клыков и нелепо-маленький рот между ними, с

мучительным наслажденном катит из своих страшных недр глухой гром, рокот, потом мощно и радостно-глупо трубит, сотрясая весь зверинец.

А за обедом прибавили цветную капусту и были гости, — полнеющая, но еще моложавая и красивая дама с черноглазым мальчиком, очень молчаливым и внимательным.

И мама рассказала о слоне и о том, как спросила девочка о его ногах. И девочка поняла, что она сказала смешно и что ею восхищаются, и стала изгибаться, вертеть головкой, неожиданно и не в меру звонко захохотала.

— Прелестный ребенок! — задумчиво сказала дама, без стеснения глядя на нее.

И она заболтала ногами и капризно повторила:

— Нет, мама, правда: отчего у него ноги распухли?

Но мама улыбнулась уже нарочно и заговорила с дамой о чем-то другом, совсем неинтересном. И тогда, искоса поглядывая на мальчика, девочка ерзнула со стула, подбежала к буфету и, чтобы опять обратить на себя внимание, стала пить воду прямо из горлыш-

ка графина, задыхаясь, булькая и обливая себе подбородок. А когда совсем облилась и захлебнулось, бросила и заплакала.

1930

Телячья головка

Мальчик лет пяти, веснушчатый, в матроске, тихо, как замороженный, стоит в мясной лавке: папа пошел служить на почту, мама на рынок и взяла его с собой.

— У нас нынче будет телячья головка с петрушкой, — сказала она, и ему представилось что-то маленькое, хорошенькое, красиво осыпанное яркой зеленью.

И вот он стоит и смотрит, со всех сторон окруженный чем-то громадным, красным, до полу висящим с железных ржавых крючьев короткими, обрубленными ногами и до потолка возвышающимся безголовыми шеями. Все эти громады спереди зияют длинными пустыми животами в жемчужных слитках жира, а с плечей и бедер блещут тонкой пленкой подсохшего тучного мяса. Но он в оцепененье смотрит только на головку, которая оказалась лежащей прямо перед ним, на мраморной

стойке. Мама тоже смотрит и горячо спорит с хозяином лавки, тоже огромным и тучным, в грубом белом переднике, гадко испачканном на животе точно ржавчиной, низко подпоясанным широким ремнем с висящими толстыми сальными ножнами. Мама спорит именно о ней, о головке, и хозяин что-то сердито кричит и тычет в головку мягким пальцем. О ней спорят, она же лежит неподвижно, безучастно. Бычий лоб ее ровен, спокоен, мутно-голубые глаза полузакрыты, крупные ресницы сонны, а ноздри и губы так раздуты, что вид имеют наглый, недовольный... И вся она гола, серо-телесна и упруга, как резина...

Затем хозяин одним страшным ударом топора раскроил ее на две половины и одну половину, с одним ухом, одним глазом и одной толстой ноздрей швырнул в сторону мамы на хлопчатую бумагу.

1930

Роман горбуна

Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание:

«Будьте в субботу пятого апреля, в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади. Я молода, богата, свободна и — к чему скрывать! — давно знаю, давно люблю нас, гордый и печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой — букетик фиалок...»

Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу он сходил к парикмахеру, купил (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой, под цвет костюму) галстук; дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот галстук своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими: на щеках его, под тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, наряженный, он сел в

кресло, — как гость, как чужой в своей собственной квартире, — и стал ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он содрогнулся, поднялся, сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю шляпу, взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой — зашагал своими длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью, присущей горбу, но объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же быстро вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, — горбунья.

Беспощаден кто-то к человеку!

1930

Молодость

Студент был с большим, ровным носом, весь как будто деревянный, прямоугольный, высокий, носил длинный широкоплечий сюртук темно-зеленого сукна, узкие (совсем военные) панталоны со штрипками, щегольские николаевские ботинки. Студент был постоянным гостем, своим человеком во многих богатых гостиных, — всегда оживленный, готовый на любезность, на услугу, тело держащий в постоянном наклоне вперед, сияющий гладким пробором. Студент появлялся на первых представлениях, в театрах, а после них у Кюба, на «ты» сошелся — и так незаметно, просто — кое с кем из золотой молодежи, бывающей там...

Но вот приехал в Петербург его земляк, товарищ по пензенской гимназии, стал искать его с настойчивостью провинциала: и оказалось, во-первых, что живет студент бог знает где, по Шлиссельбургскому шоссе. Добравшись туда, земляк вошел в глубочайший двор громадных кирпичных корпусов, темно глядевших несметным числом голых окон, мел-

ких квартир. Он долго ходил, ища дворника, долго добивался на пороге полуподземной дворницкой, где тут студент такой-то; и оказалось, во-вторых, что надо было спрашивать квартиру не студента, а вдовы такой-то, его матери, что студент живет при ней, ровно как и его сестра, муж которой сидит в сумасшедшем доме.

После этого товарищ нашел наконец подъезд номер девять, вернее, просто черный ход, и без конца поднимался на седьмой этаж по крутой и темной лестнице, на одной площадке которой неподвижно сидели против черной кошки два серых кота: кошка была точно в нарядном трауре, с белыми лапками и пушистой белой грудкой, была чиста, сыта, ежилась уютно и спокойно, жмурилась небрежно, сонно, коты же были тощи, шершавы, сидели напряженно, подняв плечи, не сводя с нее узких, злых глаз, и было видно, что сидят они и кошка уже очень давно и могут просидеть еще хоть сутки. А на седьмом этаже не сразу отворили, — после звонка, как это часто бывает в подобных квартирах, послышался за дверью женский испуганный голос: «Мама-

ша, звонят!» — и кто-то куда-то пробежал, чем-то прошлепал. Когда же отворили, гость очутился в крохотной прихожей, перед пожилой женщиной, которая, при всей своей наружной кротости, стала, однако, так, точно была готова на все, лишь бы не дать гостю шагнуть дальше. Это была женщина уже седеющая и вся какая-то мягкая.

— Что вам угодно-с? — спросила она вежливо, но стойко.

И гость забормотал:

— Простите, здесь живет студент такой-то?

— Здесь. А позвольте спросить, вы к нему по какому делу?

— Я, видите ли, его земляк, товарищ по гимназии...

— Но, простите, я вас что-то не помню. Я знала всех товарищей Вити, а вот вас...

И тогда ребенок, который стоял, прятался за ее юбкой, закрывая лицо решеткой пальцев, и сквозь пальцы пристально следил за гостем, вдруг кисло, нехотя и с отвращением заплакал, продолжая, однако, следить за ним...

А дальше оказалось, что живет студент в

комнате удивительно узкой и длинной, при том такой холодной, что даже по воздуху в ней видно было, как она холодна. Между двойными рамами ее единственного окна лежал толстый вал дымчатой, дешевой ваты, но это тепла не прибавляло. Зато порядок царил во всем редкий: на полу ни пушинки, железная койка покрыта серым жестким одеялом без единой складки, лекции и книги — между ними французский самоучитель Туссэна — лежат на столике с полнейшим соблюдением симметрии, заветный широкоплечий сюртук, распяленный на деревянной распорке, висит на стене за чистой простынею, николаевские ботинки блещут под ним на колодках...

И был студент дома вовсе не такой, как в свете, в гостиных: приветлив, но сух, серьезно-грустен. И все поглядывал куда-то в свое холодное окно. За окном же, с семиэтажной высоты, было далеко видно: плоско болели бесконечные снежные пустыни, — нечто столь скучное, ненужное, что возможно только возле Петербурга.

1930

Красные фонари

Вечер наступал теплый, душистый. В церк-
вах звонили ко всенощной, по старому де-
ревянному мосту через пересохшую речку, гу-
дя и стуча, катились извозчики — на вокзал,
к вечернему поезду. Гимназист-второклас-
сник, не доходя до моста, повернул и пошел
вдоль домов по узкой и ухабистой набереж-
ной. Дома эти были совсем особенные,
необыкновенные, жутко волнующие: над их
крыльцами висели большие красные фонари,
а гимназист уже знал, что это значит. Остава-
ясь против одного из них, возле деревянных
перил над обрывом к речке, он стал делать
вид, что балуется, шалит от нечего делать: то
влезал на перила, то слезал с них, а сам все
смотрел на дом и слушал.

Ах, как все было интересно!

Внизу, в полуподвальном этаже, сидел у
раскрытого окошечка рыжеусый унтер, вид-
ный только до пояса, без мундира, в одной
пестренькой ситцевой рубахе. Он тачал сапог,
вдевал и раздергивал дратву и громко гово-
рил:

— Ты чего пируешь, нахальничаешь? Ты чего, как у меня гости, лезешь не в свою компанию, невежа?

И кто-то острым, противным голосом отвечал ему из глубины комнаты:

— Бреешь! Опять бреешь! Я не выходила, я за шкапом чай пила!

А на крыльце дома стоял стол, уставленный темными пивными бутылками, а за столом сидели: дюжий, бородатый мужчина в жилетке и девка в красном размахе. Она, поставив очаровательные оголенные руки на стол, быстро что-то говорила и задирчиво смеялась. И вдруг мужчина, до сих пор сумрачно и тяжело молчавший, вскочил с места и, валя бутылки, схватил девку за косу. И другая девка, в шелковом лимонной косоворотке, сидевшая и грызшая подсолнухи под окном возле крыльца, с криком появилась на пороге и кинулась бить мужчину кулаками в голову, потом схватила его за густые бурые волосы и потащила через стол. Тот вырвался, упал задом на стул и, высоко поднимая руки, сказал неожиданно-спокойным голосом:

— Ну, ну, будет, будет! За все заплачу...

А третья девка, широколицая, курносая, в голубом капоте, ходила, прелестно волнуя этот капот, взад и вперед по тротуару и что-то задумчиво, томно напевала. Перед ней бегала маленькая лохматая собачка. И приказчик, проходивший навстречу девке и очарованный ее капотом и голыми ногами в легких туфельках, вздумал пошутить, игриво спросил ее:

— А нельзя ли вас с этой собачкой в участок забрать за такие прогулки?

Но девка гордо прошла мимо и отрезала, раздувая ноздри:

— Кабы тебе самого не забрали, дурака этого!

1930

Грибок

Сквозь утренний морозный туман и утренние дымы города — розово-янтарное солнце, мягко, весело, уютно озаряющее номер «Северной гостиницы». Внизу, за окнами, огромная людная площадь, весь серый от инея плечистый, коренастый царь-мужик на своем упрямом и могучем свиноподобном коньке, возбуждающие звонки, гул и скрежет трамваев, все время кругами обходящих его... Хорош Петербург! Приезжий только что из Москвы, отлично выспался в теплом купе, за которым всю ночь густо шли черно-зеленые, в белом сахаре, еловые леса, и впереди у него целый день суеты и наслаждений: солнце, мороз, резвый лихач, сизые ущелья великолепных проспектов и улиц, одно интересное свиданье, другое, еще более интересное, потом завтрак с одним приятелем и обед с другим... Приезжий раскрыл чемодан, разбросал что куда попало — на постель, на кресла, на бархатную скатерть круглого стола перед диваном, поспешно бреется, моется, переодевается... Сейчас коридорный принесет до тепло-

ты расчищенные ботинки, а лакей во фраке — горячий кофе и горячий калач, он же сам уже будет к тому времени весь сиять чистотой, нарядностью, моложавостью — белоснежной рубахой, мраморными воротничками, шелковым красивым галстуком, шелковыми черными подтяжками, яркими глазами, нежностью и свежестью припудренных щек, мокрым блестящим пробором... Вдруг осторожный стук в дверь.

— Кто там? Стук громче.

— Кто это? Войдите!

И дверь тихонько отворяется, и в комнату несмело заглядывают лисьи глазки небольшого лысого человечка:

— Виноват, вы господин такой-то?

— Да. Что вам угодно?

— Позвольте рекомендоваться: делопроизводитель такого-то учреждения, из Твери. Находясь по личным надобностям в Петербурге, проживаю рядом с этой гостиницей, в номерах таких-то. Вышел купить кое-чего к утреннему чаю и проходил у вашего подъезда как раз в ту минуту, когда вы входили в него прямо с вокзала. Лицо показалось знакомым, — у

вас большое сходство с вашим братцем, живущим в Твери, да вы и сами бываете у нас от времени до времени, — спросил у вашего швейцара ваше имя, отчество и фамилию и убедился, что не ошибся. Счел, как земляк, долгом представиться и, пользуясь счастливым случаем, повидаться, побеседовать — между прочим, и кое о чем, вас лично касающемся и вам еще, может быть, неизвестном, а меж тем весьма значительном... Разрешите войти на минутку?

— Простите, я очень спешу. Очень рад, но... И в чем, собственно, дело?

— Прекрасно, прекрасно, навещу вас, если позволите, вечером или завтра утречком...

— К сожалению, я вернусь нынче очень поздно...

— Ну, тогда завтра. Во всяком случае, надеюсь, еще увидимся, — я пробуду здесь еще с недельку. А что до дела, то позвольте пока, до более подробного разговора, изложить его вкратце. Я счел долгом немедленно предупредить вас о нем, собственно, по той причине, что заключается оно вот в каких печальных обстоятельствах: дом, купленный, как вам из-

вестно, не так давно вашим братцем в Твери на такой-то улице, неминуемо обречен на гибель: в нем грибок. Вашего братца злостно обманули. Дом новый, прекрасный, продан за бесценок, но именно потому-то и продан так: в нем грибок, от которого, как вам опять-таки должно быть известно, нет совершенно никакой защиты. Конечно, братец ваш мог бы поторопиться перепродать его. Но несчастье углубляется тем, что теперь уже весь город знает, что в нем грибок. Так что теперь его даже и за грош никто не возьмет.

— Очень благодарю вас за внимание. Но простите — стоило ли вам спешить с такой печальной вестью! Да и зачем, раз дело, как вы говорите, совершенно безнадежно?

— Увы, не скрою: вполне безнадежно.

— Ну и бог с ним совсем! Какой грибок, что за грибок?

— А вот я вам сейчас расскажу.

— Но повторяю — я очень спешу.

— Не беспокойтесь, я в двух словах. Извольте ли видеть: всякое жилище, построенное из сырого леса, который заражен так называемым «домовым грибком», то есть известного

рода червяком-вредителем, неминуемо превращается в течение некоторого (и часто даже очень короткого) времени в труху, в прах. Вредитель этот, размножаясь и распространяясь с поразительной быстротой и том древесном материале, который стал его, так сказать, случайным пристанищем, буквально пожирает строенье. Для примера приведу вам случай, недавно опубликованный в газетах и имевший место в Челябинске: там в один год погибло ни более ни менее, как целых тридцать домов, — цифра поистине ужасная! В один год они были заражены и разрушены сверху донизу! Если же принять во внимание, что дом вашего брата...

Кончается все это тем, что приезжий убивает делопроизводителя из Твери кувшином с умывальника и отдается в руки правосудия.

1930

Ущелье

Лесистое ущелье, предвечернее время. Зеленой кудрявой смушкой, зеленым каракулем кажется издали густой лес, покрывающий горные скаты против аула. В лесу кто-то жжет костер, голубой дымок далеко тянется над зеленой смушкой, и его пряный запах мешается с миндальной свежестью леса.

Синее небо над горами бездонно и ясно, — лишь впереди, где ущелье сомкнулось, отвесно стоит в лазури витое из белоснежных клубов облако.

А там, в ауле, непрерывно звучит, восторженно плачет, переливно зовет и вопит роговая дудка: звук горловой, дикий, чарующий и страшный, слушая который, думаешь о горных козлах, о весенней, грозной поре их страсти.

Это танцуют на крыше сакли подростки-татары; один стоит, надул губы, выпучил белки — играет на дудке, два других, пристально глядя в глаза друг другу, положив руки друг другу на плечи, подскакивают козлами, крепко топают на одном и том же месте.

Куда, в какую райскую пропасть устремлен их напряженный, радостный, остановившийся взгляд?

На соседней сакле сидит на корточках, вся сжалась и не спускает с них глаз девочка-подросток. Она худенькая, но уже длинная; она еще в одной рубахе, черная головка ее еще раскрыта; но глаза уже дивны и жутки, как у архангела...

Какое душу раздирающее блаженство в дудочных переливах и воплях!

1930

Первая любовь

Лето, именно в лесном западном краю. Весь день проливной свежий дождь, его сплошной шум по тесовой крыше. В при- тихшем доме сумрак, скучно, на потолке спят мухи. В саду покорно никнут под водяной бегущей сетью мокрые деревья, красные цветники у балкона необыкновенно яркие. Над садом, в дымном небе, тревожно торчит аист: почерневший, похудевший, с подогнутым хвостом и обвислой косицей, стал на краю своего гнезда в верхушке столетней березы, в

развилине ее голых белых сучьев, и порой, негодуя, волнуясь, подпрыгивая, крепко, деревянно стучит клювом: что же это такое, потоп, настоящий потоп!

Но вот, часа в четыре, дождь светлен, реже. Ставят самовар в сенцах — бальзамический запах дыма стелется по всей усадьбе.

А к закату совсем чисто, тишина, успокоенье. Господа и те, что гостят у них, идут в бор на прогулку.

Уже синееет вечер.

В просеках бора, устланных желтой хвоей, дороги влажны и упруги. Бор душист, сыр и гулок: чей-то дальний голос, чей-то протяжный зов или отклик дивно отдается в самых дальних чащах. Просеки кажутся узки, пролеты их стройны, бесконечны, уводят своей вечерней далью. Бор вдоль них величаво-громозден, стоит темно, тесно; мачты его в верхушках голы, гладки, красны; ниже они серы, корявы, мшисты, сливаются друг с другом: там мхи, лишай, сучья и гнили и еще в чем-то, что висит подобно зеленоватым космам сказочных лесных чудовищ, образуют дебри, некую дикую русскую древность. А пока вы-

ходишь на поляну, радуется юная сосновая поросль: она прелестного бледного тона, зелени нежной, болотной, легка, но крепка и ветвиста; вся еще в брызгах и мелкой водяной пыли, она сияет как бы под серебристой кисеей в блестках...

В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака, — всё время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно, грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами, в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милым. И все усмехались — знали, отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, довольна. Но глядела небрежно и брезгливо.

1930

Небо над стеной

В солнечное зимнее утро уезжаю из Рима. Хмельной, возбужденный старик, везущий меня на вокзал, в одном пиджаке и каскетке сидящий на высоких козлах, дергает локтями, гонит свою узкую клячу по тесной длинной улице, в тени и свежей сырости. Но вот улица круто поворачивает вправо, обрывается спуском на просторную площадь, на слепящее теплое солнце. Кляча с разбегу садится на задние ноги, старик, упав на бок, быстро крутит тормоз. Колеса скребут и ноют, копыта крепко цокают по камню. Впереди, в этом блеске, еще зыбком, влажном, густо дымится водяной пылью, валит в разные стороны серыми клубами огромный фонтан. А слева, рядом с нами, идет какая-то древняя руина, тянется дикая, как крепость, радостно озаренная солнцем стена, над обрезом которой ярко и густо синее небо. И старик, тормозя, косит глаза кверху, в дивное лоно его райских красок, и кричит, восклицает:

— Мадонна! Мадонна!

1930

Свидание

На престольный праздник барчук верхом поехал на деревню.

Девка, в которую он был тогда так романтически влюблен, вышла на крыльцо наряженная, радостно улыбнулась:

— Здравствуйте. Что ж давно не были? Вы вон когда еще были: тогда у нас сучка щенилась, а теперь уж щенята здоровые выросли...

1930

Петухи

На охотничьем ночлеге, с папиросой на пороге избы, после ужина. Тихо, темно, на деревне поют петухи. Выглянула из окошечка сидевшая под ним, в темной избе, хозяйка, послушала, помолчала. Потом негромко, подавляя приятный зевок:

— Что ж это вы, барин, не спите? Ишь уж не рано, петухи опевают ночь...

1930

Муравский шлях

Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный, пустынный большак... Много пустынных дорог и полей на Руси, но такого безлюдья, такой тишины поискать. И ямщик мне сказал:

— Это, господин, Муравский шлях называется. Тут на нас в старину несметные татары шли. Шли, как муравьи, день и ночь, день и ночь и все не могли пройти...

Я спросил:

— А давно?

— И не запомнит никто, — ответил он. — Большие тысячи лет!

1930

Распятие

Свежее майское утро, двор старой уездной церкви.

Уже ревет и гудит вверху, медью верещит в ушах большой колокол.

Сходятся во двор старухи, нищие, длинно-волосые, увешанные мешками и жестяными чайниками странники с посошками в руках, на ходу с привычным притворством гнущаются.

Во дворе еще тень.

Старухи, подходя, садятся в сторонке, на молодой траве, подстилая под себя, скромно подвертывая юбки и прямо вытягивая ноги.

Нищие опускаются на холодные каменные плиты возле паперти.

А странники идут на солнце, за церковь, где над старой могилой стоит на чугунном кубе позеленевшее чугунное Распятие.

На кресте никнет в колючем терновом венце голова Христа.

На кубе — череп и две кости, два скрещенных мослака.

И странники крестятся, кланяются, потом

опускаются на колени, глядя вверх, в васильковое утреннее небо.

И солнце ярко и празднично освещает средневековую худобу Христа, его впалый живот и длинные, вытянутые к небу руки, греет серые волосы странников, их спины в заплатах, веревки, мешки, жестяные чайники и кружки.

1930

Марья

В избе, после сытного, праздничного обеда. Работники в сапогах, в чистых рубахах, подстрижены, с красными, бритыми сзади шеями.

Рычат, ловко вторят две гармошки:

*Раздайся, народ:
Трепаком идет Федот!*

Илюшка и Наташка ходят друг перед другом, постукивают каблуками, не глядя друг на друга.

— Марья, а что ж ты сидишь?

Не отвечает, с сумрачной усмешкой щелкает подсолнухи.

— Ну хоть выходку сделай!

Мотает головой, исподлобья поглядывает на пляшущих своими далеко расставленными, в переносицу косящими черными глазами.

И вдруг встает, поправляет платок на плечах...

Ах, бог мой, как пошла!

Нехороша, немолода, невелика, сухощава, а у всех замирает сердце: какая сжатость сил, тайной страсти и какой оттого пуций блеск, лад!

Илюшка раздувает ноздри, дробит в пол каблуками, наступает:

*Ух, сыпь чаще,
Подавай слаще!*

Она плывет мимо, говоря небрежно, вскользь, как неживая:

*Я ходила, подавала,
А тебе все мало, мало...*

1930

Ужас

Месячной осенней ночью, светлой и тихой, я пешком возвращался с полевой охоты по сухим, блестящим жнивьям, пашням и проселкам и зашел ночевать на хутор, одиноко стоявший в поле. Постоянно жил на нем только сторож, а хозяин, городской прасол, лишь порой, наездом. Хутор имел вид пустынный: чистое, ровное поле, гумно от жилья далеко, а само жилье — всего-навсего бревенчатый флигель да изба-сторожка, тоже на отлете... и ни души на обширном дворе между ними, даже не залаяла собака, когда я стал стучаться в темное окошечко сторожки. Мужик, вышедший на порог в накинутом полушубке, долго не понимал спросонья, что мне надо, потом повел меня во флигель. «Вот тут и ложитесь», — сказал он, вводя меня из маленькой прихожей в просторную хозяйскую спальню, где были только голые бревенчатые стены да широкая деревянная кровать без матраца, с одной большой подушкой. И вот, когда он вышел, лег я на эту кровать, закурил, что-то подумал о чужой, совсем не из-

вестной мне жизни какого-то мещанина, под кров которого привел меня случай, и стал забывать. Невысокий месяц мирно светил в два больших окна напротив, озарял кровать теплым золотистым блеском, и все вокруг было так просто и прекрасно, так безмолвно и спокойно... Мог ли я думать, засыпая, что так страшно будет мое пробуждение среди ночи? Я проснулся сразу, от какого-то стука. Кто-то громко стучал ко мне снаружи, в верхнюю половину оконной рамы. Стук был так страшен, что я вне себя вскочил на кровати. А вскочив, увидел, что за окном, все его затемняя, стоял кто-то громадный, черный, длинный и покатый, лез и стучал, стараясь пробить верхние стекла. Я схватил двустволку, дико крикнул: «Кто это? Стрелять буду!» Он, не отвечая, вытянулся еще выше, надвинулся на окно еще плотнее и застучал еще громче...

Это была старая, худая лошадь, без призора шатавшаяся ночью по усадьбе. Она пришла к дому и стала чесаться об оконный наличник, вытянув шею и — стуча головой в.

Пожар

Богатый мужицкий хутор.

Загорелось, когда кончали ужинать, темным и сухим осенним вечером.

Зажгли какие-то злодеи с гумна, и на нем все сгорело. Но ригу сыновья хозяина отстояли.

Хозяин, огромный, толстый мужик, все время сидел на крыльце избы неподвижно. На гумне был ад — там бешено орали и гасили огонь его сыновья и бабы. Он же только глядел, как странно и светло был озарен весь двор красным полымем, как блистал алым зеркалом пруд и розовыми трепетными клубами стояли над двором в высоком небе облака, освещаемые исподу. Он все говорил — очень спокойно:

— Бог дал, бог взял. Мне это все равно, я этого не чую и не чувствую.

Когда же все догорело, потухло, стал рыдать и рыдал не переставая сутки, лежа вниз лицом в риге возле ворот, на старновке. В темноте, в дыры ворот, сверкали на ней алые пятна солнца и ходил, ковылял одинокий бе-

лый голубок, опаленный на пожаре.

1930

Журавли

Ясный и холодный день поздней осени, еду ровной рысцей по большой дороге. Блеск низкого солнца и пустых полей, осеннее безмолвное ожидание чего-то. Но вот вдали, за мной, слышен треск колес. Прислушиваюсь — треск мелкий, быстрый, треск беговых дорожек. Оборачиваюсь — кто-то нагоняет. Этот кто-то все ближе, ближе — уже хорошо видна его во весь дух летящая лошадь, затем он сам, то и дело выглядывающий из-за нее и покрывающий ее то кнутом, то вожжами... Что такое? А он уж вот он, настигает — сквозь треск слышно мощное лошадиное дыхание, слышен отчаянный крик: «Барин, сторонись!» В страхе и недоуменье виляю с дороги — и тотчас же мимо мелькает сперва чудесная, гнедая кобыла, ее глаз, ноздря, новые вожжи сургучного цвета, новая блестящая сбруя, взмыленная под хвостом на ляжках, потом сам седок — чернобородый красавец мужик, совершенно шальной от скачки и ка-

кого-то бессмысленного, на все готового иступленья. Он бешено кидает на меня, пролетая, свой яростный взгляд, поражает свежей красной пастью и смолю красивой молодой бороды, новым картузом, желтой шелковой рубахой под распахнувшейся черной поддевкой — узнаю: богатый, хозяйственный мельник из-под Ливен — и как ветер летит дальше. А пролетев с версту, сразу соскакивает с дрожек. Тут уж я гоню к нему и, приближаясь, вижу: лошадь стоит на дороге и тяжело носит боками, сургучные вожжи висят по оглоблям, а сам седок лежит на дороге возле, лицом книзу, раскинув полы поддевки.

— Барин! — дико кричит он в землю. — Барин!

И отчаянно взмахивает руками:

— Ах, грустно-о! Ах, улетели журавли, барин!

И, мотая головой, захлебывается пьяными слезами.

1930

Людоедка

Нищая девка, сирота, безобразно-миловидная, очень тихая, почти дурочка. Взяли на барский двор, дают самую грязную и трудную работу — надрывается беспрекословно, молча, всячески стараясь угодить. Староста, то есть старшой на дворе, отставной солдат-гренадер, быстро лишил ее невинности — покорилась после отчаянного, но жалкого, детского сопротивления. Через месяц забеременела, все всё узнали. Старостиха подняла ад, барыня девку поспешила уволить. Обливаясь слезами, девка кое-как посовала свое добришко в мешок, побежала со двора долой. Старостиха, стоя на пороге людской, дико ликовала: вихляясь, свистала, травила ее собаками, била костью в медный таз, кричала разными головами:

— Сука! Побирушка! Межедворка! Людоедка! Волшебница!

1930

На Базарной

— Вам что-нибудь по хозяйству или гробик?

На Базарной улице всем торгуют: тут магазины красного товара, часовой магазин, аптекарский магазин, москательные и колониальные лавки, скобяные, посудные, а ещё дальше, совсем возле базара, те растворы и сараи, где выставлены наружу метла, гробы, лопаты, грабли, новые, черно-блестящие по втулкам колеса... Июль, будни, день сухой и жаркий, на Базарной улице пусто — всего один случайный покупатель, мужик из уезда: рысью прогремел от собора, снизу, — сразу видно, что по спешному делу, — и остановился перед самым большим раствором. Бросил веревочные вожжи на свою кобыленку с дробными, как у осла, ногами, соскочил с грядки пыльной телеги, набитой соломой, двинул на затылок горячую шапку, стоит и смотрит.

— Что-нибудь по сельскому обиходу или гробик?

— Гробик...

— Выбор агромадный. Вам поскромней

или понарядней?

Мужик переводит глаза с манящих своей новизной лопат и метел на то, что нужно, — что так грубо чернеет сухой дешевой краской, белея крестами на крышках и крылатыми детскими головками по скатам крышек.

— Да, конечно, что-нибудь получче...

— А, собственно, для кого же? Для младенца? Для отрока или отроковицы? Для старичка или старушки?

— Для младенца, милый, я не стал бы себя беспокоить в такую пору. Для младенца я бы сам какую-нибудь херовинку сколотил. А тут всю косьбу бросил в поле...

— Значит, для родителя или мамыши?

— То-то и дело, что для мамыши...

— А какого приблизительно были они рощечку? Пропорциональной женской меры? Мужик, выбирая гроб глазами, ребром ладони проводит себя от плеча к плечу.

— Тогда чего ж лучше модель, например, такого рода? И приказчик быстро кладет руку на возглавие лилового гроба, одним ловким кругообразным движеньем отделяет его от прочих и ставит перед мужиком на тротуаре.

— Этот, думается, дюже мелок. Она, правда, исхудала...

— Гроб не первого разряду завсегда довольно мелок, но вмещает вполне прилично.

— А прочен?

— С ручательством за полную солидарность. До второго пришествия хватит.

— А ну-ка открой-ка...

Приказчик отнимает крышку. Мужик, наклоняясь, внимательно смотрит. Внутри гроб некрашен, тес там золотистый, шершавый, хорошо и сухо пахнет, кое-где в желтых смоляных каплях. Дно, однако, не из цельной тесины, а из двух и притом неровных, уж совсем корявых, плохо пригнанных друг к другу, а главное, с дырой от спиленного и выпавшего сучка, от его выскочившей пробки. И мужик, оживляясь, в радостной надежде на большую уступку:

— Нет, этот со свищем, с изъяном! Это брак, милый! Возьму, если скинешь с пятерки. И то только ради мамыши!

1930

Полдень

Полдневный жар, ослепительный блеск неподвижного желтого пруда и его желтых глинистых берегов. Пригнали стадо на обеденный отдых — коровы залезли в охвостье пруда, стоят в воде по брюхо. Рядом радостный визг, крик, хохот — раздеваются и бросаются в воду девки. Одна через голову сорвала с себя серую замашную рубаху и кинулась так дико, что я тотчас вспомнил Нил, Нубию. Черноволоса и очень смугла телом. Груди — как две темных тугих груши.

1930

Бродяга

Поле и летнее утро, дружно песет тройка. А вдоль шоссе, навстречу, — странник: без шапки, босой и такой легконогий, как будто на крыльях. Поравнялся, мелькнул и пропал. Худ и старчески сух, веет длинными выгоревшими на солнце волосами. Но как легок, как молод! Какой живой, быстрый взгляд! И сколько у него впереди этих белых шоссе-ных дорог!

«Бог бродягу не старит».

1930

Слезы

Подошла к воротам усадьбы старуха, побитрушка. Старушечьи лохмотья, старушечьи прямые чулки на сухих ногах, замученные глаза...

Дал ей полтинник, попробовал разговариваться:

— Ну вот, бабушка, везде ты ходишь, везде бываешь, — небось много интересного видишь?

Горько заплакала:

— Да что ж поделаешь, батюшка, конечно, видишь!

Ковылял по выгону дурачок Ваня, седой, стриженный клоками, в одной бабьей рубахе, с сумой через плечо:

— Ваня, здорово! Как поживаешь?

Косноязычно, слюняво и радостно:

— С большими слезами, папаша! С большими слезами!

1930

Капитал

Квасник, лысый, красный, тугопузый, лихо кричит тенором на всю ярмарку:

— Вот квасок, попыривает в носок! Вот кипит, да некому пить!

Высокий русский мужик в теплой шапке на затылок идет в толпе с огромным белым хлебом под мышкой и на ходу набивает им рот, жует, откидывая голову назад, раздувая ноздри:

— А почему этот квасок?

— Орел вся бутылка, семитка стакан!

— А на грош не отольешь?

— На грош, милый, и воробей не мочится!

Мужик жует, думает. Потом со вздохом, но твердо:

— Нет, на семитку не взойду. Капитал не позволяет!

1930

Блаженные

Блаженный Антонушка воронежский жил сто двадцать лет. Сказал однажды одному купцу:

— В сенцах у тебя, кормилец, большой пестрый гроб стоит.

И купец в тот же день и кончился.

Блаженный Данилушка тульский в городе на крышах сиживал. Завещал хоронить себя в желтом шелковом саване — как хоронили юродивых в древности — и в гробу не простом, а долбленом, в колоде.

Диомид орловский восемьдесят лет скитался по Брянским лесам, ночевал на деревьях, был наг и покрыт густым волосом.

Феня елецкая, когда я однажды сказал при ней: московский Царь-Колокол, замахнулась на меня палкою и крикнула:

— Дурак, кто ж так-то говорит? Это называется Ревун, его все святые так-то называли, его, батюшку, бояться надо.

1930

Коренной

Вечер на постоялом дворе, страшные рассказы на нарах:

— Въехали они в этот лес, ночь их обуяла томная, лес черный... Доезжают до дуба косятого, а под ним жар-птичье перо лежит, огнем переливается...

— Нет, это что — перо! — говорит другой. — Вот жил так-то кузнец на глухом столбовом пути, и принесись к нему раз ночью тройка ямская... Лошади все в мыле, храпят, как львы, глаза ярые, ноздри раскалились, насквозь светятся... Соскочил молодец ямщик — «куй коренного скорей, задние подковы сшиб!» Раздул кузнец мех, разжег струмент, хватить этого коренного за ногу, а нога-то чело-вечья, голая, белая!

1930

Комета

На дворне и на деревне долго не верили, будто идет какая-то комета: «Это только в старину они бывали!» Наконец однажды ночью уже довольно ярко засеребрился ее прозрачный хвост, косо вскинутый в северный небосклон, за каретным сараем. Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской, даже крестились. А наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать доской слуховое окно. Услыхав стук, вышли из дому:

— Староста! Что это ты делаешь?

— Окно слуховое забиваю.

— Зачем?

— От кометы.

1930

Стропила

— Здравствуйте, барин, мое почтение. Как поживаю-то? Да не бог весть как. Все мотаюсь, мещанствую. С ярманки на ярманку, с базара на базар... А ведь ужо под сорок, — вы не смотрите, что я такой борзой, на ногу легкий. Одно спасенье, что своя хибарка есть, — случается, и совсем голодный придешь, ну, а все-таки домой... хотя, по совести сказать, скука мне дома теперь, не приведи бог. Сами знаете наше слободское житье: сушь, жара, дни долгие... А дом пустой: жену схоронил, детей схоронил, одна мамаша покамест жива. Но только и мамаша последнее время не больно радуется: едва ноги таскает по горнице, слаба стала до крайности, слухом и зрением и того слабей, интереса или соображения — ни малейшего, худа, хоть в гроб клади. Ведь какая была женщина! По дородству, по статности прямо игуменьей быть. А теперь — никуда: одни стропила остались.

Летний день

Слобода, бесконечный летний день.

И весь день сидит босой, распоясанный сапожник возле своей ветхой мазанки, на гнилой лавочке, подставив под солнце свою раскрытую лохматую голову. Сидит и занимается с рыжим кобельком:

— Дай лапку!

Кобелек не понимает, не дает.

— Говорят тебе, дай лапку! Ну?

Кобелек не дает. И он бьет его по морде. Кобелек с отвращением моргает, отворачивается, кисло-сладко оскалывается, неуверенно поднимает лапу и тотчас опять опускает ее. И опять пощечина, и опять:

— Дай, сукин сын, лапку!

1930

Дедушка

Сед, густоволос, лохмат, весь день курит. Встает ни свет ни заря, и пока не закурит, не затянется — совершенно шальной, ничего не понимает.

И необыкновенно ненужен, чужд всему миру, всем чадам и домочадцам (хотя и зовут его папашей, дедушкой) я вот-вот скоропостижно помрет, навеки исчезнет из этого мешанского гнезда, из этого уездного захолустья — и поди-ка узнай тогда, расскажи, чем и для чего жил он в своем вечном табачном дурмане.

И все-то он играет какую-то роль:

— Дедушка, обедать! Лапша простынет!

— Да пообедайте, пообедайте без меня... Я потом... что останется...

А сам ждет не дождется обеда — с раннего утра.

— Папаша, вы хоть бы кальсоны переменяли, ведь у вас целая укладка белья!

— Вот это спасибо! Целая укладка! Да у меня клока цельного давно не осталось! Небось, кабы было, не стал бы беречь! Мне теперь,

милая невестушка, ничего не надо. Пожил, слава богу, пора и честь знать, об одном молю бога — околеть поскорей...

А сам жаден невероятно, над укладкой своей дрожит, и жить хочет ужасно, и твердо надеется прожить никак не менее века.

Зачем?

Но он и сам не знает зачем.

«Чужая душа — потемки». — Нет, своя собственная гораздо темней.

1930

Постоялец

— Нет, батюшка, нет, теперь не сдается. Извозчик сказал вам правду, у нас жили. Мы, действительно, прежде иногда сдавали, ну, а теперь решили совсем не сдавать, — ни за какую цену. И не просите — никак не можем. Вы меня, пожалуйста, извините, вы, я вижу, господин приятный и приличный, но что же делать? Я вас понимаю, — городок наш дикий, найти у нас помещенье трудно. Опять же человек вы приезжий, никому не известный — всякий будет стесняться: мол, будет ли платить аккуратно, да не дерзкого

ли поведенья... ведь бывает — придет постоялец ночью от друга, ляжет спать хмельной, с папироской, заснет и наделает пожару... Знаю и то, что не всякое семейство будет и вам самому по вкусу, а у нас, конечно, чисто, тихо, старушки мы с сестрицей одинокие, не нахальные, домик имеем хоть и скудный, а все-таки есть и садик, и коровка... Мне вас, батюшка, сердечно жалко, но только мы уж твердо теперь согласились: больше этим делом никогда не заниматься — бог с ним совсем, пускай комната стоит пустая. Вы вот усмехаетесь, а простите, сами не знаете чему. Отчего именно мы так решили? А не все ли вам равно? Если же хотите знать серьезно, то извольте, объясню: оттого, что с последним постояльцем мы имели такую неприятность, которой и подобия не сыщешь. Мы, батюшка, так с ним натерпелись, что и теперь страшно вспомнить. Он, этот постоялец, сначала просто пленил нас; видим однажды утром, подъезжает к воротам извозчик с вокзала, с утреннего поезда из Тулы, сидит в пролетке молодой человек с дорожной корзинкой, не спеша слезает и направляется к калитке. Очень хро-

мает, — левый кострец так и ходит то кверху, то книзу, подошва на левом ботинке пальца в три толщиной, — но до того скромн, миловиден, такое новенькое пальтецо, такой хорошенький костылик, что мы просто залюбовались. Форменная фуражка тоже только что из магазина — оказывается чиновник, недавно поступил на службу и вот, значит, командирован из Тулы находится в нашем уезде. Застенчив на редкость, расспрашивает об условиях даже подобострастно, глаз не поднимает, стоит в прихожей, сняв фуражку, уперся в этот костыль, поднял кострец сколько можно, едва носком пола касается, смотрит куда-то вбок, в землю, весь румянцем залился и расспрашивает... Голос искательный, тихий, заикается немного... Не понравилось мне, правда, тогда же, что он избегает не может, видно, глядеть человеку в глаза прямо, ну, да что ж, думаю себе, они, эти хромые и заики, всегда такие обидчивые, самолюбивые... Короче сказать вам, в тот же день он у нас и поселился и с месяц жил с того безупречно, что хоть бы епархиалке впору. Напьется чаю, уйдет до обеда на службу, после обеда засядет за ка-

кую-нибудь ведомость, отчетность, что принесет с собой на дом, для вечерней работы, — и сидит, как мышь, даже дыханья не слышно... Только уж очень был не словоохотлив, да спать ложился даже как-то нехорошо рано. Мы и то куда позднее — в свои козыри для развлечения поиграем, поговорим о чем-нибудь, пошутим, а он как поужинал, как только, значит, восемь часов било, сейчас в постель и уж лампу тушит. А ведь знаете — человек молодой: ну, хоть бы какое знакомство завел, хоть бы почитал что, гитару купил бы себе или цитру! Все это меня тоже куда как к нему не располагало, ну, а сестрица и слышать ничего не хочет — души в нем не чаёт: мол, и трудолюбив, и вежлив, и все такое... Только можете себе представить, что же вдруг выходит? Чувствуем раз ночью — что-то нас сквозь сон беспокоит. Открываем глаза, а у него свет под дверью. Что за притча? Что, мол такое, уж не захворал ли? Час уже поздний — по месяцу в окно видно, снег на крышах хоть и блестит еще, а уж мертвеет, и так везде тихо, жутко, как, знаете, только часам к трем, к четырем бывает, а у него вдруг

огонь горит! Встали мы одна за другой чуть слышно, подкралась к его двери, я глянула в щелку — и, верите ли, истинно обомлела: полыхает у него лампа — во весь фитиль пущена, — а сам он сидит в одном белье на кровати, поджал под себя хромую ногу и этак гордо, дерзко глядит против себя в стену: уперся в нее глазами, будто что на ней видит, потом как привскочит. Я вся трясусь, шепчу: «Сестрица, гляньте, гляньте!» А он как взовьется да как вскинет кренделями руки... Затряс ими да как хлопнет по ляжкам вроде крыльев, да как хватит на весь дом во весь петушиный голос: «Кукареку! Кукареку!» — Словом, не буду вас беспокоить долгим рассказом. Одно скажу: мы такой страсти за весь век не испытывали, как за эту зиму! Ведь всю зиму кричал! Как ночь — пошла потеха! Мы, конечно, после первого же раза обратились к нему вполне откровенно: мол, извините, что же это такое, вы, оказывается, по ночам петухом кричите, это нам слишком странно и неудобно, мы вас покорнейше просим оставить квартиру. И, представьте, что ж он нам отвечает? «Нет, говорит, простите, с квартиры я не съе-

ду». Этак тихо, ровно, глаз не поднимая, но так твердо, как мы даже и в мыслях не держали слышать от такого вежливого человека. Мы сперва просто ушам не могли поверить: позвольте, как же это так вы не съедите с квартиры? Дом-то все-таки наш собственный, мы ведь можем и к вашему начальству обратиться! А он помолчал, помолчал, да еще тише и тверже: «Пожалуйста. Посмотрим, что из этого выйдет. Вас сочтут за сумасшедших, вашим сказкам никто не поверит». — «Да помилуйте, какие же сказки? Значит, вы хотите сказать, что вы не кричите?» — «Да-с, не кричу. Кроме вас, ведь никто не слышал?» И как, знаете, поднимется со стула во весь рост, как сверкнет глазами! Прежде все только припал да кострец отклячивал, а тут как вытянется до потолка таким командиром, как стукнет костылем! «Да-с, не кричу! Попробуйте докажите! Зовите понятых сидеть у вас всю ночь, ждать этого крику!» А мы со страху так и поползли от него в разные стороны. Перестали после того и в столовую выходить, и чай пьем, и обедаем, и ужинаем у себя в спальне, велели кухарке ему одному пода-

вать, он же и на это никакого внимания: поест, попьет и закостыляет в свою комнату, ровно ни в чем не бывало, А как ночь... Батюшка, он нас прямо с ума свел! С вечера ни живы, ни мертвы, — сидим, ждем этого страшного часа, когда он, значит, проснется и загорланит со всякими петушиными переливами. Кухарка тоже не спит, ждет, трясется вся: «Господи, сохрани, господи, помоги! Живый в помощи вышняго!» И куда только мы не бегали, с кем только не советовались: как быть, как нам от этой муки и страсти избавиться! А добились только того, что всему городу посмешищем стали, а пристав, у которого мы чуть не в ногах валялись, так нами под конец раздражился, что как орел стал вскакивать с кресла, завидя нас: «Вон с глаз моих долой, ведьмы, в кандалы велю заковать, по этапу в Тулу в желтый дом отправлю!». И что бы это было, что бы это, царь небесный, было, если бы этого постояльца не перевели на службу в Богородицк!

1930

Первый класс

Подмосковный дачный поезд, весь из вагонов только первого и второго класса. Идет шибко, ровно, но вдруг замедляет ход — и в одном первоклассном вагоне происходит нечто небывалое: кондуктор вталкивает в него какого-то рваного, измазанного глиной мужичишку.

— Ради бога, простите, господа, — рабочий с пути, посылается с срочным поручением в Быково, не успел, дурак, на паровоз вскочить... Только до Быкова...

Все на мгновение даже теряются от такой нелепости, но быстро овладевают собой, сдерживаются. Поезд опять идет полным ходом, и в вагоне опять все как будто по-прежнему, курят, беседуют, смотрят в окна... Однако всем неловко, всем не по себе — беседуют уже притворно, курят с преувеличенной беззаботностью... А про него и говорить нечего: он стоит возле двери, готовый провалиться сквозь землю от всех этих панам, чесучовых костюмов, больших, полных тел, сытых лиц. Он не знает, куда глаза девать, рукавом вытирает пот-

ный лоб, держа в левой руке тяжело висящую до пола сумку с какими-то чугунными брусками, гайками, клещами...

И длится эта чепуха, эта мука целых тридцать пять минут.

1930

Канун

В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с горы и на мост, через речку. Под мостом, на береговой отмели, отвернувшись от проезжих под навес моста и как бы для защиты подняв плечи, стоит босяк, спешно, как собака, пожирает из грязной тряпки что-то ироде начинки. А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ломовые телеги, трясутся, вися с грядок, страшные сапоги мужиков. Все в муке, — мукомолы, — все великаны, и все рыжие, без шапок, в красных рубахах распояской...

А потом вагон, второй класс. И какой-то сидящий против меня господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золотых очках на плоском носу с наглыми кудрями, все встает и, не глядя на меня, — от пренебре-

жении ко мне, — все поправляет на сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в себе господин, спокойный за свое благополучие и строгое достоинство...

Шла, однако, уж осень шестнадцатого года.
1930

Сестрица

По Смоленской дороге. Длинный коридор и раскрытые отделения первого класса вагона. Блеск, орехового дерева и красного бархата в полном несоответствии с солдатским людом, наполняющим вагон: рогульки костылей под торчащими плечами, серые халаты, забинтованные головы, толстые белые култышки закутанных ступней, выставленных вперед... Курят турецкий табак, едят конфеты, прилично беседуют, наслаждаясь своим необычным положением.

Она, с улыбкой:

— Ну, как, Меркулов?

Солдат, вежливо приподнимаясь на костылях, на носу держа вперед култышку ноги, бесстыдно врет медовым голосом:

— Да что ж, сестрица, терпеть надо... Всякий должен свою жертву принести... Благодарим вас...

Она заговаривает то с тем, то с другим, потом стоит у окна в коридоре. Вагон мягко пружинит, летит. Она смотрит на мелькающие за окном темные рукава слей, на стволы, идущие кругами в глубине леса, что-то чуть-чуть напевает. Белая косыночка, мягкая кожаная куртка, легкая юбка из серого тика. Тихо и греховно сияют иконописные черные глаза...

1930

Маска

Зимним вечером на Николаевском вокзале в Петербурге. Отходят поезда в Москву. В буфетной зале шумно, тесно, все не в меру торопятся есть, пить, все одеты тяжело, жарко, по-дорожному. Круглоголовые татары-лакеи носят с блюдами, как угорелые, воздух густой, пахучий, горячий... Она сидит за соседним столиком и делает вид полного спокойствия. Я обедаю и порой поглядываю на нее. Она же притворяется, что внимательно читает газету, заказала отбивную котлету с гарни-

ром, а пока что купила «Новое время» и, подняв брови, читает, хотя прекрасно видно, что она не понимает ни единого слова — так не идет к ней газета, так непривычно и не нужна она ей. Она остро чувствует мое соседство и мое тайное любопытство, по-своему толкуя его, ждет, что вот-вот я обращусь к ней примерно так:

— Виноват, а вы тоже изволите ехать в Москву или ждете вологодского поезда?

Но я молчу, поглядываю и ем. И она уже волнуется, все выше поднимает брови и все озабоченнее перевертывает газетные листы, будто ищет в них что-то самое важное, и наконец не выдерживает.

— Простите, — говорит она сухо и грустно, — вы не знаете, были сегодня в вечерних газетах новые вести с фронта? Я ужасно беспокоюсь за мужа, третий месяц не получаю писем... Он летчик и безумно храбрый...

— Не видал вечерних газет, не могу вам сказать.

— Жаль, — говорит она еще суше и, сдвинув брови, опять погружается в газету. На ней синяя поддевка на белом барашке, белая па-

пах, далеко не молодые глаза ее густо подведены темной синью, широкоскулое лицо густо напудрено, точно известью, пальцы крупные и крепки, миндально сияют выпуклыми острыми ногтями, духи пахнут тяжело, собакой...

Но вот, безнадежно поискав взглядом свободного места, подошел к столику молодой рыжеусый офицер в новенькой шинели из солдатского сукна, с блестящими погонями, покраснел, кинул руку к козырьку и, щелкнув каблуками, несмело взялся за стул против нее:

— Вы позволите?

Через пять минут он уже угощает ее сотерном. Внимание ее весьма устремлено на котлету, руки ловко работают ножом и вилкой, но мизинец изысканно отставлен, брови подняты грустной усмешкой. Он покраснелся, осмелел, расстегнул шинель, курит, говорит без умолку. Она то и дело пожимает плечами, небрежно роняет в ответ на его щегольские рассуждения о том, что жизнь «все-таки прекрасна», все одни и те же загадочные фразы:

— Это смотря для кого...

— Это зависит от вкуса...

— Жизнь не укладывается в рамки...

Он горячо возражает:

— Но вы ужасный скептик! На вид вы такая бодрая, энергичная, а меж тем...

Она легонько стучит по тарелке ножом, грустно-рассеянно заказывает лакею: «Чашечку шорнаго кофэ, пожалуйста», и со вздохом говорит:

— Нет, вы горько ошибаетесь, у меня в душе траур, мой муж тоже офицер, артиллерист, и я только что получила страшное известие, что он смертельно ранен в бою... Я только слишком хорошо умею носить маску.

1930

До победного конца

— Наш поп — какой он поп? Он дурак, невежа. Мою девку хоронил — спешит, сует как попало... гроб не дает поставить в могилу как надо. Можно разве так хоронить? Это не скотина, «Вот съезжу, говорю, в Орел, ваше священство, схожу в консисторию, тогда узнаете, как надо хоронить: намотают вам холку очень прекрасно!» — «Не смей, кричит, говорить со мной так вольно!» — «Ну нет, мол, батя, потише! Теперь, говорю, это время прошло! Вот дай с войной управимся, мы вам вашу „Газету Копейку“ припомним! Узнаете тогда „до победного конца!“».

1930

Письмо

— Еще пишу вам, обо мне не скучайте, в вагонах было тепло даже раздетому. От самого Минска снега совсем нету, места все ржавые, кругом болота, вода. Теперь ожидает меня что-то небывалое. Прощайте, все мои родные и знакомые, наверно, больше не увидимся. Прощайте, дорогие, писать некогда, да и дождь, а из глаз моих слезы. Как начали сыпать из винтовок и снарядами, только пыль столбом. Двое рядом со мной рыли окоп, и к ним прилетел снаряд, их двоих тогда убило, один новобранец чужой, а другой наш Ваня, он погиб во славу русского оружия...

1930

Рассказы, не включавшиеся в собрания сочинений

Суета сует

Многие ли знают, как умер Вольтер, где похоронен он был первоначально и какова была судьба его сердца и мозга?

Об этом с обычным мастерством и с вечно присущей ему тонкой иронией рассказывает Ленотр.

Вольтер приехал в Париж за три месяца до своей смерти и поселился в особняке г. де Виллета, на углу улицы Бон и набережной.

Три месяца в этом особняке царили мир и спокойствие. Но вот настает роковой вечер 30 мая 1778 года — и проходящие мимо ворот особняка и заглядывающие в его двор (который, кстати сказать, остался и доныне почти таким же, каким был в те годы) видят, что в доме происходит что-то не совсем обычное: несмотря на поздний час, три окна в первом этаже ярко освещены, за их занавесками мечутся людские тени... Что случилось?

А случилось то, что «великий безбожник» уже отдал богу душу, и его семья, г-жа Дени, ее брат, аббат Миньо, г. Дормуа, г. де Виллет и кухарка с привратницей энергично хлопочут над трупом, наряжают его: дело в том, что после похорон А. Лекуврер Вольтер был одержим кошмарным страхом, что после его смерти тело его будет брошено, как падаль, что враги его правы, предсказывая огромный скандал, который могут учинить при его погребении религиозные фанатики. Надо, значит, было этот скандал во что бы то ни стало предотвратить.

Вольтер испустил последний вздох в одиннадцать часов. Тотчас же после этого кинулись за хирургом г. Три и за соседом аптекарем г. Митуар, которые, быстро осмотрев тело и запротоколировав смерть, стали наспех, кое-как, бальзамировать его, вынули сердце, мозг, внутренности... Внутренности бросили в помойную яму, мозг погрузили в банку со спиртом, а сердце — в свинцовую коробку, которая заключена была в серебряный вызолоченный ларчик. Однако это было далеко не все, что нужно было сделать. Главная задача

состояла в том, чтобы тайком вывезти тело из Парижа, тайком доставить его в аббатство Сельер, находящееся от Парижа в тридцати лье. Аббат Миньо, племянник покойника, к этому аббатству был причастен и надеялся получить от его настоятеля разрешение на отпевание и погребение Вольтера именно там. Но как доставить его туда? Доставить нужно было не без хитрости, не стесняясь средствами и как можно скорее.

И вот, после вскрытия, быстро стали наряжать труп: его спеленали свивальниками, которые были надраны на скорую руку из простынь, на него напялили халат, на голову надели ночной колпак, на ноги — ночные туфли. А покончив с этим, потащили ряженные остатки великого человека вон из дому, во двор, посадили их в карету, — она была голубая, в звездах, — напротив велели сесть лакею, который должен был держать и не давать покойнику падать, а кучеру приказали гнать лошадей что есть мочи.

Как известно, все это предприятие удалось превосходно. Лакей, по прибытии в Сельер, был сам близок к смерти от страха, пережито-

го во время скачки до Сельера, в темной карете, лицом к лицу с качавшимся мертвецом. Однако доставлен был мертвец в Сельер в целости, в сохранности весьма быстро, и так же быстро было и доделано дело: Париж даже еще и не знал о кончине Вольтера, как уж тело его лежало под плитами Сельерского собора.

Что до мозга и сердца, то они претерпели гораздо худшие и гораздо более многочисленные приключения.

Мозг, «который отличался необыкновенным объемом», взял себе аптекарь Митуар. Некоторое время он извлекал из него большие радости для своего тщеславия: показывал его публике — «всем желающим созерцать сии остатки г. Вольтера». Будучи, однако, человеком культурным и боясь за судьбу «дивной реликвии», он решил принести ее в дар государству. Но тогда судьба еще более жестоко посмеялась над Вольтером: к несказанному удивлению и ужасу аптекаря, государство почему-то смутилось, стало благодарить, кланяться, но взять мозг — отказалось. Через полвека после этого сын аптекаря, врач

Митуар, повторил попытку отца сохранить для потомства замечательный мозг, — еще раз предложил его Франции. Но... Франция почему-то снова отклонила эту честь. Третий собственник мозга, г. Вердье, навязывал его Академии: авось хоть «бессмертные» согласятся взять мозг своего бывшего сочлена. Но и Академия отказалась: «Не нашлось достойногоместилища для столь неожиданного вклада...» И мозг пустился странствовать: он перешел по наследству к внучке аптекаря, а внучка все путешествовала и всюду возила за собой драгоценный сосуд, «таивший в себе то чудесное, что в свое время вырабатывало столь гениальные мысли». А когда умерла и внучка, сосуд почему-то попал в руки какого-то г. Лаброса, аптекарского помощника, в 1870 году был куплен кем-то на аукционе, при распродаже какой-то обстановки, а затем погрузился во мрак полной неизвестности.

— Может быть, — говорит Ленотр, — он цел и донныне, валяется где-нибудь на чердаке, среди какой-нибудь рухляди? Но где именно? На этот вопрос до сих пор еще никто не отозвался.

Беспокойна, печальна была участь и вольтеровского сердца.

У Вольтера была приемная дочь, «олицетворение Красоты и Доброты», которая была замужем за маркизом де Виллет, домовладельцем на улице Бон, поэтом и страстным поклонником Великого Старца. Он и присвоил себе его сердце и приказал выгравировать на ларчике, вмещавшем это сердце, стих собственного сочинения:

*Дух его витает повсюду, сердце
же покоится здесь.*

Впоследствии ларчик с сердцем долго стоял в мавзолее, воздвигнутом для него Виллетом в салоне знаменитого вольтеровского убежища, в славном по всему миру замке, которым Виллет тоже завладел в свое время. Там, в честь своего идола, он устроил нечто среднее между музеем и капищем, самого же себя провозгласил верховным жрецом вольтеровского культа. Но шли годы, страсть Виллета мало-помалу утихала, и знаменитый замок был сдан им, в конце концов, в наем какому-то богатому англичанину. Англичанин

же, конечно, тотчас же велел мавзолей в салоне разрушить, а «драгоценный» сосуд с сердцем — «куда-нибудь вынести»...

Впрочем, сердце оказалось все-таки счастливее мозга

Ларец с ним все же сохранился. Конечно, и он переходил из рук в руки, от наследников к наследникам, был предметом их споров и даже судов, однако уцелел и в свое время был тоже предложен в дар государству, которое на этот раз оказалось уступчивее, чем прежде, в деле с мозгом. Сердце Вольтера покоится теперь, как известно, в библиотеке на улице Ришелье, в цоколе, на котором стоит модель знаменитого мрамора Гудона...

Да, Вольтер недаром усмехается так ядовито и доньне. Между прочим, и над самим собою, конечно.

<1927>

Сказки

Летней ночью, в саду, в темном шалаше, сквозь дырявую крышу которого видны звезды.

Яков лежит в глубине шалаша, мы сидим и курим на скамейке у входа.

— Ну, расскажи еще что-нибудь, Яков Демидыч. Ты не спишь еще?

— Спать не сплю, а маленько подремываю. Уж дюже ночь хороша, тепло. Да и поздно небось. Какой теперь час? Боле двенадцати, пожалуй, наберется.

— Что ты, девять только что било.

— Где било?

— Караульщик на церкви бил.

— А по чем этот караульщик может время знать?

— Как по чем? По часам, конечно.

— Ну, энто не часы. В них мух сухих много. Я эти часы видел, был у него в караулке. Он их потянет за цепочку — они прямо роем от туда сыплются. А что ж вам еще рассказать? Сказку какую-нибудь? Али событие?

— Что хочешь. Мы и сказки твои любим.

— Это правда, я их хорошо выдумываю.

— Да разве ты их сам выдумываешь?

— А кто же? Я хоть и чужое говорю, а выходит, все равно, что выдумываю.

— Это как же так?

— А так. Раз я эту сказку рассказываю, значит, я свое говорю.

— Это очень интересно, то, что ты сейчас сказал.

— Конечно, интересно. Мои сказки интересные. Только и события бывают хорошие. С одним попом, к примеру сказать, такое событие вышло. Было так-то, не хуже нашего, село с плохим приходом, и никогда, значит, священники эти там не жили, потому как не могли себя обрабатывать, а жил один поп в большом селе в трех верстах от этого, один, стало быть, на два села: раннюю обедню, положим тут служит, а позднюю едет туда служить. Один и потребности все справлял — и похороны, и причастие. А поп этот грешный был, пьяный, сквернослов, ни одной бабы видеть не мог — так и лезет на исповеди. И опять же жадный: дадут ему, скажем, пяток яиц, так нет — подавай десяток. И вот, слу-

чись так, сидит он раз в доме у себя, а уж ночь! поздно, дело осеннее и дождь ужасный. Месяц хоть примеркал, а все-таки видно в окна. Вот он и видит — подъезжает черный скрытный фаэтон к дому, вроде карета барская. Слезает, обыкновенным манером, кучер с этой кареты, стучит в двери, входит. Понятно, мокрый весь, глаза блестят, в башлыке. Говорит: «Скорее, батюшка, — едем, княгиня помирает». Стал ему священник грубо отвечать: «Куда тебя, мол, такой-сякой, в такую погоду принесло? Не хочу ехать!» Ну, однако, уговорила его попадья, согласился. Сели, поехали. Лошади несут, аж грязь отскакивает. Сидит священник в карете, и стала его совесть мучить, хочется ему оправдаться перед кучером, за что, мол, я ругал его так, — бывает, опять выпивши был, ну а пьяный, известно, всегда каяться любит. Отворил он дверцу, задрал ему ветер волосы назад, сечет дождем в лицо, а он кричит: «Прости меня, кучер, я, мол, человек грешный, горячий!» Молчит кучер. Он опять кричит — опять кучер безо всякого внимания, не оборачивается даже. Взяла попа жуть, глянул он так-то в поле и видит, идет к

нему навстречу полная солидная дама, самая эта, значит, мертвая княгиня, Ахнул он, схватился за святые дары. «Господи!» — говорит. И только сказал — нет тебе ничего, ни кучера, ни кареты, а сидит он в поле на камне верхом, на коленях скуфью свою держит... Темь, ночь, дождь так и парит...

— Ну, и что же потом с этим священником было?

— А то и было, что пришли на ране мужики и сняли его, чуть живого, с этого камня...

Молчание, Тихо, темно, звезды. Как земляника, краснеют огоньки наших папирос.

— Так. Это, значит, событие. Ну, а сказку не расскажешь?

— А сказку вам можно рассказать такую, про мужичка Чувиля и про Бабу-Ягу. Жил, значит, мужичок Чувиль, и был у него садишка за избой, а в садишке яблоня, а на яблоне этой возьми да и вырасти золотое яблочко. Ну, конечно, сошел Чувиль с ума от такой радости, стережет его пуще зеницы ока, все не рвет, надеется, что оно еще маленько подрастет, день и ночь в саду сидит. Только раз сидит он так-то, а она, Баба-Яга, и вот она: пере-

кинула ногу через плетень и прямо к нему. Нос крючком, голова сучком, нога жилистая, сама стриженная. И так-то весело: «Здорово, мужичок, сорви-ка мне это яблочко, угости меня!» Оробел Чувиль до смерти, не посмел отказать, тряхнул яблоню... «Да нет, говорит, ты, мужичок, мне из ручки в ручку дай!» И, значит, цап его за руку да в лес, в избушку свою. А в этой избушке лесной сидят, значит, девки ее простоволосые, Аленка Коза да Акулька Егоза. Вот вошла Яга к ним, да и говорит этак мельком старшой: «Сжарь-ка мне, Аленушка, Чувиля к ужину, а я пока еще по одному дельцу сбегая...» Аленка сейчас печь разожгла, посадила Чувиля на лопату хлебную — и раз его в огонь! Да ишь, не тут-то было: уперся Чувиль, раскорячился, — никак не всунет его девка в эту печь, разозлилась, кричит: «Что ж не лезешь, дурак, что ты меня мучаешь?» А Чувиль и взаправду дураком прикинулся: «Напрасно сердчаешь, говорит, я бы, говорит, с радостью влез, да у меня уменья нет. Ты поучи меня, как мне сесть пострушней, присядь на минутку сама». — «У, серый пень, да ты сядь вот так, по-моему!» Вскочила

на лопату бочком, подхватила подол, а Чувиль, не будь глуп, — шмыг ее в печь!

— Сжарил, значит, вместо себя?

— За милую душу. Ну, только речь о том, что добралась все-таки эта Яга до крестьянина. Прибежала домой, маленько ахнула, — жалко, понятно, дочь, — и поскорей сама за дело взялась! Опять сажает Чувиля, тащит его к огню да еще посмеивается: «Уж и легок ты, Чувиль, одне косточки!» — «А ты кинь, — отвечает Чувиль, — ты не жарь меня, авось навек не налопаешься, сама ж говоришь, что я больно худ». — «Да мне и лопать-то не хочется». — «Вот те на! Так чего ж тебе хочется?» — «А поиграть, позабавиться, посмотреть, как ты будешь в огне корежиться: я ведь, Чувиль, веселая!» Ловко ай нет?

— Куда ловчей!

— Ну, а к чему ж эта сказка придумана?

— А по-твоему, к чему?

Вот то-то и есть. Я вам загадал, а вы подумайте... Потом Яков просит у нас «сигарочку», закуривает и ложится спать, с удовольствием затягивается — «ух, сладка!» — и начинает «свое самое любимое» уж совсем странным

ЯЗЫКОМ:

За горами, за лесами, за широкими, значит, морями, и не на небе, на земле, жил старик в одной селе, и у крестьянина было три сына. Большой был умная голова, середний с бусорью, а младший с придурью, — по совести сказать, совсем дурак...

Вот эти братья сеяли, значит, пшеницу и возили в царскую столицу, там они ее, конечно, продавали, а денежки счетом принимали и поскорее ворочались ко двору, а то не ровен час, и ошибешься, — зашел, скажем, выпить на суставчик, а вместо того и осьмухи показалось мало...

Ну, вот так, честно, благородно, и делали они дело, только вдруг, в долгом ли, в скором ли времени, приключилося им горе: кто-й-то ночью стал ходить и пшеничку ихнюю шевелить, — обивать, значит. Они сейчас друг другу смекнули, чтоб стоять в поле на карауле, и как, значит, стало смеркаться, вышло старшему брату собираться. Он берет вилы, топор и отправляется вроде как на дозор, а сам у вдовы у суседки усю ночь в клети пробыл, а па поле караулить и вовсе не ходил. Утром рас-

светает, он и приходит домой на крыльцо и стучит в кольцо, — мол, отворяйте, скорее, застыл весь. А куда там застыл — лучше всякой бани напарился!

Братья ему двери сейчас отворили и давай его спрашивать, не видал ли, дескать, чего диковинного. Он им отвечает, на мою счастью, говорит, я ничего не видал, — на мою счастью, дюже холод был. Потом стало во второй раз смеркаться, надо среднему брату собираться. Он сейчас взял вилы, топор и отправляется будто на дозор, а сам пошел на сенник и так-то сладко проспал, аж слюни потекли. Наране приходит, всходит на крыльцо, и стучит опять в кольцо, — мол, отворяйте скорее, я, говорит, вымок весь. Братья двери отворяли и опять давай его пытаться, не видал ли чего диковинного, а он опять им отвечает, что на мою, мол, счастью дож дюже силен был, такой, говорит, трескун, я весь мокрый пришел. А какой там мокрый, он просто взял да водой весь облился, чтоб, значит, ему больше поверили... Чуете, намек-то какой?

— На кого намек, Яков Демидыч?

— Да хоть на меня на такого-то. Вы небось

думаете — он сад караулит, а я лежу себе да тем сном занимаюсь. — Ну, да ладно. Слушайте, что дальше-то будет: — Так, значит, кинулся к нему отец, ты, говорит, у меня первый молодец, теперь, говорит, двое, слава богу, откараулили. Потом в третий раз стало смеркаться, надо меньшому, дураку собираться, а он и ухом не ведет, на печке каряки дерет. Тут братья стали его умолять, стали его восхвалять, — обязательно, говорят, тебе, Ваня, надо иттить, ты, говорят, у нас всему дому голова. А он опять свое, — лежит, не слушается их. Потом стал умолять его отец, ступай, мол, Ванюша, на караул, я поеду на базар, куплю тебе, говорит, бобов, а еще шапочку с красным околлом и с гремучим позвонком, — ну и уговорил его...

Этот Ваня с печи, значит, слезая, малахай на себя надевая, кушачкем подпоясывается, кладе за пазуху краюшечку и отправляется на этот самый караул, на стражу. Вот он округ поля обходит и к кусту подходит, к какому-нибудь, значит, дереву ракиотовому; сел под тем кустом, звездочки на небе считает, а краюшечку уплетает. Вдруг ему что-й-то на

ум блеснуло, он глянул из-под рукавицы и осмотрел белую кобылицу, а кобылица та была ровно как зимушка бела. Ну, он и обрадовался. Стой, думает себе, что за диво такая? Сейчас ее догнал, задом наперед оседлал, за хвост ухватился и по полю покатился. Она его и помчала, — мчала по горам, мчала по лесам, потом, стало быть, остановилась и к нему с речью обратилась, я, говорит, приведу тебе двух коньков золотогривых, все в мелких хвост кольца завитые...

— Постой, Яков Демидыч, это что-то неладное. Как это «в мелких хвост кольца завитые»?

— Атак, волночатый, значит, хвост, весь в кольца завивается. Да вы не сбивайте меня, а то мне скушно станет...

Уходим мы поздно, когда уже краснеет за почерневшим и ставшим как будто меньше и ниже садом зарево восходящего ущербленного месяца.

1930

Паломница

На пароходе, на пути из Палестины в Одессу.

Среди палубных пассажиров — множество русских мужиков и баб, совершивших паломничество в Иерусалим и на Иордань, и, как всегда, в числе их немало тяжело больных «животом». Одну старушку «схватило» еще в Яффе. Жестокая холерина, все ждут — вот-вот умрет. Однако она твердо решила умереть только в Одессе; ей было лет восемьдесят, не менее; мала и слаба была она, как ребенок, смерти ждала даже с радостью; шутка ли — сподобиться умереть тотчас после такого святого подвига! Но вот узнала, что будет брошена в море, если умрет в пути, — и решительно отказалась умирать до прибытия в Одессу. Так всем и сказала:

— Нет, подожду до Одессы.

И так и сделала: перекрестясь, скончалась только тогда, когда услышала, что входим уже в Одесский порт...

В самом деле, это все не выдумка, а то удивительное самообладание, благочестие, с ко-

горым умирали когда-то русские мужики и бабы, то спокойствие, с которым они делали на смертном одре свои последние распоряжения и высказывали уверенность в жизнь будущую.

Только не напрасно ли приписывали такие смерти каким-то особенным свойствам русской души... Вот умирает тоже крестьянка и тоже чуть не столетняя, но во французской деревне, у нас в Провансе. Очевидец рассказывает:

— Elle etait si calme et tranquille que je lui dis en toute simplicité:

— Vous irez au Paradis, ma bonne Julienne.

— Paradis, — me repondit-elle, — ou voulez-vous que j'aille?[31]

1930

Поросята

Вышли поросята на вечернюю прогулку после ливня с бурей и в восхищенье остановились перед грязным, взволнованным прудом.

— Ах, какой прекрасный, вонючий пруд! — воскликнул передний.

И все прочие взвизгнули дружно:

— Oui![32]

Больше они по-французски ничего не знали.

1930

Примечания

До свидания (франц.).

[^^^]

2

Почтовая открытка с видом (франц.).

[^^^]

3

Почтовая открытка (франц.).

[^^^]

4

Кончена комедия! (итал.).

[^^^]

Следовательно (лат.).

[^^^]

6

Спасибо, спасибо, добрый мой брат! (франц.)

[^^^]

Стойте! (нем.).

[^^^]

8

— Добрый вечер, дорогой сосед. Как поживаете?
— Маленькая прогулка? (франц.).

[^^^]

— Не знаю, как я еще не умер (франц.).

[^^^]

10

Живо, живо, Берта! (франц.).

[^^^]

Это дочь моей жены... Царица Небесная!
(франц.).

[^^^]

12

Право, не знаю, как это со мной случилось...

[^^^]

13

гостиная; спальня (франц.).

[^^^]

Это ужасно (франц.).

[^^^]

моя бедная мать (франц.).

[^^^]

мой дорогой сосед (франц.).

[^^^]

Ну, хорошо! (франц.).

[^^^]

Я ей нравлюсь, и в этом уверен... Держу пари, что она броси-лась бы в мои объятия (франц.).

[^^^]

Это дело восьми дней (франц.).

[^^^]

Ах! Если бы мой муж умер! Как бы я хотела провести с тобой целую ночь, заснуть в твоих объятиях и проснуться на утро от твоих поцелуев! (франц.).

[^^^]

Она даже не подумала о том, что она была в вечернем платье, которое могло измяться... (франц.).

[^^^]

Я тебя люблю! Делай со мной, что хочешь!
Мне все равно! (франц.).

[^^^]

«Ты меня больше не уважаешь, я отдалась тебе не задумываясь» (франц.).

[^^^]

Ты мой, не правда ли, не правда ли? (франц.)

[^^^]

«Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости!» (франц.)

[^^^]

«Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!»
(франц.)

[^^^]

Вот! (франц.)

[^^^]

И все же навсегда... (франц.)

[^^^]

«Я видел воду, солнце, облака, больше я ничего не могу рассказать...» (франц.)

[^^^]

«Спокойной ночи» (англ.)

[^^^]

— Она была такая умиротворенная и спокойная, что я ей невольно сказал:

— Вы пойдете в рай, моя дорогая Жюльена.

— Рай, — ответила она, — а куда ж вы хотели, чтобы я пошла? (фр.).

[^^^]

— Да! (франц.)

[^^^]